

Сл

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

МАЛАЯ СЕРИЯ
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

Редакционная коллегия

Ф. Я. Прийма (главный редактор),

И. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, В. Г. Базанов,

А. Н. Болдырев, П. У. Бровка, А. С. Бушмин,

Н. М. Грибачев, А. В. Западов, К. Ш. Кулиев,

Э. Б. Межелайтис, С. С. Наровчатов, В. О. Перцов,

В. А. Рождественский, *С. А. Рустам, А. А. Сурков,*

Н. С. Тихонов, М. Т. Турсун-заде

с о е е т е к и й
п и с а т е л ь

БОРИС ПАСТЕРНАК

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

*Вступительная статья,
составление, подготовка текста
и примечания
Л. А. Озерова*

ленинградское отделение

1 9 7 7

Творчество Бориса Леонидовича Пастернака (1890—1960), отмеченное печатью высокого мастерства и своеобразия, занимает в истории советской поэзии видное место. В настоящее издание в избранном составе вошли стихотворения из книг поэта, а также поэмы «Высокая болезнь», «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт» и «Спекторский».

Во вступительной статье анализируется творческий путь Пастернака.

© Издательство «Советский писатель», 1976 г.



ПОЭЗИЯ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Творчество Пастернака, длившееся около полувека, всегда вызывало разноречивые отклики и оценки современников — от самых резких и уничижительных до самых хвалебных и восторженных. Вокруг Пастернака шла острая борьба, его творчество было предметом полемики, не снятой с повестки дня и после смерти поэта. В центре этой полемики находились не только и даже не столько вопросы стиля и мастерства, сколько вопросы, связанные с мировоззрением Пастернака. Для того чтобы обратиться к ним, мы должны познакомить читателя с биографией поэта.

1

Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве. Сперва семья жила в Оружейном переулке, потом в доме Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице, против почтамта. Отец поэта, Л. О. Пастернак, академик живописи, преподавал в этом училище. Мать, Р. И. Кауфман, известная пианистка, ученица Антона Рубинштейна, внушила сыну долго владевшую им любовь к музыке. «Жизни вне му-

зыка я себе не представлял... музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которой собиралось все, что было самого суеверного и самоотреченного во мне...» — скажет Пастернак в «Охранной грамоте».

Увлеченность, можно сказать одержимость музыкой, близость к известным художникам, бывавшим в доме Пастернаков, интересы этой среды — всем этим наполнено детство поэта. В доме Пастернаков бывал Лев Николаевич Толстой. Отец поэта, Л. О. Пастернак, был иллюстратором произведений Толстого, из этих его работ наибольшую известность приобрели иллюстрации к роману «Воскресение». У Пастернаков в ноябре 1894 года Лев Толстой вместе с дочерьми присутствовал на концерте, в котором принимали участие мать поэта, Р. И. Кауфман (фортепиано), И. В. Гржимали (скрипка), А. А. Брандуков (виолончель). На этом же концерте присутствовал и художник Н. Н. Ге. Поэту запомнилась эта ночь: она «межевою вехой пролегла между беспамятностью младенчества и моим дальнейшим детством».

Из наставников догимназической поры с благодарностью вспоминает Пастернак Е. И. Боратынскую, детскую писательницу и переводчицу с английского книг для юношества. Она учила его русской грамоте, арифметике, французскому. Годы учения в Пятой московской гимназии, в которую Пастернак поступил в 1901 году, совпали с усиленными занятиями музыкой, перешедшими в мечту о композиторской деятельности. С тринадцати

лет он сочиняет музыку, изучая теорию и музыкальную композицию под руководством Ю. Д. Энгеля и Р. М. Глиэра. Наибольшим увлечением, доходившим до преклонения, был Скрябин. В поэме о 1905 годе именно об этой поре жизни Пастернак напишет:

Раздается звонок,
Голоса приближаются:
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!

«Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней — Скрябина, — говорит поэт в «Охранной грамоте». Как сам он выразился, «музыкально лепетать» он начал намного раньше, чем «лепетать литературно». И эта его музыкальная одержимость не могла не сказаться на его отношении к слову как носителю прежде всего звучания, что наложило отпечаток на все творчество поэта, особенно на ранние его книги.

Избрание композиторской деятельности Пастернак и окружающие его люди считали делом решенным. Рядом с музыкой жила живопись. Пастернак наблюдает за жизнью мастерской отца, у которого бывали Врубель и Серов, Васнецов и Коровин, Ге и Трубецкой, Горький и Верхарн, Ключевский и многие, многие другие. В залах училища устраивались выставки передвижников. Перед глазами юноши проходили впервые полотна Репина, Мясоедова, Маковского, Сурикова, Поленова, «добрая

половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранений».

Впечатлительный и порывистый гимназист находился в кругу животрепещущих культурных интересов. Но не только это входило в его сознание.

В столовой речь о Лаояне,
А в детской тушь и транспортир.

Это строки из стихотворения «9-е января» (первоначальный вариант), написанного в 1925 году и по существу являющегося ранней попыткой поэмы «Девятьсот пятый год». «Январь, и это год Цусимы», — русско-японская война и события 1905 года тревожно врываются в детскую гимназиста и начинающего композитора. В училище заходили демонстранты, в актовом зале устраивались митинги, в здании дежурила дружина. Поэт видел, как буйствовал «охотнорядский сброд», видел бои на Пресне, похороны Баумана.

Музыкальные сочинения Пастернака получили одобрение Скрябина. Ему предсказывалось композиторское будущее. Но Пастернака удручало отсутствие абсолютного слуха, этой способности угадывать высоту любой произвольно взятой ноты. Он оставил музыку оправданно для себя, неожиданно и огорчительно для окружающих. В его жизнь решительно входила поэзия, опережаемая философией.

Закончив гимназию в 1908 году, Пастернак поступает на юридический факультет Московского университета, а в 1909 году по совету Скрябина

переходит на исторический, который заканчивает по философскому отделению в 1913 году. Рассматривая свои стихотворные опыты как своего рода недуг, он не возлагал на них никаких надежд. Поддержанный, однако, одобрением литературоведа и театроведа Сергея Дурылина, Пастернак продолжает свои занятия поэзией. В дальнейшем его поддержал в этом поэт и переводчик Сергей Бобров.

На пути от музыки к поэзии Пастернак испытывает еще одно увлечение — философией. Увлечение философией, а до этого музыкой и после этого литературой во многом определили облик поэта, масштаб его культурных интересов.

Для совершенствования в философии Пастернак в 1912 году (весна и лето) едет в Германию, — летние каникулы в России, в Московском университете, совпадали с учебными днями в Марбургском университете. На Пастернака большое впечатление производит старинный немецкий городок («Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм. Когтистые крыши. Деревья. Надгробья», — скажет он в стихотворении «Марбург», 1915), занятия у профессора Германа Когена, главы марбургской школы философов-неокантианцев.

Профессор Коген предложил молодому москвичу остаться в Марбурге для получения докторской степени. Это была немалая честь для начинающего философа. Но он и от этого наотрез отказался, как отказался ранее от композиторского поприща. Написанный позднее цикл стихов «Заняты философией» («Определение поэзии», «Определение

души», «Определение творчества» и другие) покажет близость творческих установок поэта к главным положениям этой школы новейшего философского идеализма. Так, например, в стихотворении «Определение творчества» мироздание, мир характеризуются не как реально существующая объективность, а как «страсти разряды, человеческим сердцем накопленной», то есть как представление о мироздании, мире.

Из Марбурга Пастернак ездил в Венецию и Флоренцию, где ознакомился с архитектурой, полотнами и скульптурами старых мастеров.

Еще до поездки в Марбург Пастернак посещал кружок поэта и переводчика Юлиана Аписимова. К этому же времени относятся первые стихотворные опыты (сохранившиеся в архиве брата поэта, А. Л. Пастернака, стихи датированы 1911—1913 годами). Правда, в этом кружке Пастернак выступает то стихотворцем, то пианистом-импровизатором. В начале 1913 года он пробует силы и в качестве философа, делает доклад в кружке для исследования проблем эстетической культуры и символизма в искусстве. Этот доклад его состоялся в мастерской скульптора Крахта на Пресне и назывался «Символизм и бессмертие».¹

¹ В архиве С. П. Боброва сохранилась повестка этого заседания и тезисы доклада, в котором утверждалась «символическая, условная сущность всякого искусства в том самом общем смысле, как можно говорить о символической в алгебре». В одном из тезисов доклада указывается на то, что «значение единственного символа музыки — ритма — находится в поэзии». Так музыка и поэзия соединились в философском докладе.

Весьма просто было войти в одну из литературных групп, коих в ту пору существовало множество, и все они были с программами, манифестами и мудреными названиями. В силу дружбы с Сергеем Бобровым и Николаем Асеевым Пастернак вошел в литературную группу так называемых умеренных футуристов под названием «Центрифуга». Печатал стихи и статьи в сборниках этой группы, не придерживаясь, впрочем, поставленных ею рамок и требований. Личная дружба поэта с Бобровым и Асеевым продлилась на более длительный срок, чем соучастие в литературной группе.

Первые стихи Пастернака напечатаны в 1913 году в сборнике «Лирика». Стихи эти («Я в мысль глухую о себе...», «Сумерки... словно оруженосцы роз...», «Сегодня мы исполним грусть его...») не включались автором ни в одну из его книг и не перепечатывались при его жизни.

Летом 1913 года на даче близ станции Столбовой (Московско-Курская железная дорога) Пастернак работает над книгой стихов, названной «Близнец в тучах», по позднейшим словам автора, «до глупости притязательно... из подражания космологическим мудреностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств». Книга была издана в 1914 году. Об издании ее Пастернак впоследствии сожалел.

В 1917 году, еще до Октябрьской революции, вышла с цензурными изъятиями вторая книга сти-

хов — «Поверх барьеров». Примерно тогда же — летом 1917 года — была написана, но издана пятью годами позднее книга «Сестра моя — жизнь». Поэт переживает неодолимую потребность в высказывании, он много пишет, испытывая редкостный душевный подъем. Через сорок лет после этого он и читателю и самому себе объяснит причины такого подъема: «Встречные на улице кажутся не безымянными прохожими, но как бы показателями или выразителями всего человеческого рода в целом». Речь идет о революционных канунах, о событиях исторической значимости и о том, как они переживались каждым, в том числе и начавшим свою работу поэтом. «Это ощущение повседневности, на каждом шагу наблюдаемой и в то же время становящейся историей, это чувство вечности, сошедшей на землю и всюду попадающей на глаза, это сказочное настроение попытался я передать в тогда написанной по личному поводу книге лирики „Сестра моя — жизнь“».

Поэт говорит, что прислушивался к голосу толп, круглосуточно совещающихся на площадях под открытым небом, как на древнем вече. Канун Октября описывается им так: «Ленин, неожиданность его появления из-за закрытой границы; его зажигательные речи; его в глаза бросающаяся прямота, требовательность и стремительность; не имеющая примера смелость его обращения к разбушевавшейся народной стихии; его готовность не считаться ни с чем, даже с ведшейся еще и неоконченной войной, ради немедленного созда-

ния нового невиданного мира; его нетерпеливость и безоговорочность, вместе с остротой его ниспровергающих, насмешливых обличений, поражали несогласных, покоряли противников и вызывали восхищение даже во врагах».

Эти автобиографического характера заметки содержат восторженное описание революционной эпохи, ее начальных дней. Именно в эту пору, после Октябрьской революции, Пастернак целиком отдается литературной деятельности и изложение его биографии совпадает с изложением истории его книг стихов, прозы, переводов.

Третья по счету, книга «Сестра моя — жизнь» (напомню: первая — «Близнец в тучах», вторая — «Поверх барьеров») была по существу первой, выдвинувшей Пастернака в число заметных русских поэтов послереволюционной поры. В сборнике «Две книги» (1927) «Сестра моя — жизнь» названа автором «первой книгой», вслед за ней шла книга «Темы и вариации», названная «второй» и тесно примыкающая к «Сестре...».

Середина 20-х годов ознаменована решительным обращением Пастернака к эпосу. К поэме о революции 1905 года примыкает поэма «Лейтенант Шмидт». Оба произведения получили широкий отклик и признание критики.

Двум историко-революционным поэмам предшествовала поэма «Высокая болезнь», напечатанная Маяковским в «ЛЕФе» в 1924 году и изображающая IX съезд Советов и выступавшего на нем Ленина. За «Девятьсот пятым годом» и «Лейтенантом Шмидтом» следовала большая поэма, или,

как ее иногда называют, роман в стихах «Спекторский» (1930).

Лирика, созданная в пору написания поэм и после них, составила раздел «Стихи разных лет» и книгу «Второе рождение» (1932). Эти стихи и усиленная работа над переводами и прозой были разведкой новой манеры и лабораторией нового стиля Пастернака.

Начиная с 1936 года поэт живет в подмосковном поселке Переделкино, и его работа носит систематический и сосредоточенный характер. Здесь он пишет стихи и прозу, выполняет большую серию переводческих работ. В Переделкине написаны книги «На ранних поездах» (1936—1944) и «Когда разгуляется» (1956—1959) и отдельные стихотворные циклы. В начале Отечественной войны Пастернак проходил курсы военного обучения, добивался посылки его на фронт, но был с семьей эвакуирован в город на Каме Чистополь, где жили в ту пору и другие писатели.

В 1943 году с бригадой, в которую входили Серафимович, Иванов, Федин и другие, Пастернак ездил на Орловский участок фронта. В результате этой поездки были написаны большой цикл стихотворений, очерки в прозе, напечатанные много позднее, поэма «Зарево», осуществленная частично. Со своими спутниками Пастернак колесил по военным дорогам Орловского и Калужского краев. В его заметках изображены места боев, беседы с солдатами и жителями освобожденных сел. Перед отъездом с фронта по поручению бригады писателей написал воззвание к бойцам Третьей

армии (приводим начало этого воззвания): «В течение двух недель мы, несколько писателей, находились в ваших дивизиях и участвовали в ваших маршах. Мы проходили места, покрытые неувядаемой славой ваших подвигов, по следам жестокого и безжалостного врага. Нас встречало нечеловеческое зрелище разрушения — нескончаемые ряды взорванных и сожженных деревень. Население угонялось в неволю или, прячась в лесах, пережидало бесчинства отступающего неприятеля и редкими кучками голяков и бездомных возвращалось на свои спаленные пепелища. Сердце сжималось при виде этого зрелища. Невольно рождался вопрос: где чудотворные силы, чтобы поднять эти области на ноги и вернуть их к жизни? Товарищи бойцы Третьей армии, силы эти в вас. Они в мужественности вашего сердца и меткости вашего оружия, в заслуженности вашего счастья и в вашей верности долгу».

Во время войны Пастернак интенсивно работал над стихами, вошедшими на правах цикла в книгу «На ранних поездах» («Стихи о войне»), над серией переводов. Начатый еще до войны большой цикл переводов из Шекспира был продолжен во время войны и завершен после войны («Гамлет», «Антоний и Клеопатра», «Ромео и Джульетта», «Макбет», «Отелло», «Генрих IV», «Король Лир»). К нему примыкают заметки и статьи о Шекспире и о принципах его перевода. К числу наиболее существенных переводов следует отнести обе части «Фауста» Гете, «Марию Стюарт» Шиллера, стихи

и поэмы Словацкого, драмы Клейста и Кальдерона, лирику Петефи, Верлена, Байрона, Китса, Рильке, Тагора и другие.

Начатые задолго до войны переводы грузинских поэтов Пастернак продолжал и во время войны, и после нее. В результате мы получили полного Бараташвили (лирика и поэма «Судьба Грузии»), поэму Важа Пшавела «Змееед», стихотворения Леонидзе, Чиковани, Яшвили, Тициана Табидзе, Каладзе, Гаприндашвили, Надирадзе и других. В переводе Пастернака выходили отдельные произведения Шевченко, Тычины, Рыльского (с украинского), Исаакяна, Ашота Граши (с армянского), Судрабкална (с латышского), Вургуна (с азербайджанского). В этих переводах, а также в заметках об искусстве перевода Пастернак предстает как признанный мастер. Заметна его лепта в деле создания советской школы поэтического перевода, в выработке ее рабочих принципов и теории.

После войны были изданы книги Пастернака: «Земной простор» (1945), «Избранные стихи и поэмы» (1945). В 1956—1957 годах поэт много работал над подготовкой собрания своих стихотворений и поэм и в этой связи серьезно пересматривал и правил тексты. Последняя книга стихов — «Когда разгуляется» (1956—1959) — была приготовлена к изданию, но вышла уже после смерти поэта в составе его «Стихотворений и поэм» (Большая серия «Библиотеки поэта», М.—Л., 1965).

Скончался Борис Леонидович Пастернак 30 мая 1960 года.

Каким бы ни было трудным для читателя понимание непосредственно текстов Пастернака, не менее, если не более трудным является постижение сложного смысла его духовных исканий, мировоззрения поэта, его общественной позиции.

Еще до революции, на заре своей литературной деятельности, Пастернак произнес слова, достаточно ясно характеризующие его взгляды: «Не надо обманываться; действительность разлагается. Разлагаясь, она собирается у двух противоположных полюсов: Лирики и Истории. Оба равно априорны и абсолютны». Итак, если взглядеться в эту декларированную формулу: по одну сторону — Поэзия, по другую сторону — Время. Они полярны, они не встречаются. В этом автор убеждал других и прежде всего себя.

Признание было сделано в пору крикливо и бойко заявлявших о своем существовании литературных школ и школок. Напечатано оно было во втором сборнике «Центрифуги» и называлось «Черный бокал». Поэтическая практика Бориса Пастернака показала, особенно в начальную пору, что он не чужд декларированной им мысли. Разграничение поэтической деятельности и общественной деятельности шло последовательно. Но революция показала всю очевидность его заблуждения. Лирика и история не могли не сочетаться, поэзия и время не могли жить врозь. В творческой жизни Пастернака лирика и история шли на сближение. Однако же все это не надо представлять как

прямолинейно развивавшийся процесс. Моменты сближения, подчас решительного сближения, поэзии и времени чередовались с моментами расхождения, порой решительного расхождения друг с другом. Сказав это, мы должны сразу же сделать одно необходимое уточнение. Само по себе соединение поэзии и времени не может нас утешить, хотя этот процесс знаменателен. Нам всенепременно надо знать, с каким знаком совершается это сочетание, то есть какую позицию в истории, во времени, в современности защищает поэт и какую он отвергает.

Пастернак принадлежал к той потомственной русской интеллигенции, которая была горда «независимостью своих суждений». «Мы... не притронемся ко времени, как и не трогали его никогда», — заявлял Пастернак в одной из своих дореволюционных статей. Это «мы... не притронемся ко времени» имело для жизни и творчества поэта тяжелые последствия. Затворничество и отшельничество — это ведь тоже общественная позиция. Особенно в эпоху крупных общественных сдвигов.

Аполитичность была испытанным способом поведения. Не вдруг, а с течением времени, после многих испытаний, бед и горестей, на собственном опыте будет понята вся иллюзорность такого поведения. Так или иначе, время, наше время, властно требовало четкого определения позиций и симпатий. «Поколение, — свидетельствует Пастернак в «Охранной грамоте», — было аполитичным, мог бы сказать я, если бы не сознавал, что ничтожной его части, с которой я соприкасался, недостаточно

даже для суждения обо всей интеллигенции. Такой стороной было оно повернуто ко мне, скажу я, но тою же стороной обращалось оно и ко времени, выступая со своими первыми заявлениями о своей науке, своей философии и своем искусстве».

На поверку оказалось (Пастернак написал эти строки на втором десятилетии после Октябрьской революции), что часть интеллигенции из этого «аполитичного» поколения искала контакта со временем. Да и сам поэт понял, сколь несправедливы были его слова о полярности лирики и истории.

Когда произошла Октябрьская революция, Пастернаку было неполных двадцать восемь лет. Зрелый человек, владевший несколькими языками, музыкант, философ, поэт, известный в литературных кругах. Некоторые представители интеллигенции из числа «аполитичных» — кто помоложе, кто постарше — покинули Россию и ушли в эмиграцию. Перед Пастернаком никогда не стоял этот вопрос — покинуть или не покинуть пореволюционную Россию. Напротив, он всегда дорожил почвой, на которой проявилась его судьба. Еще задолго до революции двадцатидвухлетний человек писал своему другу из Берлина: «Господи! у меня голова кружится от счастья! Я вернусь на родину; и эта родина — Россия. . .» Этот патриотизм не был еще социально окрашен. Он говорил лишь о почвенности, о привязанности к месту рождения, к родному языку. Это сказано за пять лет до революции. А через четырнадцать лет после нее зрелый чело-

век сорока одного года скажет: «Уходит с Запада душа, ей нечего там делать». Этот патриотизм имеет уже совершенно определенную социальную окраску. Душа с Запада уходит на простор России, «простор затопленный весной, весной, весной бездонной». Да и весна обозначена здесь не только фенологически. Это не столько календарь природы, сколько календарь истории.

Принятие революции у Пастернака не было прямым и незамедлительным, как у Маяковского, определенно заявившего: «Моя Революция». Пастернак не мог бы повторить эту формулу. Он не ждал революции как социального избавления, как исторического события, способного в корне изменить жизнь России. Но он был потрясен открывшейся новизной и стремительностью перемен, происходивших вокруг. Зоркий и чуткий художник, он не мог не видеть и не чувствовать, что произошло крупнейшее событие в истории России и мира. Отсветы этого события в той или иной форме легли на страницы его книг. Каким бы ни было затворничество поэта и позиция созерцателя, он волей-неволей вовлекался в поток революционной жизни. Это вовлечение было ему трудно, но оно было несотвратимым.

В отличие от Демьяна Бедного, чей голос — по его словам — «огрубел в бою», и Маяковского, открыто заявившего, что он «революцией мобилизованный и призванный» и сознательно идущий на то, чтобы «делать социалистическое искусство», Пастернак никогда не писал о связи своей поэзии с задачами и целями пролетарской революции и

ленинизма. Более того, в его творческой жизни были случаи, когда он считал, что поэзия и социализм несовместимы, что деятельность поэта в нашу эпоху и в нашей стране бесполезна и ненужна:

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

(«Другу»)

Это сказано в 1931 году, через пять лет после слов Маяковского о «месте поэта в рабочем строю». Задолго до этого (1923) в поэме «Высокая болезнь» Пастернак говорит о поэзии как о некоем недуге («Гостит во всех мирах высокая болезнь»). Миссию «агитатора и главаря», поэта, бьющего в вечевые колокола гражданственности, взятую Маяковским, да и не только им одним, Пастернак для себя не считал приемлемой. Не без боли он попрекает Брюсова в дни его юбилея: «Что мне сказать? Что Брюсова горька Широко разбежавшаяся участь?»

Страсть поэта-публициста, гражданская активность были чужды Пастернаку и в творчестве, и в общественном поведении. В поэзии он опасался разговора «в лоб».

С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.

(«Художник», 1)

И далее, в том же стихотворении, он рисует образ близкого ему по духу художника. Есть основание полагать, что это автопортрет:

Как поселенье на Гольфштреме,
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время
Всё, что ушло за волнолом.

Как бы лирик ни укрывался в заливе, все же время кое-что должно было вкатить в этот залив. Пусть оно вкатило то, что «ушло за волнолом», пусть мы не почувствуем здесь атмосферу открытого моря. Но такую позицию выбрал сам художник. «Он жаждал воли и покоя», но годы шли и неминуемо вносили в его мастерскую, «где горбился его верстак», то метель, то буран, то — при всех случаях — непокой.

Он устанавливает с окружающей его современностью, с пореволюционной действительностью свои личные связи, он ищет свои формы сотрудничества с нею, — формы, созвучные его творческой натуре. Это длительный и сложный процесс, требующий специального рассмотрения, поскольку рисунок этих связей неровен, прихотлив, очень своеобразен, то есть индивидуален.

В стихотворении, написанном после революции и впервые опубликованном в 1922 году, Кремль сравнивается с кораблем, сорвавшимся с якоря и плывущим в будущее, — «несется, грозный, напролом». А ведь еще так недавно в том же «Черном бокале» Пастернак клятвенно произносил: «Ника-

кие силы не заставят нас, хотя бы на словах, взяться за... приготовление истории к завтрашнему дню...»

История в облике современности вторглась в лирику и заставила поэта посмотреть на мир иными глазами. «Кремль в буран конца 1918 года» — произведение весьма знаменательное. В нем поэт не только называет год, когда происходит буран, — 1918, но и называет отрезок года — конец его, еще точнее — последние дни года («остаток дней, остаток вьюг»). Поэт новой мерой измеряет время.

Обратимся к последней строфе этого стихотворения:

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьметса сызнова воспитывать.

«Ненаступивший этот год» — 1919 — не замедлил дать поэту новые исторические материалы. Он их воспринимал с жадностью и осваивал то с восторженной поспешностью, то с недоверчивой медлительностью. «Знобящая новость миров» («Из поэмы», отрывок первый), подсказанная революционной действительностью, вошла в стихи Пастернака. Разумеется, мы найдем у него не так уж много строк, написанных непосредственно о революции. Но зато самая атмосфера эпохи ощутима в его поэзии. Именно это имел в виду Брюсов, когда писал: «У Пастернака нет отдельных стихотворений о революции, но его стихи, может быть

без ведома автора, пропитаны духом современности; психология Пастернака не заимствована из старых книг; она выражает существо самого поэта и могла сложиться только в условиях нашей жизни». Именно это имел в виду Маяковский, когда стихи Пастернака относил к образцам «новой поэзии, великолепно чувствующей современность».

Взятые в качестве эпитафии к одному из стихотворений книги «Сестра моя — жизнь» слова Гоголя: «Вдруг стало видимо далеко во все концы света» передают ту атмосферу жизнедеятельности, интенсивной живописности, порыва, воодушевления, которая характеризует лучшие стихи Пастернака 20-х годов.

Если «Кремль в буран конца 1918 года» — это лирическая заявка на эпос, то поэма «Высокая болезнь» — это уже эпическая попытка. Поэма состоит из неравнозначных и неравноценных в идейно-художественном отношении частей. Наиболее ценной частью поэмы остается та, которая посвящена выступлению Ленина на IX съезде Советов.

В динамической манере, напоминающей кинематограф, выполнен Пастернаком портрет Ленина на трибуне:

Он был — как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топсыря
И пяля передки штиблет.

Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лужги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял течением мыслей
И только потому — страной.

К способу такого письма, соединяющего портретную характеристику с обобщенным рисунком духовной сути человека и в его лице истории, Пастернак прибегнет еще не раз. Отказавшийся наотрез от романтической манеры, поэт в очередной раз нарушил параграф своего манифеста и своей практикой опроверг его.

Восторг перед монолитностью и монументальностью Ленина, перед его всеобъемлющей мыслью потребовал обобщенного романтического письма. Ленин «вырос на трибуне и вырос раньше, чем вошел», его фигура дышала «полетом голой сути». Облик Ленина возник перед поэтом, «как шорох молнии шаровой». Восхищаясь целенаправленностью и порывом Ленина вперед, в будущее («Он был — как выпад на рапире»), поэт не умалчивает о своей растерянности перед временем, о своем желании уйти с современной исторической сцены. Он, конечно, видит величие нобой эпохи («век в

своей красе Сильнее моего нытья»), но чувствует себя неспособным для перестройки («я не рожден, чтоб три разá Смотреть по-разному в глаза»). Отсюда — признание, что он всего лишь гость своего времени. Отсюда — мотивы самоуничижения, смирения, ущербности, отсюда — признание неуместности своей поэзии в новом мире, мотив, который будет варьироваться и в дальнейшем творчестве Пастернака. Грузинский поэт Симон Чиквани вспоминает свою встречу с Маяковским и его суждение о поэме «Высокая болезнь»: «Считая Пастернака проникновенным лириком, Маяковский, однако, не все принимал в этой поэме. В ней он находил несколько затуманенных мест, где суть раздумий в обнаженном виде оттолкнула бы самого автора. Но тут же прочитал из этой вещи любимые им отрывки о Ленине.

— Это замечательно! — заключил он. Но, как я сказал, стихи должны быть понятны и современникам и будущим поколениям».

Во вступлении к поэме «Девятьсот пятый год», обращаясь к революции, Пастернак говорит:

Еще спутан и свеж перепуток,
Еще чуток и жуток, как весть,
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты, как есть.

Выражение «неземная новизна» получает развитие и объяснение в концовке вступления: «Все ничтожное мерзко тебе». Тебе — Революции. Есть

смысл сообщить читателю, что первоначальное название этого вступления было «Ода». Очевидно, автор убоился столь громкого и в истории поэзии достаточно опробованного слова. Он, боясь этой громоносности, предпочитал ей исповедальную тональность.

На протяжении всего творческого пути Бориса Пастернака сопровождали серьезные раздумья о судьбах истории, о революции, о современности. В этом лежит причина обращения поэта к эпосу. «Я считаю, что эпос внушен временем, и поэтому в книге «1905 год» я перехожу от лирического мышления к эпике, хотя это очень трудно».

С автобиографических строф начинается поэма о 1905 годе: детство, мастерская отца-художника («Вхутемас еще — школа ваянья»), непосредственное окружение. Далее тематические и образные рамки поэмы расширяются до картин морского мятежа, студенческих волнений, похорон Баумана. В поэме происходит этот переход от лирики к эпосу, от «я» до «мы» и «они». При этом поэт сознает значительность и величие революционных событий, современником которых ему суждено стать.

Это было при нас.

Это с нами вошло в поговорку.

За констатацией «это было при нас» следует утверждение исторической огромности этого «было»: оно «вошло в поговорку».

Для своей поэмы о 1905 годе Борис Пастернак нашел верное идейно-образное решение: от факта и документа он идет к поэтическому обобщению. Найден также и верный ритмический ключ, открывающий возможность для воссоздания широких эпических полотен.

Придается всё.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на пет.

Так начинается глава «Морской мятеж». А вот как она заканчивается:

День прошел.
На заре,
Облачась в дымовую завесу,
Крикнул в рупор матросам матрос:
— Выбери якоря! —
Голос в облаке смолк.
Броненосец пошел на Одессу,
По суровому кряжу
Оранжевым крапом
Горя.

Пятистопный анапест, напоминающий гекзаметр древних эпических поэм, интонацией своей убедительно передает раскат и размах революции. «Книга отличная, — писал Горький Пастернаку по получении поэмы «Девятьсот пятый год», — книга из тех, которые не сразу оценивают по достоинству, но которым суждена долгая жизнь. Не скрою от вас: до этой книги я всегда читал стихи ваши с некоторым напряжением, ибо — слишком чрезмерна их насыщенность образностью и не всегда образы эти ясны для меня; мое *воображение* затруднялось вместить капризную сложность и часто — недоочерченность ваших образов. Вы знаете сами. . . что богатство их часто заставляет вас говорить — рисовать — чересчур эскизно. В «905 г.» вы скупее и проще, вы — классичнее в этой книге, насыщенной пафосом, который меня, читателя, быстро, легко и мощно заражает. Нет, это, разумеется, отличная книга, это — голос настоящего поэта, и — социального поэта, социального в лучшем и глубочайшем смысле понятия».

Если в поэме о 1905 годе воссозданы революционные события, показан восставший народ, то в поэме «Лейтенант Шмидт» изображен вожак, поднятый на гребень восстания. Здесь поэта интересует судьба личности в революции.

Историзм поэм Пастернака, характерный для всей нашей поэзии в целом, открыл поэту неиспользованные им до того возможности творческого развития. Две поэмы Пастернака исторически соотносятся с поэмами Маяковского «Хорошо!»,

Асеева «Семен Проскаков», Багрицкого «Дума про Опанаса», Сельвинского «Улялаевщина», с лентой Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Пастернаковский образ «по веревке, как зверек, спускается кумач» перекликается с красным флагом из этого фильма.

И Маяковский, и его сотрудники по журналу «ЛЕФ» высоко оценили обе поэмы Пастернака. «На этой вещи надо учиться», — говорил Маяковский о поэме «Лейтенант Шмидт».

«Я олицетворял в нем свой духовный горизонт», — писал Пастернак в «Охранной грамоте»; иными словами: в своей жизни и в своем творчестве он держал перед глазами пример Маяковского.

Но в дальнейшем творческие отношения Маяковского и Пастернака претерпели значительную эволюцию. Их расхождение вызывалось все углублявшимся различием в их общественно-политических позициях и творческих взглядах на роль поэта в нашу эпоху.

В поэзии Пастернака к концу 20-х — началу 30-х годов происходили ощутимые перемены. От исторического осмысления действительности поэт вернулся к мотивам личного совершенствования, порой уводившего его от самой действительности. Это проскальзывало и ранее, в первой по времени поэме — «Высокая болезнь».

Это прежде всего мотив самоуничтожения и жертвенности, мотив самоотречения, которого якобы ждала от него революция:

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,
С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.

«Сойти со сцены» не было надобности. Была надобность определить свое место в новой среде, потому что от той, которая была вокруг поэта до революции, осталось одно воспоминание: старые друзья вершили уже новые дела, обозначились иные судьбы у людей, и поэта подстерегала опасность стать анахронизмом. Анахронизмом в том случае, если и впредь поэт будет возвращаться к разговору о среде, с которой он «имел в виду сойти со сцены». А он возвращался к этому разговору, растерянно спрашивая, как ему быть с «грудной клеткой» в эпоху социализма, то есть как сохранить свою индивидуальность, не потерять ее в годы, как ему казалось, нивелирующие и унифицирующие личность человека («Другу»). Он утверждал, что «телегою проекта нас переехал новый человек». В пору, когда славилась сила, мужество человека, воля к победе, он не прочь был подчеркнуть (некоторые видят в этом самолюбование) свою слабость: «Всею слабостью клянусь остаться в вас» («Когда я устаю от пустозвонства...»). Боязнь сменилась самоуничижением, которое подчас оборачивалось гордыней.

Порою Пастернак не столько принимает социалистическую действительность, сколько смиряется с ней:

Ты рядом, даль социализма.
Ты скажешь — близь? — Средь тесноты,
Во имя жизни, где сошлись мы, —
Переправляй, но только ты.

(«Волны»)

Это «переправляй» весьма знаменательно. Оно сродни призыву Луговского, — призыву, похожему на просьбу, обращенную к той же стране социализма: «Возьми меня в переделку...» Этот порыв к самопожертвованию и самоуничтожению заходит у Пастернака далеко. Завидуя тем, кто «всем детством — с бедняком, всей кровию — в народе», Пастернак говорит: «Я в ряд их не попал, Но и не ради форса С шеренгой прихлебал В родню чужую втерся». Как быть поэту? И он, по его же словам, готов на самоуничтожение. Он говорит о народе:

Ты без него ничто.
Он, как свое изделие,
Кладет под долото
Твои мечты и цели.

(«Путевые записки», 3)

Из этой строфы вычитывается: в судьбе художника народ — это все. И если народ кладет под такой сильный инструмент, как долото, «мечты и цели» художника, то они, мечты и цели, для того чтобы уцелеть, должны быть самыми стойкими на шкале стойкости, самыми твердыми на шкале твердости. Иначе они раскрошатся.

Время от времени поэт говорил о своей обособленности, о некоторой отрешенности от дел сего мира, о некоммуникабельности своей. Он уповал на то, что, взятый «в науку к исполину» («Вторая баллада»), он излечит свои «язвы»: «сильными обещано изжитье Последних язв, одолевавших нас» («Когда я устаю от пустозвонства...»). Кто-то является исполином, кто-то — сильным, а он-де, оставшийся от другого века, от другой среды, так и не сошел со сцены, но должен доиграть свою роль до конца. А роль весьма трудная, она «требует с актера» «не читки», а «полной гибели всерьез». Роль исключительно трудная, показывающая, что «здесь кончается искусство И дышат почва и судьба» («О, знал бы я, что так бывает...»). Мотивы, связанные с искусством, постоянны у Пастернака. И поэтому стихотворение «О, знал бы я, что так бывает...» следует рассматривать и в сугубо эстетическом плане, как творческое кредо поэта.

Жизнь современников поэт мечтает увидеть «с высот судьбы» («Художник», 4), он не хочет, чтобы поэзия мельчила свои масштабы, — «Поэзия, не поступайся ширью» («Спекторский»). Он думает о будущем, думает о тех «прогонах», что «еще во тьме лежат». Думает, хотя в своем скороспелом манифесте 1916 года просил не заставлять его заниматься приготовлением «истории к завтрашнему дню». Он уже знает, что «эпохи революций возобновляют жизнь», что «страницы века громче отдельных правд и кривд» («Безвременно умершему»). Он вглядывается, пристально вглядывает-

ся в новую действительность и, обращаясь к ней, просит: «переправляй, но только ты». С тою же зоркостью и масштабностью, что проявлены при характеристике Ленина («он управлял движеньем мысли И только потому — страной»), характеризуется основанное им государство, «где я не получаю сдачи Разменным бытом с бытия, Но значу только то, что трачу, А трачу всё, что знаю я» («Волны»).

В своих беглых и емких характеристиках новой действительности Пастернак последовательно развивает мотив: женщина и революция. Он восхищен раскрепощением, которое принесла женщине Октябрьская революция. Он говорит о «Марусе тихих русских захолустий, поколебавшей землю в десять дней».

«Даль социализма» предстает близью, и поэт обращается к стране, живущей «вне сплетен и клевет», называет ее на старый манер «краем»:

Ты — край, где женщины в Путивле
Зегзицами не плачут впредь,
И я всей правдой их счастливлю.
И ей не надо прочь смотреть.

(«Волны»)

Книга «Второе рождение» (1932), в которой этот мотив получил наиболее чегкую разработку, завершается стихотворением «Весеннею порою льда...». В этом стихотворении есть строки о женщине, полные преклонения и сочувствия:

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта — только след
Ее путей, не боле,
И так как я лишь ей задет
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на нет
В революционной воле.

Один мотив — раскрепощение женщины как признание заслуг революции — сочетается с уже отмеченным другим мотивом: «сойти на нет в революционной воле», хотя в этом нет никакой необходимости. Здесь момент самоумаления наличествует так же, как и в готовности «всей слабостью» «остаться в вас».

Принято считать, что поэмы «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт» венчают революционную стихию поэзии Пастернака. Действительно, эти поэмы не вызвали возражений у самых суровых критиков. Историческая живопись, покоящаяся на серьезном изучении истории, свидетелем и современником которой был поэт, воспроизводит эпоху и характеры в их движении, передает события в динамическом и своеобразном видении автора. Но не менее впечатляющими, чем картины морского мятежа, баррикад на Пресне, похорон Баумана, речи на суде Шмидта, предстают перед читателем картины русской природы, особенно в напряженные моменты ее. Здесь не нужны и неуместны аналогии, скажем, между грозами и рево-

люционными боями. Здесь уместней говорить о присутствии духа времени, об общем настроении, хотя оно далеко не однородно. А дух времени проявился не только в эпосе, но и в лирике, в лучших стихах поэта.

В каждой пылинке живого, в быту, в отношениях людей и их отношении к природе ищет и находит поэт материал для выражения духа времени. наброски города («Город»), матрос в Москве, уральский рудник, сирень, музыка — все это складывается в цельную картину, увлеченно созданную художником, уверенным, что «мы — первая любовь земли» («К Октябрьской годовщине»).

В годы Великой Отечественной войны Пастернак создал произведения, отмеченные художественной и общественной значимостью («Старый парк», «Смерть сапера», «Разведчики», «Ожившая фреска», «Победитель», «Весна», отрывки поэмы «Зарево»). При этом вечные темы (жизнь и смерть, время и вечность, пафос нравственного совершенствования) привлекают его все более и более.

В стихотворении «После грозы» (1958) выражена авторская точка зрения на соотношение исторического события и личности:

Не потрясения и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.

Не «немые индивиды», не безликая масса, а «воспламененные души» творят историю. Пастернак

нак под исключительной личностью имеет в виду не обязательно полководца или царедворца, — это может быть один из руководителей восстания на «Потемкине» Матюшенко или лейтенант Шмидт, разведчик или сапер, совершающие подвиг, то есть — по Пастернаку — приносящие собственную жизнь в жертву общезначимой идее:

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.

(«Смерть сапера»)

Эта установка на исключительную личность, творящую историю, проявилась давно, в том числе и в историко-революционных поэмах, особенно в «Лейтенанте Шмидте». В поздние годы утверждение, что «не потрясения и не перевороты» очищают путь для движения истории, проявилось уже с достаточной определенностью.

Для свершения своего главного поступка, поступка, потребного истории, народным массам, личность должна быть подготовлена исподволь, загодя: она всей своей сутью живет как бы в предвидении этого поступка. Пафос самоусовершенствования составляет главное в жизни такой личности. Самоусовершенствования вне зависимости от социальной формации, в которой эта личность живет, вне зависимости от «потрясений и переворотов». Этот новый вариант учения Льва Толстого завершает идейно-творческий путь поэта. Но

это вовсе не значит, что поэт занят исключительно проблемой самоусовершенствования и морально-нравственного суда над временем. Нет, он создает стихи, исполненные любви к жизни, ко всем ее проявлениям — от лесной тишины («Тишина») до ночного полета («Ночь»), он внушает нам свою любовь к бытию, хотя все отчетливей и глубже осознает, что оно от него уходит. Столь же сильна его любовь к творчеству: «Цель творчества — самоотдача» («Быть знаменитым некрасиво...»), к искусству («Ветер», «Музыка», «Вакханалия»), к женщине («Ева», «Женщины в детстве»). Все, чем Пастернак так дорожил всю жизнь, сохранено и передано в его последних стихах:

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою!

(«Когда разгуляется»)

Несмотря на эту любовь к земле, к труду и творчеству, ко всем проявлениям бытия, в стихах последних лет явственно чувствуются ноты глубокого драматизма. Свое место в жизни он называет «бедственным» («Тени вечера волоса тоньше...»). Он просит смягчить ему «горечь рокового часа»:

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.

В поздних стихах своих поэт пришел к естественному совмещению ясности, глубины и емкости. Далеко не легкий и весьма сложен был путь поэта к чистоте и гармоничности слога. «Неслышанная простота» пришла к нему ценой долгих и мучительных поисков.

3

Поэтический мир Пастернака предстает перед нами во всем богатстве ассоциаций, которые обновляют наше понимание знакомых предметов и явлений, во всей динамичности сменяющихся картин природы и жизни человека, во всей самобытности характера художника.

Пастернак описывает, например, южную ночь, памятуя, что «бесславить бедный Юг Считает пошлость долгом». Наше привычное восприятие южной ночи рушится. «Как кочегар, на бак Поднявшись, отдыхает, — Так по ночам табак В грядках благоухает» («Путевые записки»). Далее там же: «гелиотроп Передает свой запах Рассолу флотских роб, Развешанных на трапах». Какая связь между кочегаром на баке и благоухающим табаком, цветком и одеждой моряков? Поэт соединяет казалось бы несоединимое, и от этого выигрывают обе части сравнения, обновляется их восприятие. Поэт говорит: «Октябрь серебристо-ореховый. Блеск заморозков оловянный. Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана» («Зима приближается»). Необычный составной эпитет «серебристо-ореховый» (об осени) и простой эпитет «оловянный»

(о блеске заморозков), в сочетании с тремя известными фамилиями писателя, композитора и художника, делают по-новому осмысленными и картину природы и эти имена. В сочетании всего этого рождается необычный и углубляющий наше познание образ. Когда в «Спекторском» описывается обоз, направляющийся к лесу, и говорится: «конец обоза Влетает в лес, как к рыбаку в сачок», то мы не только видим привычную для нас картину леса, — перед нами въяве оживает описываемое, и по ассоциации мы вспоминаем, как, изгибаясь, рыба попадает в сачок и как обоз пропадает среди деревьев. Сравнением обновлено наше восприятие.

Читателя, знакомого с русской поэзией XIX и начала XX века и открывающего книгу стихотворений и поэм Пастернака, ждут определенные трудности, не преодолев которых он не сможет приблизиться к пониманию этого поэта.

Во-первых, это трудности, связанные со словарем поэта. Пастернак вводил в свои стихи слова и речения, которых чурались поэты предшествующих поколений, особенно символисты. Он вместе с Маяковским и Асеевым снял запреты и фильтры, установленные программами литературных школ дореволюционного времени, добивавшихся высокой степени дистиллированности поэтического языка. Чем менее литературным было слово, чем меньше оно было в книжном обороте, тем оно лучше для поэта, тем сподручней и свежей: «бляха», «скоба» («Оттепелями из магазинов...»), «брыжи и фижмы» («Весна», 1), «рубахи из луба,

порты — коробка» («Мельницы»), «хобот малярный» («Наша гроза»), «корветы» («Мучкап»), «наждак», «долбеж» («Пространство»).

Для Пастернака недостаточно было сказать: «растение», «трава», «злак». Он скажет: «анемон», «чистотел», «крученный паныч», «хвоощ», «хрен», «центифолия», «ночная красавица». Поэтика русской прозы осваивалась поэтом, он шел на решительное сближение языка прозы и языка поэзии. Для него недостаточно было сказать: «тьма» или «сумерки». Он хочет сказать точнее: «затемь», «зга», «тьмь», «кромешный», «черный» и т. д. в том же роде. Точность словесного выражения, по мысли поэта, должна его увести от шаблона, от привычных словосочетаний, выражающих привычные представления.

Не разобравшись в точном значении слова, предложенного Пастернаком, трудно, да и невозможно проникнуть в смысл той или иной строки, строфы, целого стихотворения. Так, прочитав строку: «Спасти крепки, как раскуренный кнастер» («Петербург»), читатель прежде всего захочет узнать — если он не знает, — что это такое: «кнастер». И он без особого труда узнает, что это сорт трубочного табака. Зная это, он соотнесет крепость табака с крепостью снастей. И тогда образ сработает в сознании читателя, иначе он не запечатлется, пройдет мимо. Точное знание слова дает возможность открыть скрытую доселе образную связь. Без этого знания образ остался бы непонятным, а потому неуместным и странным. Про-

читав название стихотворения «Распад», читатель может подумать и наверняка подумает, что имеется в виду распад — распадение, разложение. В действительности же Распад — это название железнодорожной станции. Читателю, если он не знает, придется узнать, что марена («Давай ронять слова. . .») — это растение, из которого добывается красная краска (краплак), что кошениль («Послесловье») — это червец, насекомое, садовый вредитель, что мальпост («Опять Шопен ищет выгод. . .») — почтовая карета, а мытня («Дымились, встав от сна. . .») — застава для сбора мыта, пошлины за провоз товаров.

Конечно, можно и не узнавать значения слов, употребляемых в стихах. Но тогда незачем и постигать их смысл. Реальный комментарий к стихам Пастернака обширен. Это и новые слова, введенные жизнью, и слова устаревшие, и редкие географические названия, и имена философов, поэтов, художников, ученых, литературных персонажей.

Следующий, второй, более сложный этап в постижении текстов поэта — это синтаксис. Пастернак нарушает привычные для нашего слуха нормы. Нужны навыки для постижения этого синтаксиса, как, впрочем, нужны эти навыки для постижения синтаксиса Маяковского, Асеева, Сельвинского, хотя надо признать, что их синтаксис проще пастернаковского. У него слова могут быть самыми обычными, не требующими реального комментария, но их расстановка в строфе крайне необычна и потому затруднена:

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожей да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега.

(«Метель»)

В стихотворении «Метель» идет речь о путнике, заблудившемся в некоем посаде, о метели, усугубляющей безысходность пути для путника. Заблудиться в пространстве для поэта то же, что и заблудиться во времени. Многократное повторение строки «в посаде, куда ни одна нога не ступала» на разных уровнях текста создает образ кругового движения и возвращения на то же самое место, то есть по существу — топтания на месте. Словарь «Метели» сравнительно обычен и не требует специальных заглядываний в примечания, зато синтаксис требует пристального внимания. Слова и словосочетания, покидая привычные для них места, попадают на новые и тем самым производят необычное, можно сказать странное впечатление.

Построение поэтической фразы также непривычно. «Готовый навзрыд при случае» («Плачущий сад») — читатель должен мысленно восстановить пропущенное слово «заплакать». В другом, противоположном случае он должен быть готов понять добавленное слово «признака» — «ни признака зги» (там же), раздвигающее устойчивое словосочетание «ни зги».

Заголовки стихотворений, особенно в ранних стихах Пастернака, как бы входят в состав сти-

хотворения и производят впечатление загодя заявленных драматических сцен: «До этого всего была зима», «Еще более душный рассвет», «Как у них», «Гроза моментальная навек». Если же в заголовке стоит привычное подлежащее, то оно, как правило, не повторяется в тексте, а только описывается, обволакивается придаточными предложениями. Так, в стихотворении «Плачущий сад» нет слова «сад», в стихотворении «Дождь» нет слова «дождь», в стихотворении «Звезды летом» нет слова «звезды», в стихотворении «Памяти Демона» герой не назван.

Плачущий сад, заявленный в заголовке, должен быть вычитан из текста стихотворения, из смысла его образов:

Ужасный! — Капнет и вслушается:
Всё он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Для Пастернака важно, не называя объекта описания, наговорить вокруг него столько и такое, чтобы он проступил сам сквозь кипень этих слов и косвенных обозначений. Словно идет игра: главного слова не называть, а отгадывать, о чем идет речь. Это прием синтаксический, но имеет он глубоко смысловое значение. Позднее сам поэт назовет это желание избежать подлежащего, эту косвенную образность — праздною образностью.

Стихотворение названо «Лето» и начинается так:

Тянулось в жажде к хоботкам
И бабочкам и пятнам,
Обоим память оботкав
Медовым, майным, мятным.

Далее будут: ход часов, звон цепов, цикады, звезды, кухня, сад, тени, месяц, пыль, бурьян, дворяне... Самого же лета как будто нет, но оно незримо стоит за частоколом слов и словосочетаний, оно как бы подразумевается за ними. Все стихотворение, таким образом, воспринимается как огромное составное сказуемое к слову «Лето». Это требует привычки.

Третья ступень трудности проникновения в мир Пастернака — это ассоциативные ряды его образов. Они непривычны и подчас очень сложны, требуют внимания.

В стихотворении «Старый парк» сказано, что «каркающих стай девятки разлетаются с дерев». Далее — через шесть строф — читаем:

Зверской боли крепнут схватки,
Крепнет ветер, озверев,
И летят грачей девятки,
Черные девятки трэф.

Словарь здесь прост так же, как и синтаксис. Читатель может ограничиться сравнением грачей с картами (треф), ограничиться и удовлетвориться. Но пристальный читатель из сути стихотворения может понять, что здесь сравнение не двучленное, а трехчленное: грачи — девятки трэф —

самолеты. Стихотворение (1941) написано в пору, когда не названные в нем самолеты летали девятками, и их строй напомнил поэту девятки трэф и грачей. Привычное для классической поэзии двучленное сравнение расширено.

Предметы и явления, входящие в состав образа, отдалены друг от друга необычайно, но они вместе с тем и сближены. Сближение отдаленного делает образ необычным, заставляет читателя открывать — вслед за поэтом — новые связи в мире.

«Намокшая воробышком сиреневая ветвь» («Ты в ветре, веткой пробуящем...») необычна потому, что читатель ждет другой ассоциации — «отягощенная». «Намокшая» дает косвенно то же ощущение, но — обновленное. В том же стихотворении: «У капля — тяжесть запонок». Вес, тяжесть капли переданы через предмет домашнего обихода, — как сказал один из критиков: «где-то около кисти вашей руки нечто легкое и все же весомое». Он же замечает, что запонки подчас делают из ценных камней, с которыми эти капли всего чаще и сравнивали поэты. Но Пастернак если и назовет один из этих камней, то тут же убоится тривиальности сравнения и даст почувствовать этот камень через дополнительные косвенные ассоциации:

В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захладелости на вкус
Напоминая рислинг.

(«Имелось»)

Брильянты хмурятся и — что совершенно неожиданно, но вполне допустимо, потому что это все же капли, — напоминают «по захладелости» рислинг. Зрительное обогащено слуховым и вкусовым. К такого рода переключению восприятий и впечатлений читатель должен быть готов у Пастернака на каждом шагу.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна.

(«Давай ронять слова. . .»)

Сравнение жизни и тишины идет по неожиданному ассоциативному признаку — «подробности».

Эффект строки или строфы, эффект образа зависит от неожиданного сопоставления разных семантических единиц, разных рядов смысла.

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

(«Определение творчества»)

«Сады» — «пруды» — «ограды» — «мирозданье» — «страсти» образуют целую цепь ассоциаций, из которых только первые три звена обычно сопоставлены; добавленные к ним звенья «мирозда-

нью» — «страсти» нарушают привычность этой цепи. Происходит деавтоматизация привычного восприятия текста. К этому надо добавить, что «кипящее белыми воплями» дает еще более неожиданную краску: «кипящее», предваряя «белыми», рисует пену, «белыми» дает зрительный образ, «воплями» — слуховой.

Весь Пастернак (особенно в раннюю пору) отталкивается от привычных образных связей во имя непривычных. Далекие ряды образов сдвигаются, освещая друг друга, входя в новые, непривычные сочетания.

Выше мы говорили о триедином образе: грачи — девятки трэф — строй самолетов. Все стихотворение «Гроза моментальная навек» скомпоновано по такому же принципу:

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.

Меркла кисть сирени. В это
Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом.

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнем,

Стал мигать обвал сознания:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как днем.

Три темы, три мотива: молния — моментальный снимок — мысль. Эти темы, эти мотивы идут параллельно, переплетаясь и расходясь. Их объединяет принцип мгновенного действия, стремительность. Далекие друг от друга явления сочетаются, обогащая друг друга. Здесь приведен окончательный текст стихотворения «Гроза моментальная навек». В тексте 1919 года стихотворение содержало еще четыре строфы, где и без того сложный образ отягощался еще и «фантомом», «фата-морганой», «эпилепсией», «циклопом», «штепселем», «куртинами» и т. д. Все это еще более затемняло образ и заставляло читателя плутать в дебрях ассоциаций.

С первых же шагов в литературе (особенно в эту начальную пору) Пастернак сам вовлекается и увлекает за собой читателя в лабиринты образов и мыслей, выражая сложность человеческой психики, ее многоплановость, в известной мере ее нерасчлененность, бесконтурность. Между предметами и явлениями внешнего мира и внутреннего мира нет перегородок. Субъективное нередко объективизируется, деревья и облака говорят от первого лица, от имени воспринимающего их поэта. Объективное же становится на позиции субъекта: «Бывало — нагулявшись всласть, закат давал

цикадам и звездам и деревьям власть над кухней и садом» («Лето»).

Нерасчлененность ассоциаций, выражающая хаотическое, стихийное, иррациональное восприятие мира, служит немалой преградой для читателя, желающего войти в мир Пастернака. Прочитав название стихотворения «Весна», он, несмотря на однозначный заголовок, попадает в текст, исполненный хаотического движения:

Разве только грязь видна вам,
А не скачет таль в глазах?
Не играет по канавам —
Словно в яблоках рысак?

Грязь, таль, канавы — вытягиваются в цепочку. Но при чем же здесь рысак в яблоках? В иной системе образов это было бы нонсенсом. Здесь же импрессионистическая манера поэта налицо: весенние блики по грязи, тали, канавам пробегают, как в яблоках рысак, — так, что рябит в глазах. Именно это хотел вызвать своим изображением поэт. Но если стремления данного художника мы будем оценивать только с позиций этих его стремлений, то мы неизбежно вступим в сферу субъективизма и произвола, потеряем ориентиры и критерии оценки.

Даже для читателя, глубоко проникшего в тексты Пастернака, даже для читателя, принявшего, понявшего этого поэта, не может не открыться, что во многих случаях, особенно в раннюю пору творчества, мы имеем дело не со связью понятий, суждений, образов, а со связью слов. «Люберцы»

и «Любань» («Город») оказываются рядом благодаря сродству звучания. В том же «Городе»: «этот сонный разброд Бутербродов с цикорной бурдой и ботфорт». «Разброд» звучанием своим перекликается с «бутербродом», «бурдой» и «ботфортами». «Городской» и «гороскоп» сошлись по признаку единого звучания, они составляют звукообраз, если можно так сказать, — звукообраз, подчас равнодушный к смыслу высказывания.

Забором крался конокрад,
Загаром крылся виноград.

Автор нанизал это двестише на одну звуковую нить. Ему мало было рифмы «конокрад — виноград», он зарифмовал середину строки («крался — крылся») и начало ее («забором — загаром»). Задача фонетическая взяла верх над всеми другими.

В первом из двух отрывков «Из поэмы» «впотьмах выпархивало на архипелаг» (речь идет о дыханье бессонницы, которое «раннюю ранью... спускалось в овраг»). Мы подчеркиваем в словах «выпархивало» и «архипелаг» родственное звучание, всего больше увлекавшее поэта. Там же:

...в глотках рвались холостые фугасы,
И страх фистулой голосил от потуг,
И гасли Стожары, и как по заказу
С лицом пучеглазого свечегаса
Показывался на опушке пастух.

В данном случае поэта меньше всего интересовал пастух, поставленный в конце этого певучего

периода. Для него всего важней было выловить среди множества слов такие, которые звуками своими вылепили бы звуковой образ. Свечегас потому и пучеглаз, что звуки этих двух слов цепляются друг за друга.

Салфетки белей алебастр балюстрады.
Похоже, огромный, как тень, брадобрей
Макает в пруды дерева и ограды
И звякает бритвой об рапт галерей.

В соприкосновение входят здесь «алебастр», «балюстрады», «брадобрей», «бритва», «галерей». Они-то и есть материал, из которого лепит поэт свой звукообраз. Он настолько увлечен этим занятием, что за ним не замечает других задач поэзии. Он в шуме словаря, как сам признавался, находил звуковые соответствия, уведившие его далеко от смысла высказывания.

Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и цедру:
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

(«Давай ронять слова. . .»)

«Рассеянно и щедро», очарованный звучанием, роняет поэт слова, смысл которых может проступить только через звуки. «Кто иглы заслезил И хлынул через жерди На ноты, к этажерке Сквозь шлюзы жалюзи». Эти «шлюзы жалюзи» задеты за «жерди», а «жерди» в свою очередь за «этажерки», так же как «заслезил» за «шлюзы жа-

люзи». Получаются два, а подчас и три звукоряда, которые с умением композитора ведет поэт в своих стихах.

В стихотворении «Конец»:

Листьям в августе, с астмой в каждом атоме,
Снится тишь и темь. Вдруг бег пса
Пробуждает сад.

Ждет — улягутся. Вдруг — гигант из затемн,
И другой. Шаги. «Тут есть болт».
Свист и зов: «Тубо».

Как проникнуть в существо этих строк, в эту звукопись? «Тут есть болт» усохло до «тубо». «Август» с «астмой» и «атомом» связаны звучанием.

Избегая красоты, отвергая словарные фильтры символистов, вводя в стихи слова житейского неприбранного обихода, Борис Пастернак тем не менее не избежал все той же красоты в звучании, столь свойственной таким его современникам, как Бальмонт и Северянин.

Впервые луна эти цепи, и трепет
Платьев, и власть восхищенных уст
Гипсовую эпопеею лепит,
Лепит никем не лепленный бюст.

(«Весенний дождь»)

Все-таки эта «власть восхищенных уст» прорвалась в стихи чуждавшегося красотей поэта. Все-таки звуковые кариатиды дали о себе знать в его стихах:

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист раки
С седых кариад
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

(«Давай ронять слова. . .»)

В зрелом творчестве Пастернака сохранится его фонетическое мастерство, но слова в его стихах будут соседствовать не по принципу звучания, а по принципу значения.

Неупорядоченный, хаотический мир поэта, сложность образов усугубляют трудность восприятия его произведений. Он представляется читателю, привыкшему к классическому строю образов, вычурным и косноязычным, странным, сбивчивым. Привычная для читателя модель восприятия текста не накладывается на модель, предлагаемую поэтом. Здесь причина многих читательских конфликтов с поэтом, хотя, как видно будет позднее, причина лежит в сфере мировоззрения, продиктовавшего художнику его художественные средства.

Установка на эффектный, самоценный образ-слово, слово, вынутое из смыслового гнезда, — установка, в абсурдном своем выражении приведшая к зауми, то есть фактически к отказу от общепринятого литературного языка, — эта установка связывала Пастернака с футуристами (он и примыкал к ним в составе группы «Центрифуга»).

В 1916 году в статье «Черный бокал» он говорил: «В искусстве видим мы своеобычное extempore, задача коего заключается в том единственно, чтобы оно было исполнено блестяще». Таким образом, ставится задача прежде всего артистическая, исполнительская, виртуозная, по существу же формальная.

При такой задаче оправдывается любая последовательность слов, осмысленное и бессмысленное существуют на равных правах. Это, разумеется, порождало и порождает кривотолки в понимании текстов, что делает столь трудным для читателя вход в мир поэта.

Какое же изображение мира получает читатель при таком смещении смысла и бессмыслицы, даже в том случае, если в виде натуры поэт имеет хаос и аморфность бытия? Поэт отказывается от блоковского принципа — найти в хаосе гармонию и в бессмыслице, спутанности бытия смысл и строй (см. статью Блока «О назначении поэта»).

Критик В. Александров в статье «Частная жизнь» предлагает забавную головоломку: «Загадочная картинка: среди переплетающихся линий нужно найти спрятавшегося охотника. Поэзия Пастернака иногда бывает похожей на такую картинку, но спрятавшегося охотника в этой поэзии нет. Переплетающимися линиями нужно любоваться как таковыми, и не следует искать за всем этим какого-то скрытого глубокомыслия».

Критика часто вступала в полемику с поэтом, спорила с его художественными установками, под-

час решительно возражала против них, указывала Пастернаку на то, что он должен одолеть хаос мира, беспорядочность изложения впечатлений, иррациональность и перед лицом новой действительности добиться прямого общения с читателем.

Ясно и доброжелательно обо всем этом говорили ему такие люди, как Луначарский и Горький.

В письме Луначарского к Пастернаку, написанном после получения от него книги «Сестра моя — жизнь» (1 мая 1922 года), говорится: «Вы ужасно трудный поэт, и в этом заключается какое-то коренное противоречие между внутренней легкостью — не легкомыслием, а легкостью содержания Ваших стихов, импрессионистско-весенне-дождевого, мимолетного — и некоторыми сторонами формы, например певучестью, а рядом с этим той тяжелой скорлупой, в которую в конце концов сплетаются слова благодаря их чрезмерной изысканности. Очень часто хочется сказать: изысканно, но не найдено». Отдавая должное Пастернаку («Вы, конечно, очень даровитый человек и настоящий поэт»), говоря о впечатлении от книги («как будто я прошелся под черемухами»), Луначарский вместе с тем отмечает недостатки книги, еще шире — недостатки самого художника. «Я уже говорил Вам как-то даже публично, что я не знаю, происходит ли это от Вашего излишнего стремления к изощренности, которое Вы принимаете за мастерство, между тем как самое высшее мастерство есть простота, или оттого, что у Вас такая

душа, нечто вроде зеркального шара, представляющего собою многогранник, к подлинному шару приближающийся, отчего все образы, а по-моему и все чувства изнутри, никак не могут слиться во что-то целое, а дробятся по граням, сверкают от этого, но вместе с тем атомизируются, распыляются». Луначарский выражает надежду, что поэт преодолет все это, дабы «внутренние переживания излучались из нее (из души. — Л. О.) ровными, а не раздробленными и тремолирующими лучами».

В этом письме Луначарского выражено глубокое понимание поэзии Пастернака и вместе с тем высказано прямое и принципиальное несогласие с поэтом. Горький разговаривает с Пастернаком столь же бережно и столь же прямо и принципиально.

В ноябре 1927 года в ответ на просьбу Пастернака пожелать ему «что-нибудь хорошее» Горький пишет: «Пожелать вам «хорошего», Борис Леонидович? Боюсь — не обиделись бы вы, ибо, зная, как много хорошего в поэзии вашей, я могу пожелать ей только большей простоты. Мне часто кажется, что слишком тонка, почти неуловима в стихе вашем связь между впечатлением и образом. Воображать — значит внести в хаос форму, образ. Иногда я горестно чувствую, что хаос мира одолевает силу вашего творчества и отражается в нем именно только как хаос, дисгармонично».

Это суждение Горького о хаосе мира, отражающемся в поэзии Пастернака «именно только как хаос», очень важно. Указана причина неупорядо-

ченности, нерасчлененности поэтического мира, и в этой связи указана причина трудности восприятия его. В письме Горького, написанном через месяц после приведенной дарственной надписи на «Климе Самгине», сказано о «Двух книгах» Пастернака: «Много изумляющего, но часто затрудняешься понять связи ваших образов и утомляет ваша борьба с языком, со словом». Здесь высказана мысль о хаосе поэтического мира, о затрудненности понимания связей в нем, о трудности самой речи.

«Я всегда стремился к простоте и никогда к ней стремиться не перестану», — в ответ Горькому писал Пастернак. Сквозь годы поэт пробивался к ясности выражения, как пробиваются к сути.

4

В автобиографическом очерке «Люди и положения», завершеном в ноябре 1957 года, Борис Пастернак характеризует свой первый опыт автобиографии «Охранная грамота», написанной в 20-х годах: «К сожалению, книга испорчена ненужной манерностью, общим грехом тех лет». В том же очерке с беспощадностью поэт говорит о себе: «Я был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским».

Столь же сурово и резко говорит Пастернак не только о своих оригинальных, но и о переводных работах: «Среди удручающе неумелых писаний моих того времени самые страшные — переведен-

ная мною пьеса Бен Джонсона «Алхимик» и поэма «Тайны» Гете в моем переводе. Есть отзыв Блока об этом переводе среди других его рецензий, написанных для издательства «Всемирная литература» и помещенных в последнем томе его собрания. Пренебрежительный, уничтожающий отзыв, в оценке своей заслуженный, справедливый».

Об идейной основе своих заблуждений начальной поры Пастернак говорит уже в «Охранной грамоте» (1931): «Это была странная мешанина из отжившей метафизики и неоперившегося просвещения». Пастернак стыдился своих ранних произведений, более того — он неоднократно говорил, что не любит своего стиля до 1940 года.

Поэт дает объяснение — почему не нравился ему его стиль до 1940 года: «Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали. . . Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты». Это исключительно важное признание шестидесятилетнего поэта имеет смысл сопоставить с его стихотворным высказыванием примерно этой же поры:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Для того чтобы это утверждать, а главное — для того чтобы добиться стиля, чуждого «посторонней остроты», идущего прямо на объект, нужно было пройти весьма сложный путь творческого развития, исполненный поисков, потерь, находок.

Начальные стихи Пастернака хранят отчетливые следы символизма: обилие туманностей, отрешенность от времени, общая тональность, напоминающая то раннего Блока, то Сологуба, то Белого:

Не подняться дню в усилиях светилен,
Не совлечь земле крещенских покрывал.
Но, как и земля, бывалым обессилен,
Но, как и снега, я к персти дней припал.

Эти строки — первоначальный вариант стихотворения «Зимняя ночь» (1913), коренным образом переделанного в 1928 году. Вторая строфа этого стихотворения («Далеко не тот, которого вы знали, Кто я, как не встречи краткая стрела? А теперь — в зимовий гложущем забрале — Широка разлуки, пепельная мгла»), выдержанная в сугубо символистских тонах и в духе словаря

символистов, исправлена была через полтора десятилетия в ином духе:

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу — косяк особняка:
Это — барский дом, и я в нем гувернером.
Я один, я спать уснул ученика.

Здесь все иное, а главное — биографически достоверное свидетельство. Правда, поэт еще все занят здесь «посторонней остротой». Но шаг сделан, и это важный шаг.

Стихотворение «Венеция» вошло в первую книгу Пастернака «Близнец в тучах» (1914):

Я был разбужен спозаранку
Бряцаньем мутного стекла.
Повисло сонною стоянкой,
Безлюдье висло от весла.

Поэта занимает возможность зацепить глагол «висло» за существительное «весло». Но в варианте 1928 года эта игра слов и смутность образа устранены. Строфа изменена до неузнаваемости. Оставлена лишь первая строка, остальное читается так:

Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.

Весь текст стихотворения перепахан и организован по-новому.

В 1928—1929 годах Пастернак переписал заново книгу «Поверх барьеров», изданную впервые в 1917 году (перед Октябрьской революцией). Он издал ее в новом виде. Что же касается «Близнеца в тучах», то из него небольшая часть стихов была переписана и образовала цикл «Начальная пора». Значительная часть ранних стихотворений была отброшена, часть сильно сокращена. Под воздействием времени, послереволюционного времени, происходила выработка новых эстетических принципов поэта.

Смысл первой коренной переделки стихотворений в 1928—1929 годах сводится к отталкиванию от символизма, от «посторонней остроты», от внешних эффектов стихотворчества. В «Июльской грозе» («Поверх барьеров»), переделанной по сравнению с первым изданием книги, между второй и третьей строфами была еще одна строфа:

Мне страшен штиль. И мне страшна,
Как близкий взвизг летучей мыши,
Таких затиший тишина,
Такая тишина затиший.

Эта несколько нарочитая звукопись оказалась Пастернаку ненужной. От строфы он отказался.

Последняя строфа стихотворения «Все наденут сегодня пальто...», помещенного в «Близнеце в тучах», читалась:

Ты наденешь сегодня мanto,
И за нами зальется калитка,
Нынче нам не заменит ничто
Затуманившегося напитка.

Манто, снятое Пастернаком с плеч героини Северянина, романсовое «И за нами зальется калитка» были отброшены (в новом варианте: «Но и мы проживем без убытка»). Переделывая стихотворение, поэт знал, от каких влияний он избавляется.

Это было первое решительное исправление поэтом своих ранних книг. Оно коснулось не частностей, а всей системы образов. Более того, оно означало дальнейшие поиски содержательности, большой творческой идеи. Отсутствие большой творческой идеи, говорил в дальнейшем Пастернак, похоже на то, как если бы кто-то принялся бегать взад-вперед в открытом поле у железнодорожного полотна, размахивая флажками и фонарями, а самого-то поезда не видно. Пастернак не хотел походить на такого человека, без надобности машущего «флажками и фонарями» (читай: словами), человека, сознающего, что это всего лишь игра, а не помощь идущему составу. И поиск поэтом простоты, которой все от него ждали, должен быть сопряжен с поиском большой творческой идеи.

В понятие простоты Пастернак включил не только ясность и понятность, но и естественность: «Есть в опыте больших поэтов Черты естествен-

ности той, Что невозможно, их изведав, Не кончить полной немотой» («Волны»). Эта естественность стиля (Пастернак называет его «непоказным») от цикла к циклу и от книги к книге («Второе рождение», «На ранних поездах», «Когда разгуляется») пойдет по восходящей. Она будет закреплена вторым коренным авторским пересмотром своих произведений в 1956—1957 годах, не менее решительным, чем первый пересмотр. И он коснется не только отдельных строк и строф, но и целых произведений. Пастернаку захочется переписать заново даже те стихи, которые стали широко известны и составили ему имя.

Так, в стихотворении, давшем название целой книге, «Сестра моя — жизнь...» автора не устраивала строка «Черных от пыли и бурь канале» в первой строфе. И он переделал обе строфы, и настаивал на своей последней редакции, ориентируясь на нового, пришедшего к жизни читателя. Через четверть века после написания «Волн» Пастернак решил во многом исправить их. Он переписал набело целые отрывки. Это было не исправление старой работы, а написанный заново вариант на ее тему. Это был вариант, который уместней было бы видеть в последней книге «Когда разгуляется», чем в книге «Второе рождение».

Если в отрывке 1931 года было:

Октябрь, а солнце, что твой август,
И снег, ожегший первый холм,

Усугубляет тугоплавкость
Катящихся, как вафли, волн, —

то в отрывке 1957 года читаем:

Октябрь, а солнце так же жгуче,
И блещут пальмы на холме,
Но выпавшего снега кучи
Напоминают о зиме.

Сняты не только «вафли-волны» и «тугоплавкость», но и изменена вся образная структура, весь колорит отрывка.

Далеко не все исправления поэта в новом духе несут тексту углубление. Иногда старые варианты выглядят убедительнее новых.

Стремление к простоте не означало для Пастернака опрощения. Эта проделанная им эволюция была естественным путем художника, желающего во всем дойти «до самой сути». Важно было, стремясь к новому, естественному стилю, чуждающемуся «посторонней остроты», не упустить, не утратить все то лучшее, что было поэту свойственно и в его раннюю пору, и прежде всего ассоциативного богатства постижения мира. Один из исследователей вполне обоснованно замечает, что традиционность стиха и стиля «позднего Пастернака» совсем не представляет собой отказа от структуры ранней поэзии: хотя читатель и сталкивается с обычными языковыми конструкциями, он знает, что они могут быть нарушены и используют-

ся поэтом отнюдь не в силу языкового автоматизма».

В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.

Эта строфа, начинающая стихотворение «Сосны» (книга «На ранних поездах»), содержит прямое описание места действия, последующие рисуют время действия с присущей поэту речевой парадоксальностью (об этом и говорят только что приведенные слова исследователя: обычные языковые связи «могут быть нарушены»): «бессмертные на время, Мы к лику сосен причтены И от болезней, эпидемий И смерти освобождены». Это «бессмертные на время» взрывает смысл строфы и делает ее содержание и ее образ осязаемыми.

В заглавном стихотворении книги «На ранних поездах» есть строфа:

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Эта строфа характерна для зрелого и позднего Пастернака. Характерность — в бóльшем, чем прежде, учете русской классической традиции, прежде всего традиций пушкинской и тютчевской. Эта традиция указывает не вынужденно, а свободно и естественно держаться главной темы, идти по

большаку, лишь изредка сворачивая на проселочную дорогу более дальних ассоциаций.

В том же стихотворении:

Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
Мы выходили из метро.

Обращает на себя внимание эпитет «двоякий», простой и вместе с тем емкий и точный, содержательный. Выходящие из метро люди видят и свет электрический и свет солнца, пробивающийся сквозь входные двери в наземный вестибюль. Нам понадобилась большая фраза, чтобы описать явление, которое поэт охватил одним словом, одним эпитетом.

Было бы рискованным утверждать, что у раннего Пастернака главенствовала метафора, часто развернутая, широко разветвленная метафора, а у зрелого и позднего — главенствует эпитет. На деле все было гораздо сложнее. Но при анализе общих черт поэтики надо называть доминанту. И этой доминантой у позднего Пастернака все же служит определение, выявляющее в предмете главные его качества. Художника интересует не столько то, чем один предмет напоминает другой, сколько самый предмет, самое явление — безотносительно к сравнению, каким бы неожиданным и ярким оно ни было. А если говорится о том, чем именно один предмет напоминает другой предмет, то только в тех случаях, когда самое сравнение

*

помогает дойти до сущности, «до оснований, до корней, до сердцевины». Образ должен не отдалять предмет изображения, а, напротив, приближать его, не уводить в сторону, а заставляя сосредоточиться на нем.

Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен черный небосвод.

Сравнение небосвода с зеркалом, поставленным на подзеркальник, делает картину безмерной в своем зрительном плане. Так же в стихотворении «Музыка»: два силача несут рояль на шестой этаж — «как колокол на колокольню». Сравнение дает ощутить тяжесть задачи и вместе с тем наполняет строфу предваряющими дальнейшее описание звуками.

Естественное, непоказное письмо коснулось не только пейзажей и описаний. Оно коснулось всего существа искусства Пастернака, всех его видов.

«Мне кажется, что в настоящее время менее, чем когда-либо, есть основание удаляться от пушкинской эстетики. Под эстетикой же художника я понимаю его представление о природе искусства, о роли искусства в истории и о его собственной ответственности перед нею», — говорил Борис Пастернак еще в 1927 году, накануне весьма решительной, как мы видели, переделки своих ранних сочинений и перед лицом новых задач. Пушкинское начало, все более и более ценимое всей

русской поэзией, осознаваемое ею как основа основ русского художественного слова, осваивалось и Пастернаком. Допускающая «разные толкования в разном возрасте», в 20-е годы пушкинская эстетика позволяла понимать ее и импрессионистически, в соответствии с собственными вкусами и царившими тогда течениями в литературе». Но время шло, пушкинское начало в зрелые годы поэта обрело новое толкование: «Сейчас это понимание у меня расширилось, и в него вошли элементы нравственного характера».

Художественная практика Пастернака несколько отставала от этих теоретических положений. Но здесь важно понять, что направление поиска было дано, и дано верно, и стихи и поэмы зрелых и поздних годов подтвердили давние теоретические предпосылки. Пушкинское начало и его победа в творчестве Пастернака означали, что можно впасть в «ересь» «неслыханной простоты» («Волны»), не теряя в естественности, поэтичности, глубине, не отказываясь от своего «я». В том случае, если понимать это «я» не как эгоцентризм, но как раскрепощающую индивидуальность творческое начало, укрепляющее контакты поэта с окружающим миром. Пушкинское начало помогало Борису Пастернаку побеждать «связанность собственными границами», как говорит он в одном из писем 1949 года.

Примером длительной борьбы и основательной победы начал пушкинской эстетики над выкрутасами и ломкою «всего привычного», над «посторонней остротой», в конечном счете над невнятицей и

маньеризмом — служил для Пастернака старший его современник Блок. «Черты действительности, как током воздуха, занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги», — пишет Пастернак.

Одухотворенная предметность, «прозы пристальной крупницы» («Анне Ахматовой»), вносимые в поэтическую ткань, стремление в своем искусстве «быть живым, живым и только, Живым и только до конца» («Быть знаменитым некрасиво...»), историческая живопись, поддержанная динамическими картинами природы, — все это свидетельствует о стремлении Пастернака отойти от школ, грешивших «ненужной манерностью, грехом тех лет».

Как мы видели, две коренные переработки всего корпуса стихов и поэм при несчетных доработках между ними, имели целью не столько частные стилевые поправки, сколько пересмотр всей художественной системы.

Эта воля к преодолению своих пределов диалектически сочеталась с постоянной заботой о сохранении своего почерка, с желанием «не отступаться от лица» («Быть знаменитым некрасиво...»), не упускать завоеванных художественных позиций. Это хранимое своеобразие покоилось на умении не только видеть жизнь в ее подробностях, но и схватывать общие планы.

Описывается ночной полет («Ночь»). Что происходит в эту ночь во время полета? Мы видим мир в его подробностях: в чужих городах работают ночные бары, живут своей жизнью казармы, вок-

залы, идут поезда. И тут же — крупным планом — «блуждают, сбившись в кучу, небесные тела». И снова: «в подвалах и котельных не спят истопники», на парижских афишах «объявлен новый фарс», кто-то не спит «на крытом черепицей старинном чердаке». Это видят летчик и художник. Ну, допустим, Антуан де Сент-Экзюпери и Пастернак.

Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.

Снова крупный план, как бы возникший на гребне дробного перечисления в полете, признаков ночи. И вот концовка:

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну, —
Ты — вечности заложник
У времени в плену!

Афиша, город, кочегар, Марс, Млечный Путь — все это сочетается воедино. Предметы и явления вступают в непривычные связи, но эти связи не произвольны, они обусловлены временем и местом.

Кроме того, время и вечность оказываются взаимозависимы. Здесь Пастернак, много раз в жизни заинтересованно касавшийся этой связи («через дорогу за тын перейти Нельзя, не топча мироздания», «бессмертные на время, Мы к лику сосеп причтены»), создает образ крупномасштабный. Приобщение вечных тем к современности, особенно в стихах о природе и любви, становится притягательным и для младших современников поэта, работавших и работающих с оглядкой на него.

Если в раннем стихотворении поэзия определялась как «круто налившийся свист», «щелканье сдавленных льдинок», как «ночь, леденящая лист», как поединок «двух соловьев» («Определение поэзии»), то в зрелую пору Пастернак говорит, что «строчки с кровью убивают», что в искусстве слова «дышат почва и судьба» («О, знал бы я, что так бывает...»). В позднюю пору ему уже хочется, «Все время схватывая нить Судеб, событий, Жить, думать, чувствовать, любить, Свершать открытья».

На протяжении жизни Пастернак описывал себя то как «объевшегося рифмами всезнайку» («Спекторский»), то ему хотелось «вместо жизни виршеписца» повести «жизнь самих поэм» («Волны») — то есть оставить литературу ради творчества самой жизни, — то идти «вперед, не трепеща... пока ты жив и о тебе не пожалели» («Столетье с лишним — не вчера...»), то он брал за образец мастера, который «прячется от взоров и собственных стыдится книг» («Художник», 1). Его

образы поэта эволюционировали так же, как и он сам. Но никогда идеал художника не связывал он с трибуной и широкой общественной деятельностью. Как мы видели, мир его поэзии все время расширялся, и трудно предположить меру и формы его дальнейшего расширения, если бы поэт прожил еще годы и продолжил бы лучшее, что было заложено в его последней книге «Когда разгуляется». Однако сослагательное наклонение «если бы» неуместно и непроизводительно. Перед нами завершенная судьба.

В 1922 году Пастернак сказал:

Поэзия, я буду клясться
Тобой и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты — лето с местом в третьем классе,
Ты — пригород, а не припев.

Далее в том же стихотворении «Поэзия» есть строка: «предместье, а не перепев». Иными словами: автор не согласен на роль сладкогласца, он выдает читателю, да и сам берет билет на место «в третьем классе». Нет надобности растолковывать этот образ. Он внятен. Как внятно желание, чтобы каждое стихотворение всеми своими особенностями «было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красными строками своей черной бескрасочной печати».

Нам бы хотелось, чтоб именно это почувствовал читатель, приступая к чтению книги.

Перед читателем развернется почти полувековой путь поэта, обозначенный в смене его стихотворных циклов и книг. В этой смене сказалось желание не только выразить себя, но и запечатлеть время — свой восторг перед «неземной новизной» революционной эпохи и свою растерянность перед ней. Но, как бы ни был сложен рисунок творческого пути Пастернака, его вклад в нашу поэзию весьма значителен.

Лев Озеров

СТИХОТВОРЕНИЯ

Начальная пора

1912—1914

* * *

Февраль. Достать чернил и плакаты!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен
Чрез благовест, чрез клик колес
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И, чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

1912

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,

Где пруд — как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.

1912

СОН

Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

Но время шло и старилось, и глохло,
И, паволокой рамы серебра,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.

Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.

Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.

Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Гряду бегущих по небу берез.

1913, 1928

* * *

Я рос. Меня, как Ганимеда,
Несли ненастья, сны несли.
Как крылья, отрастали беды
И отделяли от земли.

Я рос. И повечерий тканых
Меня фата обволокла.
Напутствуем вином в стаканах,
Игрой печальною стекла,

Я рос, и вот уж жар предплечий:
Студит объятие орла.
Дни далеко, когда предтечей,
Любовь, ты надо мной плыла.

Но разве мы не в том же небе?
На то и прелесть высоты,
Что, как себя отпевший лебедь,
С орлом плечо к плечу и ты.

Все наденут сегодня пальто
И заденут за поросли капель,
Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастьями заплл.

Засребрятся малины листы,
Запрокинувшись кверху изнанкой.
Солнце грустно сегодня, как ты, —
Солнце нынче, как ты, северянка.

Все наденут сегодня пальто,
Но и мы проживем без убытка.
Нынче нам не заменит ничто
Затуманившегося напитка.

ВОКЗАЛ

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать — не исчислить заслуг.

Бывало, вся жизнь моя — в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.

Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник.

Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.

Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.

И глухнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.

И вот уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер, —
О, быть бы и мне в их числе!

1913, 1928

ВЕНЕЦИЯ

Я был разбужен спозаранку
Щелчком оконного стекла.
Размокшей каменной баранкой
В воде Венеция плыла.

Всё было тихо, и, однако,
Во сне я слышал крик, и он
Подобьем смолкнувшего знака
Еще тревожил небосклон.

Он вис трезубцем Скорпиона
Над гладью стихших мандолин
И женщиною оскорбленной,
Быть может, издан был вдали.

Теперь он стих и черной вилкой
Торчал по черенок во мгле.
Большой канал с косою ухмылкой
Оглядывался, как беглец.

Вдали за лодочной стоянкой
В остатках сна рождалась явь.
Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь.

1913, 1928

ЗИМА

Прижимаюсь щекою к воронке
Завитой, как улитка, зимы.
«По местам, кто не хочет —
к сторонке!»
Шумы-шорохи, гром кутерьмы.

«Значит — в «море волнуется»?
В повесть,
Завивающуюся жгутом,
Где вступают в черед, не готовясь?
Значит — в жизнь? Значит — в повесть
О том,

Как нечаян конец? Об уморе,
Смехе, сутолоке, беготне?
Значит — вправду волнуется море
И стихает, не справясь о дне?»

Это раковины ли гуденье?
Пересуды ли комнат-тихонь?
Со своей ли поссорившись тенью,
Громыкает заслонкой огонь?

Поднимаются вздохи отдушин
И осматриваются — и в плач.
Черным храпом карет перекушен,
В белом облаке скачет лихач.

И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.

1913, 1928

ПИРЫ

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.

Тревожный ветер ночей — тех здравиц
виночерпьем,
Которым, может быть, не сбыться никогда.

Наследственность и смерть — застолицы наших
трапез.

И тихую зарей — верхи дерев горят —
В сухарнице, как мышь, копается анапест
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.

Полы подметены, на скатерти — ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И Золушка бежит — во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош — и на своих двоих.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Не поправить дня усилиями светилен,
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу — косяк особняка:
Это — барский дом, и я в нем гувернером.
Я один, я спать усладил ученика.

Никого не ждут. Но — наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо замечено.

Памяты! Не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой — одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар — исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развили
Вмерзшие бутылки голых черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях нелюдимый дым.

1913, 1928

Из книги «Поверх барьеров»
1914—1916

ДВОР

Мелко исписанный инеем двор!
Ты — точно приговор к ссылке
На недоед, недосып, недобор,
На недопой и на боль в затылке.

Густо покрытый усышкой листвы,
С солью из низко нависших градирен!
Видишь, полозьев чернеются швы,
Мерзлый нарыв мостовых расковырян.

Двор, ты заметил? Вчера он набряк,
Вскрылся сегодня, и ветра порывы
Валяются, выпав из лап октября,
И зарываются в конские гривы.

Двор! Этот ветер, как кучер в мороз,
Рвется вперед и по брови нафабрен
Скрипом пути, и, как к козлам, прирос
К кручам гудящих окраин и фабрик.

Руки враскидку, крючки назад,
Стан казакином, как облако, вспучен,
Окрик и свист, берегись, осади, —
Двор! Этот ветер морозный — как кучер.

Двор! Этот ветер тем родственен мне,
Что со всего околотка с налету
Он налипает билетом к стене:
«Люди, там любят и ищут работы!

Люди, там ярость сановней моей!
Там даже я преклоняю колени.
Люди, как море в краю лопарей,
Льдами щетинится их вдохновенье.

Крепкие ¹ тьме полыханьем огней!
Крепкие стуже стрельбою поленьев!
Стужа в их книгах — студеней моей,
Их откровений — темнее затменье.

Мздой облагает зима, как баскак,
Окна и печи, но стужа в их книгах —
Ханский указ на вощенных брусках
О наложении зимнего ига.

Огородитесь от вьюги в стихах
Шубой; от неба — свечою; трехгорным —
От дуновенья надежд, впопыхах
Двинутых ими на род непокорный».

¹ Крепкий кому — подвластный, обязанный данью или податью.

ДЕСЯТИЛЕТЬЕ ПРЕСНИ

(Отрывок)

Усыпляя, влачась и сплющивая
Плащи тополей и стоков,
Тревога подула с грядущего,
Как с юга дует сирокко.

Швыряя шафранные факелы
С дворцовых пьедесталов,
Она горящую паклею
Седое ненастье хлестала.

Тому грядущему, быть ему
Или не быть ему?
Но медных Макбетовых ведьм в дыму —
Видимо-невидимо.

.
Глушь доводила до бесчувствия
Дворы, дворы, дворы. . . И с них,
С их глухоты — с их захолустья,
Завязывалась ночь портних
(Иных и настоящих), прачек,
И спертых воплей караул,
Когда с Канатчиковой дачи
Декабрь веревки вил, канатчик,
Из тел, и руки в дуги гнул
Середь двора; когда посул

Свобод прошел, и в стане стачек
Стоял годами говор дул.

Снег тек с расстегнутых енотов,
С подмокших, слипшихся лиснц
На лед оконных переплетов
И часто на плечи жилиц.

Тупик, спускаясь, вел к реке,
И часто на одном коньке
К реке спускался вне себя
От счастья, что и он, дробя
Кавалерийским следом лед,
Как парные коньки, несет
К реке, — счастливый карапуз,
Счастливый тем, что лоск рейтуз
Приводит в ужас всё вокруг,
Что всё — таинственность, испуг,
И сокровенье, — и что там,
На старом месте, старый шрам
Ноябрьских туч; что, приложив
К устам свой палец, полужив,
Стоит знакомый небосклон,
И тем, что за ночь вырос он.
В те дни, как от побоев слабый,
Пал на землю тупик. Исчез,
Сумел исчезнуть от масштаба
Разбастовавшихся небес.

Стояли тучи под ружьем
И, как в казармах батальоны,

Команды ждали. Нипочем
Стесненной стуже были стоны.
Любила снег ласкать пальба,
И улицы обыкновенно
Невинны были, как мольба,
Как святость — неприкосновенны.
Кавалерийские следы
Дробили льды. И эти льды
Перестилались снежным слоем
И вечной памятью героям.
Стоял декабрь. Ряды окон,
Не освещенных в поздний час,
Имели вид сплошных попон
С прорезами для конских глаз.

1915

ПЕТЕРБУРГ

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжен без осечки.

О, как он велик был! Как сеткой
конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза наворачнулись,
Слезя их, заливы в осоке!

И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатили; когда им

Забвенье владело; когда он знакомил
С империей царство, край — с краем.

Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа, —
Мне здесь сновиденье явилось, и счета
Сведу с ним сейчас же и тут же.

Он тучами был, как делами, завален.
В ненастья натянутый парус,
Чертежной щетиною ста готовален,
Врезалась царская ярость.

В дверях, над Невой, на часах, гайдуками,
Века пожирая, стояли
Шпалеры бессонниц в горячечном гаме
Рубанков, снастей и пицалей.

И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,
Пока у него на чертежный подрамок
Надеты таежные топи.

Волны толкуются. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над буюм, залитым
Мутью, мешает с толченым графитом
Узких свистков паровые клубы.

Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер.

Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами — баркасов кора.

С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,
Тают в каналах балтийского шлака,
Тлеют по черным следам колеса.

Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

Чертежный рейсфедер
Всадника медного
От всадника — ветер
Морей унаследовал.

Каналы на прибыли,
Нева прибывает.
Он северным грифелем
Наносит трамваи.

Попробуйте, лягте-ка
Под тучею серой,
Здесь скачут на практике
Поверх барьеров.

И видят окраинцы:
За Нарвской, на Охте
Туман продирается,
Отодранный ногтем.

Петр машет им шляпою,
И плещет, как прапор,
Пурги расцарапанный,
Надорванный рапорт.

Сограждане, кто это,
И кем на терзанье
Распущены по ветру
Полотнища зданий?

Как план, как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил.

Тучи, как волосы, встали дыбом
Над дымной, бледной Невой.
Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
Город — вымысел твой.

Улицы рвутся, как мысли, к гавани
Черной рекой манифестов.
Нет, и в могиле глухой, и в саване
Ты не нашел себе места.

Волн наводнения не удержишь сваями.
Речь их как кисти слепых повитух.
Это ведь бредишь ты, неменяемый,
Быстро бормочешь вслух.

Оттепелями из магазинов
Веяло ватным теплом.
Вдоль по панелям зимним
Ездил звездистый лом.

Лед, перед тем как дрогнуть,
Соками пух, трещал.
Как потемневший ноготь,
Ныла вода в клещах.

Капала медь с деревьев.
Прячась под карниз,
К окнам с галантереей
Жался букинист.

Клейма резиновой фирмы
Сеткою подошв
Липли к икринкам фирна
Или влекли под дождь.

Вот как бывало в будни.
В праздники ж рос буран
И нависал с полудня
Вестью полярных стран.

Небу под снег хотелось,
Улицу бил озноб,
Ветер дрожал за целость
Вывесок, блях и скоб.

1915, 1928

ДУША

О вольноотпущенница, если вспомнится,
О, если забудется, пленница лет.
По мнению многих, душа и паломница,
По-моему — тень без особых примет.

О, в камне стиха, даже если ты канула,
Утопленница, даже если — в пыли,
Ты бьешься, как билась княжна Тараканова,
Когда февралем залило равелин.

О внедренная! Хлопоча об амнистии,
Кляня времена, как клянут сторожей,
Стучатся опавшие годы, как листья,
В садовую изгородь календарей.

* * *

Не как люди, не еженедельно,
Не всегда, в столетье раза два
Я молил тебя: членораздельно
Повтори творящие слова.

И тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь ты, чтоб я был весел,
С чем бы стал ты есть земную соль?

1915

РАСКОВАННЫЙ ГОЛОС

В шалящую полночью площадь,
В сплывавшую белую бездну
Незримою ими — «Извозчик!»
Низринуть с подъезда. С подъезда

Столкнуть в воспаленную полночь
И слышать сквозь темные спай
Ее поцелуев — «На помощь!»
Мой голос зовет, утопая.

И видеть, как в единоборстве
С метелью, с лютейшей из лютен,
Он — этот мой голос — на черствой
Узде выплывает из мути. . .

МЕТЕЛЬ

1

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, —

Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожеи
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).

Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник — осиноый лист, он безгубый,
Безгласен, как призрак, белей полотна!

Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчком с мостовой. . .
— Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий. . .
Я тоже какой-то. . . я сбился с дороги:
— Не тот это город, и полночь не та.

2

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
Заваливай окна и рамы заклеивай,
Там детство рождественской елью топорщится.

Бушует бульваров безлиственных заговор.
Они поклялись извести человечество.
На сборное место, город! За город!
И вьюга дымится, как факел над нечистью.

Пушинки непрошенно валятся на руки.
Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.
Снежинки снуют, как ручные фонарики.
Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнал!

Дыра полыньи, и мерещится в музыке
Пурги: «Колиньи, мы узнали твой адрес!»
Секиры и крики: «Вы узнаны, узники
Уюта!» — и по́ двери мелом — крест-накрест.

Что лагерем стали, что подняты на ноги
Подонки творенья, метели — сполáгоря.
Под праздник отправятся к праотцам правнуки.
Ночь Варфоломеева. За город, за город!

1914, 1928

УРАЛ ВПЕРВЫЕ

Без родовспомогательницы, во мраке,
без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,
В мученьях ослепшая, утро рожала.

Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И где-то от этого,
Шарахаясь, падали призраки пихты.

Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан — заводам и горам —

Лесным печником, злозязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.

Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны, и звали на царство венчаться.

И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых монархов, вступали
На устланный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.

ЛЕДОХОД

Еще о восходах молодых
Весенний грунт мечтать не смеет.
Из снега выкатив кадык,
Он берегом речным чернеет.

Заря, как клещ, впилась в залив,
И с мясом только вырвешь вечер
Из топи. Как плотолюбив
Простор на севере зловещем!

Он солнцем давится взаглот
И тащит эту ношу по́ мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.

Капéль до половины дня,
Потом, морозом землю скомкав,
Гремит плавучих льдин резня
И поножовщина обломков.

И ни души. Один лишь хрип,
Тоскливый лязг и стук ножовой,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.

1916, 1928

* * *

Я понял жизни цель и чту
Ту цель, как цель, и эта цель —
Признать, что мне невоготу
Мириться с тем, что есть апрель,

Что дни — кузнечные мехи,
И что растекся полосой
От ели к ели, от ольхи
К ольхе, железный и косой,

И жидкий, и в снега дорог,
Как уголь в пальцы кузнеца,
С шипеньем впившийся поток
Зари без края и конца,

Что в берковец церковный зык,
Что взят звонарь в весовщики,
Что от капели, от слезы
И от поста болят виски.

ВЕСНА

1

Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеplen
Апрель. Возмужалостью тянет из парка,
И реплики леса окрепли.

Лес стянут по горлу петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной глadiator органа.

Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брыжжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

2

Весна! Не отлучайтесь
К реке на прорубь. В городе
Обломки льда, как чайки,
Плывут, крича с три короба.

Земля, земля волнуется,
И под мостов пролеты
Затопленные улицы
Сливают нечистоты.

По ним плывут, как спички,
Сквозь холод ледохода
Сады и электрички —
И не находят броду.

От кружки синевы со льдом,
От пены буревестников
Вам дурно станет. Впрочем, дом
Кругом затоплен песнью.

И бросьте размышлять о тех,
Кто выехал рыбачить.
По городу гуляет грех
И ходят слезы падших.

3

Разве только грязь видна вам,
А не скачет таль в глазах?
Не играет по канавам —
Словно в яблоках рысак?

Разве только птицы cedят,
В синем небе щебеча,
Ледяной лимон обеден
Сквозь соломину луча?

Оглянись — и ты увидишь:
До зари, весь день, везде,
С головой Москва, как Китеж,
В светло-голубой воде.

Отчего прозрачны крыши
И хрустальны колера?
Как камыш, кирпич колыша,
Дни несутся в вечера.

Город, как болото, топок,
Струпья снега на счету,
И февраль горит, как хлопок
Захлебнувшийся в спирту.

Белым пламенем измучив
Зоркость чердаков, в косом
Переплете птиц и сучьев —
Воздух гол и невесом.

В эти дни теряешь имя,
Толпы лиц сшибают с ног.
Знай, твоя подруга с ними,
Но и ты не одинок.

ИВАКА

Кокошник нахлобучила
Из низок ливня — парось.
Футляр дымится тучею,
В ветвях горит стеклярус.

И на подушке плюшевой
Сверкает в переливах
Разорванное кружево
Деревьев говорливых.

Сережек аметистовых
И шишек из сапфира
Нельзя и было выставить,
Из-под земли не вырыв.

Чтоб горы очаровывать
В лиловых мочках яра,
Их вынули из нового
Уральского футляра.

СТРИЖИ

Нет сил никаких у вечерних стрижей
Сдержать голубую прохладу.
Она прорвалась из горластых грудей
И льется, и нет с нею сладу.

И нет у вечерних стрижей ничего,
Что б там, наверху, задержало
Витийственный возглас их: о, торжество,
Смотрите, земля убежала!

Как белым ключом закипая в котле,
Уходит бранчливая влага, —
Смотрите, смотрите — нет места земле
От края небес до оврага.

СЧАСТЬЕ

Исчерпан весь ливень вечерний
Садами. И вывод — таков:
Нас счастье тому же подвергнет
Терзанию, как сонм облаков.

Наверное, бурное счастье
С лица и на вид таково,
Как улиц по смутьи ненастья
Столиственное торжество.

Там мир заключен. И, как Каин,
Там заштемпелеван теплом
Окраин, забыт, и охаян,
И высмеян листьями гром.

И высью. И капель икотой.
И — внятной тем более, что
И рощам нет счета: решета
В сплошное слились решето.

На плоской листе. Океане
Расплавленных почек. На дне
Бушующего обожанья
Молящихся вышине.

Кустарника сгусток не выжат.
По клетке и влюбчивый клест
Зерном так задорно не брызжет,
Как жимолость — россыпью звезд.

1915

ТРИ ВАРИАНТА

1

Когда до тончайшей мелочи
Весь день пред тобой на весу,
Лишь знойное шелканье белочье
Не молкнет в смолистом лесу.

И млея, и силы накапливая,
Спит строй сосновых высот.
И лес шелушится и каплями
Роняет струящийся пот.

2

Сады тошнит от верст затишья.
Столбняк рассерженных лощин
Страшней, чем ураган, и лише,
Чем буря, в силах всполошить.

Гроза близка. У сада пахнет
Из усыхающего рта
Крапивой, кровлей, тленьем, страхом.
Встает в колонны рев скота.

3

На кустах растут разрывы
Облетелых туч. У сада
Полон рот сырой крапивы:
Это запах гроз и кладов.

Устает кустарник охать.
В небе множатся пролеты.
У босой лазури — походь
Голенастых по болоту.

И блестят, блестят, как губы,
Не утертые рукою,
Лозы ив, и листья дуба,
И следы у водопоя.

ИЮЛЬСКАЯ ГРОЗА

Так приближается удар
За сладким, из-за ширмы лени,
Во всеоружьи мутных чар
Довольства и оцепененья.

Стоит на мертвой точке час
Не оттого ль, что он намечен,
Что желчь моя не разлилась,
Что у меня на месте печень?

Не отсыхает ли язык
У лип, не липнут листья к небу ль
В часы, как в лагере грозы
Полнеба топчется поодаль?

И слышно: гам ученья там,
Глухой, лиловый, отдаленный.
И жарко белым облакам
Грудиться, строясь в батальоны.

Весь лагерь мрака на виду.
И, мрак глазами пожирая,
В чаду стоят плетни. В чаду —
Телеги, кадки и сараи.

Как плат белы, забыли грызть
Подсолнухи, забыли сплунуть,
Их всех поработила высь,
На них дохнувшая, как юность.

Гроза в воротах! на дворе!
Преображаясь и дурея,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.

По лестнице. И на крыльцо.
Ступень, ступень, ступень. — Повязку!—
У всех пяти зеркал лицо
Грозы, с себя сорвавшей маску.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Всё стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.

Сначала всё опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревьев развенчивать,

И попранным парком из ливня — под град,
Потом от сараев — к террасе бревенчатой.

Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, —
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.

Со стекол балконных, как с бедер и спин
Озябших купальщиц, — ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженный клин,
И градинки стелются солью поваренной.

Вот луч, покатаься с паутины, залег
В крапиве, но, кажется, это ненадолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.

1915, 1928

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клетот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд
И волны. И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые черные крепкие клювы.

И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дегтем.
И было волною обглодано дно.
У лодки. И грызлися птицы у локтя.

И ночь полоскалась в гортанях запруд.
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут
Рулады в крикливом, искривленном горле.

БАЛЛАДА

Бывает, курьером на бóрзом
Расскачется сердце, и, точно
Отрывистость азбуки Морзе,
Черты твои в зеркале срочны.

Поэт или просто глашатай,
Герольд или просто поэт,
В груди твоей — топот лошадный
И сжатость огней и ночных эстафет.

Кому сегодня шутится?
Кому кого жалеть?
С платка текла распутица,
И к ливню липла плеть.

Был ветер заперт наглухо,
И штемпеля вlepлял,
Как оплеухи наглости,
Шалея, конь в поля.

Бряцал мундштук закушенный,
Врывалась в ночь лука,
Конь оглушал заушиной
Раскаты большака.

Не видно ни зги, но затем в отдаленьи:
Движенье: лакей со свечой в колпаке.
Мельчая, копят тополя, и аллея
Уходит за пчельник, истлев вдалеке.

Салфетки белей алебастр балюстрады.
Похоже, огромный, как тень, брадобрей.
Макает в пруды дерева и ограды
И звякает бритвой об рант галерей.

Впустите, мне надо видеть графа.
Вы спросите, кто я? Здесь жил органист.
Он лег в мою жизнь пятеричной оправой:
Ключей и регистров. Он уши зарниц
Крюками прибил к проводам телеграфа.
Вы спросите, кто я? На розыск Кайяфы.
Отвечу: путь мой был тернист.

Летами тишь гробовая
Стояла, и поле отхлебывало
Из черных котлов, забываясь,
Лапшу светоносного облака.

А зимы другую основу
Сновали, и вот в этом крошewe
Я — черная точка дурного
В валящихся хлопьях хорошего.

Я — пар отстучавшего града, прохладой
В исходную высь воспаряющий. Я —
Плодовая падаль, отдавшая саду
Все счета по службе, всю сладость и яды,
Чтоб, музыкой хлынув с дуги бытия,
В приемную ринуться к вам без доклада.
Я — мяч полногласья и яблоко лада.
Вы знаете, кто мне закон и судья.

Впустите, мне надо видеть графа.
О нем есть баллады. Он предупрежден.
Я помню, как плакала мать, играв их,
Как вздрагивал дом, обливаясь дождем.

Позднее узнал я о мертвом Шопене.
Но и до того, уже лет в шесть,
Открылась мне сила такого сцепленья,
Что можно подняться и землю унести.

Куда б утекли фонари околотка
С пролетками и мостовыми, когда б
Их марево не было, как на колодку,
Набито на гул колокольных октав?

Но вот их снимали, и, в хлопья облекшись,
Пускались снова без оглядки дома,
И плотно захлопнутой нотной обложкой
Валилась в разгул листопада зима.

Ей недоставало лишь нескольких звеньев,
Чтоб выполнить раму и вырасти в звук,

И музыкой — зеркалом исчезновенья —
Качнуться, выскальзывая из рук.

В колодец ее обалделого взгляда
Бадьей погружалась печаль и, дойдя
До дна, подымалась оттуда балладой
И рушилась былью в обвязке дождя.

Жестоко продрогши и до подбородков
Закованные в железо и мрак,
Прыжками, прыжками, коротким галопом
Летели потоки в глухих киверах.

Их кожаный строй был, как годы, бороздчат,
Их шум был как стук на монетном дворе,
И вмиг запружалась рыдванами площадь,
Деревья мотались, как дверцы карет.

Насколько терпелось канавам и скатам,
Покамест чекан принимала руда,
Удар за ударом, трудясь до упаду,
Дукаты из слякоти била вода.

Потом начиналась работа граверов,
И черви, разделав сырье под орех,
Вгрызались в сознание гербом договора,
За радугой следом ползя по коре.

Но лето ломалось, и всею машиной
На август напарывались деревья,
И в цинковой кипе фальшивых цехинов
Тонули крушенья шаги и слова.

Но вы безответны. В другой обстановке
Недолго б длился мой конфуз.

Но я набивался и сам на неловкость,
Я знал, что на нее нарвусь.

Я знал, что пожизненный мой собеседник,
Меня привлекая страшной из тяг,
Молчит, крепясь из сил последних,
И вечно числится в нетях.

Я знал, что прелесть путешествий
И каждый новый женский взгляд
Лепечут о его соседстве
И отрицать его велят.

Но как пронести мне этот ворох
Признаний через ваш порог?
Я трачу в глупых разговорах
Всё, что дорогой приберег.

Зачем же, земские ярыги
И полицейские крючки,
Вы обнесли стеной религий
Отца и мастера тоски?

Зачем вы выдумали послух,
Безбожие и ханжество,
Когда он лишь меньшей из взрослых
И сверстник сердца моего.

1916, 1928

МЕЛЬНИЦЫ

Стучат колеса на селе.
Струятся и хрустят колосья.
Далеко, на другой земле,
Рыдает пес, обезголосев.

Село в серебряном плену
Горит белками хат потухших,
И брешет пес, и бьет в луну
Цепной, кудлатой колотушкой.

Мигают вишни, спят волы,
Внизу спросонок пруд маячит,
И кукурузные стволы
За пазухой початки прячут.

А над кишеньем всех естеств,
Согбенных бременем налива,
Костлявой мельницы крестец,
Как крепость, высится ворчливо.

Плакучий Харьковский уезд,
Русалочьи начесы лени,
И ветел, и плетней, и звезд,
Как сизых свечек, шевеленье.

Как губы — шепчут; как руки — вяжут;
Как вздох — невнятен; как кисти —
дряхлы,

И кто узнает, и кто расскажет,
Чем тут когда-то дело пахло?

И кто отважится, и кто осмелится
Из сонной одури хоть палец высвободить,
Когда и ветряные мельницы
Окоченели на лунной исповеди?

Им ветер был роздан, как звездам — свет.
Он выпущен в воздух, а нового нет.
А только, как судна, земле вопреки,
Воздушной ссудой живут ветряки.

Ключицы сутуля, крыла разбросав,
Парят на ходулях степей паруса.
И сохнут на срубках, висят на горбах
Рубахи из луба, порты-короба.

Когда же беснуются куры и стружки,
И дым коромыслом, и пыль столбом,
И падают капли медяшками в кружки,
И ночь подплывает во всем голубом,

И рвутся оборки настурций, и буря,
Баллоном раздув полотно панталон,
Вбегаёт и видит, как тополь, зажмурясь,
Нашествием снега слепит небосклон, —

Тогда просыпаются мельничные тени.
Их мысли ворочаются, как жернова.
И они огромны, как мысли гениев,
И несоразмерны, как их права.

Теперь перед ними всей жизни ўмолот.
Все помыслы степи и все слова,
Какие жара в горах придумала,
Охалками падают в их постова.

Завидевши их, паровозы тотчас же
Врезаются в кашу, стремя к ветрякам,
И хлопают паром по тьме клокочущей,
И мечут из топок во мрак потроха.

А рядом, весь в пеклеванных выкликах,
Захлебываясь кулешом подков,
Подводит шлях, в пыли по щиколку,
Под них свой сусличий подкоп.

Они ж, уставая от далей, пожалованных
Валам несчастной шестерни,
Меловые обвалы пространств обмалывают
И судьбы, и сердца, и дни.

И они перемалывают царства проглоченныс.
И, вращая белками, пылят облака,
И, быть может, нигде не найдется вотчины,
Чтобы бездонным мозгам их была велика.

Но они и не жалуются на каторгу.
Наливаясь в грядущем и тлея в былом,
Неизвестные зарева, как элеваторы,
Преисполняют их теплом.

НА ПАРОХОДЕ

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки.

Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.

Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.

Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Ныряла и светильней плавала
В лампаде камских вод звезда.

На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.

Держа в руке бокал, вы суженным
Зрачком следили за игрой
Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.

Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкал за Камою рассвет.

И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компании
И городские фонари.

ИЗ ПОЭМЫ

(Два отрывка)

1

Я тоже любил, и дыханье
Бессонницы раннюю ранью
Из парка спускалось в овраг
и впотьмах
Выпархивало на архипелаг

Полян, утопавших в лохматом тумане,
В полыни, и мяте, и перепелах.
И тут тяжелел обожанья размах,
Хмелел, как крыло, обожженное дробью,
И бухался в воздух, и падал в ознобе,
И располагался росой на полях.

А там и рассвет занимался. До двух
Несметного неба мигали богатства,
Но вот петухи начинали пугаться
Потемок и силились скрыть перепуг,
Но в глотках рвались холостые фугасы,
И страх фистулой голосил от потуг,
И гасли Стожары, и как по заказу
С лицом пучеглазого свечегаса
Показывался на опушке пастух.

Я тоже любил, и она пока еще
Жива, может статья. Время пройдет,
И что-то большое, как осень, однажды
(Не завтра, быть может, так позже

когда-нибудь)

Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись
Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих
По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу
Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим
На ложный прибор прожитого. Я тоже
Любил, и я знаю: как мокрые пожни
От века положены году в подножье,

Так каждому сердцу кладется любовью
Знобящая новость миров в изголовье:

Я тоже любил, и она жива еще.
Всё так же, катясь в ту начальную рань,
Стоят времена, исчезая за краешком
Мгновенья. Всё так же тонка эта грань.
По-прежнему давнее кажется давешним.
По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
Безумствует быль, притворяясь незнающей,
Что больше она уж у нас не жилица.
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь
Всю жизнь удаляется, а не длится
Любовь, удивленья мгновенная дань?

1916, 1928

2

Я спал. В ту ночь мой дух дежурил.
Раздался стук. Зажегся свет.
В окно врывалась повесть бури.
Раскрыл, как был, — полуодет.

Так тянет снег. Так шепчут хлопья.
Так шепелявят рты примет.
Там подлинник, здесь — бледность копий.
Там всё в крови, здесь крови нет?

Там, озаренный, как покойник,
С окна блужданьем ночника,
Сиренью моет подоконник
Продрогший абрис ледника.

И в почву женеvскую, как в косы
Южанки, югом вvплетены
Огни рожков и абрикосы,
Оркестры, лодки, смех волны.

И, будто вороша каштаны,
Совком к жаровням в кучу сгреб
Мужчин — арак, а горожанок —
Иллюминированный сироп.

И говор долетает снизу.
А сверху, задыхаясь, вяз
Бросает в трепет холст маркизы
И ветки вчерчивает в газ.

Взгляни, как Альпы лихорадит!
Как верен дому каждый шаг!
О, будь прекрасна, бога ради,
О, бога ради, только так.

Когда ж твоя стократ прекрасней
Убийственная красота
И только с ней и до утра с ней
Ты отчужденьем облита,

То, атропин и белладонну
Когда-нибудь в тоску вкропив,
И я, как ты, взгляну бездонно,
И я, как ты, скажу: терпи.

1916

МАРБУРГ

Я вздрагивал. Я загорался и гас,
Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженней!

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своем подымалась.

Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И всё это были подобья.

Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: «Ребьячья зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в сба».

«Шагни, и еще раз», — твердил мне инстинкт
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научишься шагом, а после хоть в бег», —
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнава учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это всё ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел.
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок,
Предгрозье играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм,
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И всё это помнит и тянется к ним.
Всё — живо. И всё это тоже — подобья.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Всё ясно. Мы квиты.
Вокзальная сутолока не про нас.
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкой на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь?

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, сидит в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

1916, 1945

Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампы зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.

Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.

От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подруга, — лавиной вернуся.

НЕ ВРЕМЯ ЛЬ ПТИЦАМ ПЕТЬ

ПРО ЭТИ СТИХИ

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам.
Зимой открою потолок
И дам читать сырым углам.

Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме.
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет..

Буран не месяц будет мечь.
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.

Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Откроет много из того,
Что мне и милой невдомек.

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь форточку крикну детворе:
— Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?

Пока, в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут, окунал.

* * *

Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе,
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Беспорно, беспорно смешон твой резон,
Что в грóзу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в пути,
Оно грандиозней Святого писанья,
Хотя его сызнава всё перечти.

Что, только закат озарит хуторянок,
Толпою теснящихся на полотне,
Я слышу, что это не тот полустанок,
И солнце, садясь, соболезнует мне.

И, в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью,
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеча по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

ПЛАЧУЩИЙ САД

Ужасный! — Капнет и вслушается:
Всё он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков — земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях созревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверюсь,
Берется за старое — скатывается
По кровле, за желоб и через.

К губам поднесу и прислушаюсь:
Всё я ли один на свете,
Готовый навзрыд при случае,
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков, и плескания в шлепанцах,
И вздохов и слез в промежутке.

ЗЕРКАЛО

В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль, и — прямой
Дорожкой в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо.

Там сосны враскачку воздух саднят
Смолой; там по маете
Очки по траве растерял палисадник,
Там книгу читает Тень.

И к заднему плану, во мрак, за калитку,
В степь, в запах сонных лекарств
Струится дорожкой, в сучках и в улитках,
Мерцающий жаркий кварц.

Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла!
Казалось бы, всё коллодий залил,
С комода до шума в стволах.

Зеркальная всё б, казалось, нахлынь
Непотным льдом облила,
Чтоб сук не горчил и сирень не пахла —
Гипноза залить не могла.

Несметный мир семенит в месмеризме,
И только ветру связать,
Что ломится в жизнь, и ломается в призме,
И радо играть в слезах.

Души не взорвать, как селитрой залежь,
Не вырыть, как заступом клад.
Огромный сад тормошится в зале
В трюмо — и не бьет стекла!

И вот в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.
Так после дождя проползают слизни
Глазами статуй в саду.

Шуршит вода по ушам, и, чирикнув,
На цыпочках скачет чиж.
Ты можешь им выпачкать губы черникой,
Их шалостью не опишешь.

Огромный сад тормошится в зале,
Подносит к трюмо кулак,
Бежит на качели, ловит, салит,
Трясет — и не бьет стекла!

ДЕВОЧКА

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.

Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегают ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.

Сад застлан, пропал за ее беспорядком,
За бьющей в лицо кутерьмой.
Родная, громадная, с сад, а характером —
Сестра! Второе трюмо!

Но вот эту ветку вносят в рюмке
И ставят к раме трюмо.
Кто это, гадает, глаза мне рюмит
Тюремной людской дремой?

* * *

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!

У капель — тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платю пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

ДОЖДЬ

Надпись на «Книге степи»

Она со мной. Наигрывай,
Лей, смейся, сумрак рви!
Топи, теки эпитафией
К такой, как ты, любви!

Снуй шелкопрядом' тутовым
И бейся об окно.
Окутывай, опутывай,
Еще не всклянь темно!

Ночь в полдень, ливень, — гребень ей!
На щебне, взмок — возьми!
И — целыми деревьями
В глаза, в виски, в жасмин!

Осанна тьме египетской!
Хохочут, сшиблись, — ниц!
И вдруг пахнуло выпиской
Из тысячи больниц.

Теперь бежим сощипывать,
Как стон со ста гитар,
Омытый мглой липовой
Садовый Сен-Готард.

КНИГА СТЕПИ

Est-il possible, le fût-il?

*Verlaine*¹

ДО ВСЕГО ЭТОГО БЫЛА ЗИМА

В занавесках кружевных
Воронье.
Ужас стужи уж и в них
Заронен.

Это кружится октябрь,
Это жуть
Подобралась на когтях
К этажу.

Что ни просьба, что ни стон,
То, кряхтя,
Заступаются шестом
За октябрь.

Ветер за руки схватив,
Дерева
Гонят лестницей с квартир
По дрова.

¹ Возможно ли, было ли это? *Верлен* (франц.). — *Ред.*

Снег всё гуще, и с колен —
В магазин
С восклицаньем: «Сколько лет,
Сколько зим!»

Сколько раз он рыт и бит,
Сколько им
Сыпан зимами с копыт
Кокаин!

Мокрой солью с облаков
И с удил
Боль, как пятна с башлыков,
Выводил.

ИЗ СУЕВЕРЬЯ

Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев,
И — пеньё двери.

Из рук не выпускал защелки.
Ты вырывалась.
И чуб касался чудной челки,
И губы — фиалок.

О неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: здравствуй!

Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

НЕ ТРОГАТЬ

«Не трогать, свежевыкрашен», —
Душа не береглась,
И память — в пятнах икр, и щек,
И рук, и губ, и глаз.

Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтый белый свет
С тобой — белей белил.

И, мгла моя, мой друг, божусь,
Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
Чем белый бинт на лбу!

Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам — суфлер!
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой ни совлек.

Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошених кормов.
Ты так играла эту роль,
Как лепет шлюз — кормой!

И, низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так! — ты лучше всех ролей
Играла эту роль!

БАЛАШОВ

По будням медник подле вас
Клепал, лудил, паял,
А впрочем — масла подливал
В огонь, как пай к паям.

И без того душило грудь,
И песнь небес: «Твоя, твоя!» —
И без того лилась в жару
В вагон, на саквояж.

Сквозь дождик сеялся хорал
На гроб и в шляпы молокан,

А впрочем — ельник подбирал
К прощальным облакам.

И без того взошел, зашел
В больной душе, щемя, мечась,
Большой, как солнце, Балашов
В осенний ранний час.

Лазурью июльской облит,
Базар синел и дребезжал.
Юродствующий инвалид
Пиле, гундося, подражал.

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юродивого речь?
В природе лип, в природе плит,
В природе лета было жечь.

ПОДРАЖАТЕЛИ

Пекло, и берег был высок.
С подплывшей лодки цепь упала
Змеей гремучею — в песок,
Гремучей ржавчиной — в купаву.

И вышли двое. Под обрыв
Хотелось крикнуть им: «Простите,
Но бросьтесь, будьте так добры,
Не врозь, так в реку, как хотите.

Вы верны лучшим образцам.
Конечно, ищущий обрящет.
Но... бросьте лодкою бряцать:
В траве терзается образчик».

ОБРАЗЕЦ

О, бедный Homo Sapiens,¹
Существованье — гнет.
Былые годы за пояс
Один такой заткнет.

Все жили всушь и впроголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни — с час.

С тех рук впивавши ландыши,
На те глаза дышав,
Из ночи в ночь валандавшись,
Гормя горит душа.

Одна из южных мазанок
Была других южней,
И ползала, как пасынок,
Трава в ногах у ней.

¹ Мыслящий человек (лат.). — *Ред.*

Сушился холст. Бросается
Еще сейчас к груди
Плетень в ночной красавице,
Хоть год и позади.

Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
Сорил по лопухам.

Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.

Сошел и стал окидывать
Тех новых луж масла,
Разбег тех рощ ракитовых,
Куда я письма слал.

Мой поезд только тронулся,
Еще вокзал, Москва
Плясали в кольцах, в конусах
По насыпи, по рвам,

А уж гудели кобзами
Колодцы и, пылясь,
Скрипели, бились об землю
Скирды и тополя.

Пусть жизнью связи портятся,
Пусть гордость ум вредит,
Но мы умрем со спертостью
Тех розысков в груди.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЛЮБИМОЙ

* * *

Душистою веткою машучи,
Впивая впотъмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.

На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум — и в обеих
Огромною каплей агатовую
Повисла, сверкает, робеет.

Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, — их две еще,
Целующихся и пьющих.

Смеются и вырваться силятся,
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучатся, хоть режьте.

СЛОЖА ВЕСЛА

Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины, — о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит — пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!

Это ведь значит — обнять небосвод,
Руки сплести вокруг Геракла громадного,
Это ведь значит — века напролет
Ночи на шелканье славок проматывать!

ЗВЕЗДЫ ЛЕТОМ

Рассказали страшное,
Дали точный адрес.
Отпирают, спрашивают,
Двигутся, как в театре.

Тишина, ты — лучшее
Из всего, что слышал.
Некоторых мучает,
Что летают мыши.

Июльской ночью слободы
Чудно белокуры.
Небо в бездне поводов,
Чтоб набедокурить.

Блещут, дышат радостью,
Обдают сияньем
На таком-то градусе
И меридиане.

Ветер розу пробует
Приподнять по просьбе
Губ, волос и обуви,
Подолов и прозвищ.

Газовые, жаркие,
Осыпают в гравий
Всё, что им нашаркали,
Всё, что наиграли.

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО

Когда случилось петь Дездёмоне, —
А жить так мало оставалось, —
Не по любви, своей звезде она, —
По иве, иве разрыдалась.

Когда случилось петь Дездёмоне
И голос завела, крепясь,
Про черный день чернейший демон ей
Псалом плакучих русл припас.

Когда случилось петь Офелии, —
А жить так мало оставалось, —
Всю сушь души взмело и свеяло,
Как в бурю стебли с сеновала.

Когда случилось петь Офелии, —
А горечь грез осточертела, —
С какими канула трофеями?
С охапкой верб и чистотела.

Дав страсти с плеч отлечь, как рубищу,
Входили с сердца замираньем
В бассейн вселенной, стан свой любящий
Обдать и оглушить мирами.

ЗАНЯТЬЕ ФИЛОСОФИЕЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.

Это — сладкий заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках,¹
Это — с пультов и флейт — Фигаро
Низвергается градом на грядку.

¹ В данном случае слово «лопатки» означает стручки гороха.

Всё, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.

Площе досок в воде — духота.
Небосвод завалился ольхою,
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная — место глухое.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУШИ

Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан — расстался с суком!
Сумасброд — задохнется в сухом!

Спелой грушею, ветра косей.
Как он предан — «Меня не затреплет!».
Оглянись. отгремела в красе,
Отпылала, осыпалась — в пепле.

Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
О мой лист, ты пугливей щегла!
Что ты бьешься, о, шелк мой застенчивый?

О, не бойся, прирощая песнь!
И куда порываться еще нам?
Ах, наречье смертельное «здесь» —
Невдомек содроганью сращенному.

БОЛЕЗНИ ЗЕМЛИ

О, еще! Раздастся ль только хохот
Перламутром, Иматрой бацилл,
Мокрым гулом, тьмой стафилококков,
И блеснут при молниях резцы,

Так — шабаш! Нешаткие титаны
Захлебнутся в черных сводах дня.
Тени стянет трепетом tetanus,¹
И медянок запылит столбняк.

Вот и ливень. Блеск водобоязни,
Вихрь, обрывки бешеной слюны.
Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы
Или с сардонической сосны?

Чьи стихи настолько нашумели,
Что и гром их болью изумлен?
Надо быть в бреду по меньшей мере,
Чтобы дать согласие быть землей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон, и совесть, и ночь, и любовь оно.

¹ Столбняк (лат.). — *Ред.*

И какую-то черную доведь,¹
И — с тоскою какою-то бешеной —
К преставлению света готовит,
Конноборцем над пешками пешими.

А в саду, где из погреба, со льду,
Звезды благоуханно разохались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова захолодь.

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

НАША ГРОЗА

Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи. Расправляй
Губами вывих муравья.

Звон ведер сшиблен набекрень.
О, что за жадность: неба мало?!
В канаве бьется сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец.

¹ Дóведь — шашка, проведенная в край поля, в дамы.

В эмали — луг. Его лазурь,
Когда бы зябли, — соскоблили.
Но даже зяблик не спешит
Стряхнуть алмазный хмель с души.

У кадок пьют еще грозу
Из сладких шапок изобилья,
И клевер бурен и багров
В бордовых брызгах маляров.

К малине липнут комары.
Однако ж хобот малярный
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовой?!

Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить стрекало озорства,
Где кровь, как мокрая листва?!

О, верь игре моей, и верь
Гремящей вслед тебе мигрени!
Так гневу дня судьба гореть
Дичком в черешенной коре.

Поверила? Теперь, теперь
Приблизь лицо, и в озареньи
Святого лета твоего
Раздую я в пожар его!

Я от тебя не утаю:
Ты прячешь губы в снег жасмина,
Я чую на моих тот снег,
Он тает на моих во сне.

Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графленую осьмину?
У них растрескались уста
От ядов писчего листа.

Они с алфавитом в борьбе,
Горят румянцем на тебе.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНИЦА

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.

Что от треска колод, от бравады Ракочи,
От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит —
От розеток, костяшек, и роз, и костей,

Чтоб, прическу ослабив, и чайный и шалый,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши, как муку, и еле дыша.

Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.

Так сел бы вихрь, чтоб на пари
Порыв паров в пути
И мглу и иглы, как мюрид,
Не жмуря глаз, снести.

И объявить, что не скакун,
Не шалый шепот гор,
Но эти розы на боку
Несут во весь опор.

Не он, не он, не шепот гор.
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что — стянута платком.

И только то, что тюль и ток,
Душа, кушак и в такт
Смерчу умчавшийся носок
Несут, шумя в мечтах.

Им, им — и от души смеша,
И до упаду, в лоск,
На зависть мчащимся мешкам,
До слез — до слез!

ПЕСНИ В ПИСЬМАХ, ЧТОБЫ НЕ СКУЧАЛА

ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.

Я слышал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, бога нет в бору.

Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвой.

Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше — воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользя.

Просевая полдень, Троицын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чаще, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

MEIN LIEBCHEN,
WAS WILLST DU NOCH MEHR? ¹

По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?

С этой дачею дощатой
Может и не то случиться.
Счастье, счастьем нет пощады!
Гром не грянул, что креститься?

Может молния ударить, —
Вспыхнет мокрою кабинкой.
Или всех щенят раздарят.
Дождь крыло пробьет дробинкой.

Всё еще нам лес — передней,
Лунный жар за елью — печью,
Всё, как стираный передник,
Туча сохнет и лепечет.

И когда к колодцу рвется
Смерч тоски, то мимоходом
Буря хвалит домоводство.
Что тебе еще угодно?

Год сгорел на керосине
Залетевшей в лампу мошкой.
Вон зарею серо-синей
Встал он сонный, встал намокший.

¹ Любимая, что тебе еще угодно? (нем.) — *Ред.*

Он глядит в окно, как в дужку,
Старый, страшный состраданьем.
От него мокра подушка,
Он зарыл в нее рыданья.

Как утешить эту ветошь?
О, ни разу не шутивший,
Чем запущенного лета
Грусть заглохшую утишить?

Лес навис в свинцовых пасмах,
Сед и пасмурен репейник,
Он — в слезах, а ты прекрасна,
Вся как день, как нетерпенье!

Что он плачет, старый олух?
Иль видал каких счастливей?
Иль подсолнечники в селах
Гаснут — солнца — в пыль и ливень?

РОМАНОВА

СТЕПЬ

Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь как марина.
Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
И плавает плач комариный.

Стога с облаками построились в цепь
И гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колеблет, относит, толкает.

Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчцах волочась за чулками,
И чудно нам степью, как взморьем, брести —
Колеблет, относит, толкает.

Не стог ли в тумане? Кто поймет —
Не наш ли омет? Доходим. Он.
Нашли! Он самый и есть. Омет,
Туман и степь с четырех сторон.

И Млечный Путь стороной ведет
На Керчь, как шлях, скотом пропылен.
Зайти за хаты, и дух займет:
Открыт, открыт с четырех сторон.

Туман снотворен, ковыль как мед.
Ковыль всем Млечным Путем рассорён.
Туман разойдется, и ночь обоймет
Омет и степь с четырех сторон.

Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

Когда еще звезды так низко росли
И полночь в бурьян окунало,

Пылал и пугался намокший муслин,
Льнул, жался и жаждал финала?

Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит,
Когда, когда не: — В Начале
Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,
Волцы по Чулкам Торчали?

Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь как до грехопаденья:
Вся — миром объята, вся — как парашют,
Вся — дыбящееся виденье!

ДУШНАЯ НОЧЬ

Накрапывало, — но не гнулись
И травы в грозовом мешке,
Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
Железо в тихом порошке.

Селенье не ждало целенья,
Был мак, как обморок, глубок,
И рожь горела в воспаленьи,
И в лихорадке бредил бог.

В осиротелой и бессонной,
Сырой, всемирной широте
С постов спасались бегством стоны,
Но вихрь, зарывшись, коротел.

За ними в бегстве слепли следом
Косые капли. У плетня
Меж мокрых веток с ветром бледным
Шел спор. Я замер. Про меня!

Я чувствовал, он будет вечен,
Ужасный, говорящий сад.
Еще я с улицы за речью
Кустов и ставней — не замечен,

Заметят — некуда назад:
Навек, навек заговорят.

ЕЩЕ БОЛЕЕ ДУШНЫЙ РАССВЕТ

Всё утро голубь ворковал
У вас в окне.
На желобах,
Как рукава сырых рубах,
Мертвели ветки.
Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Баюча.
Я умолял их перестать.
Казалось — перестанут.

Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.

Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз
И песни колотой куски,
Жар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лед,
На подзеркальник льет.
Но высь за говором под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошенной тишине,
Намокшей, как шинель,
Как пыльный отзвук молотьбы,
Как громкий спор в кустах.

Я их просил —
Не мучьте!
Не спится.
Но — моросило, и, топчась,
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру,
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип,
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».

ПОПЫТКА ДУШУ РАЗЛУЧИТЬ

МУЧКАП

Душа — душна, и даль табачного
Какого-то, как мысли, цвета.
У мельниц — вид села рыбацкого:
Седые сети и корветы.

Крылатою стоянкой парусной
Застыли мельницы в селеньи,
И всё полно тоскою яростной
Отчаянья и нетерпенья.

Ах, там и час скользит, как камешек
Заливом, мелью рикошета!
Увы, не тонет, нет, он там еще,
Табачного, как мысли, цвета.

Увижу нынче ли опять ее?
До поезда ведь час. Конечно!
Но этот час объят апатией
Морской, предгромовой, кромешной.

МУХИ МУЧКАПСКОЙ ЧАЙНОЙ

Если бровь резьбою
Потный лоб украсила,
Значит, и разбойник?
Значит, за дверь засветло?

Но в чайной, где черные вишни
Глядят из глазниц и из мисок
На веток кудрявый девичник,
Есть, есть чему изумиться!

Солнце, словно кровь с ножа,
Смыл — и стал необычаен.
Словно преступленья жар
Заливает черным чаем.

Пыльный мак паршивым пащенком
Никнет в жажде берегущей
К дню, в душе его кипящему,
К дикой, терпкой божьей гуще.

Ты зовешь меня святым,
Я тебе и дик и чуден, —
А глыбастые цветы
На часах и на посуде?

Неизвестно, на какой
Из страниц земного шара
Отпечатаны рекой
Зной и тьяканье овчарок,

Дуб и вывески финифть,
Не стерпевшая и пла́шмя
Кинувшаяся от ив
К прудовой курчавой яшме.

Но текут и по ночам
Мухи с дюжин, пар и порций,

С крученого паныча,
С мутной книжки стихотворца.

Будто это бред с пера,
Не владеячи собою,
Брызнул окна запирать
Саранчою по обоям.

Будто в этот час пора
Разлететься всем пружинам,
И, жужжа, трясясь, спираль
Тополь бурей окружила.

Где? В каких местах? В каком
Дико мыслящемся крае?
Знаю только: в сушь и в гром,
Пред грозой, в июле, — знаю.

* * *

Дик прием был, дик приход,
Еле ноги доволок.
Как воды набрала в рот,
Взор уперла в потолок.

Ты молчала. Ни за кем
Не рвался с такой тугой.
Если губы на замке,
Вешай с улицы другой.

Нет, не на дверь, не в пробой,
Если на сердце запрет,
Но на весь одной тобой
Немутимо белый свет.

Чтобы знал, как балки брус
По-над лбом проволоку,
Что в глаза твои упрись,
В непрорубную тоску.

Чтоб бежал с землей знакомств,
Видев издали, с пути,
Гарь на солнце под замком,
Гниль на веснах взаперти.

Не вводи души в обман,
Оглуши, завесь, забей.
Пропитала, как туман,
Грудю белых отрубей.

Если душным полднем желт
Мышью пахнувший овин,
Обличи, скажи, что лжет
Лжесвидетельство любви.

* * *

Попытка душу разлучить
С тобой, как жалоба смычка,
Еще мучительно звучит
В названьях Ржакса и Мучкап.

Я их, как будто это ты,
Как будто это ты сама,
Люблю всей силою тщеты,
До помрачения ума.

Как ночь, уставшую сиять,
Как то, что в астме — кисея,
Как то, что даже антресоль
При виде плеч твоих трясло.

Чей шепот реял на брезгу?
О, мой ли? Нет, душою — твой,
Он улетучивался с губ
Воздушной капли спиртовой.

Как в неге прояснялась мысль!
Безукоризненно. Как стон.
Как пеной, в полночь, с трех сторон
Внезапно озаренный мыс.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

* * *

Как усыпительна жизнь!
Как откровенья бессонны!
Можно ль тоску размозжить
Об мостовые кессоны?

Где с железа ночь согнал
Каплей копленный сигнал
И колеблет всхлипы звезд
В Апока́липисе мост,
Переплет, цепной обвал
Балок, ребер, рельс и шпал.

Где, шатаясь, подают
Руки, падают, поют.
Из объятий, и — опять,
Не устанут повторять.

Где внезапно зонд вонзил
В лица вспыхнувший бензин
И остался, как загар,
На тупых концах сигар. . .

Это огненный тюльпан,
Полевой огонь бегоний
Жадно нюхает толпа,
Заслонив ладонью.

И сгорают, как в стыде,
Пыльники, нежнее лент,
Каждый пятый — инженер
И студент (интеллигенты).

Я с ними не знаком.
Я послан богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

Под Киевом — пески
И выплеснутый чай,
Присохший к жарким лбам,
Пылающим по классам.
Под Киевом, в числе
Песков, как кипятков,
Как смытый пресный след
Компресса, как отек. . .
Пыхтенье, сажу, жар
Не соснам разжигать.
Гроза торчит в бору,
Как всаженный топор.
Но где он, дроворуб?
До коих пор? Какой
Тропой идти в депо?

Сажают пассажиров,
Дают звонок, свистят,
Чтоб копоть послужила
Пустыней миг спустя.

Базары, озаренья
Ночных эспри и мглы,
А днем в сухой спиреи
Вопль полдня и пилы.

Идешь, и с запасных
Доносится как всхнык,
И начали стираться
Клохтанья и матрацы.

Я с ними не знаком:
Я послан богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

«Мой сорт», кефир, менадо.
Чтоб разрыдаться, мне
Не так уж много надо, —
Довольно мух в окне.

Охлынет поле зренья,
С салфетки набежит,
От поросенка в хрене,
Как с полусонной ржи.

Чтоб разрыдаться, мне
По край, чтоб из редакций
Тянуло табачком
И падал жар ничком.

Чтоб шелкали с кольца
Клесты по канцеляриям
И тучи в огурцах
С отчаянья стрелялись.

Чтоб полдень осязал
Сквозь сон: в обед трясутся
По зову квизисан
Столы в пустых присутствиях.

И на лоб по жаре
Сонидись сквозь малинник,

Где — блеск оранжерей,
Где — белый корпус клиники.

Я с ними не знаком.
Я послан богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

Возможно ль? Этот полдень
Сейчас, южней губернией,
Не сир, не бос, не голоден,
Блаженствует, соперник?

Вот этот душный, лишний,
Вокзальный вор, валанда,ла,
Следит с соседских вишен
За вышиваньем ангела?

Синеет морем точек
И, низясь, тень без косточек
Бросает, горсть за горстью,
Измученной сорочке?

Возможно ль? Те вот ивы —
Их гонят с рельс шлагбаумами —
Бегут в объятья дива,
Обращены на взбалмошность?

Перенесутся за ночь,
С крыльца вдохнут эссенции
И бросятся хозяйничать
Порывом полотенец?

Увидят тень орешника
На каменном фундаменте?
Узнают день, сгоревший
С восхода на свиданьи?

Зачем тоску упрямить,
Перебирая мелочи?
Нам изменяет память,
И гонит с рельсов стрелочник.

У СЕБЯ ДОМА

Жар на семи холмах,
Голуби в тлелом сенце.
С солнца спадает чалма:
Время менять полотенце
(Мокнет на днище ведра)
И намотать на купол.

В городе — говор мембран,
Шарканье клумб и кукол.

Надо гардину зашить:
Ходит, шагает масоном.
Как усыпительно — жить!
Как целоваться — бессонно!

Грязный, гремучий, в постель
Падает город с дороги.

Нынче за долгую степь
Веет впервые здоровьем.
Черных имен духоты
Не исчерпать.
Звезды, плацкарты, мосты,
Спать!

Е Л Е Н Е

ЕЛЕНЕ

Я и непечатным
Словом не побрезговал бы,
Да на ком искать нам?
Не на ком и не с кого нам.

Разве просит арум
У болота милостыни?
Ночи дышат даром
Тропиками гнилостными.

Будешь — думал, чаял —
Ты с того утра виднеться,
Век в душе качаясь
Лилиею, праведница!

Луг дружил с замашкой
Фауста, что ли, Гамлета ли,

Обегал ромашкой,
Стебли по ногам летали.

Или еле-еле,
Как сквозь сон, овеивая
Жемчуг ожерелья
На плече Офелиином.

Ночью бредил хутор;
Спать мешали перистые
Тучи. Дождик кутал
Ниву тихой переступью

Осторожных капель.
Юность в счастье плавала, как
В тихом детском храпе
Наспанная наволока.

Думал, — Трои б век ей,
Горьких губ изгиб целуя:
Были дивны веки
Царственные, гипсовые.

Милый, мертвый фартук
И висок пульсирующий.
Спи, царица Спарты,
Рано еще, сыро еще.

Горе не на шутку
Разыгралось, навеселе.
Одному с ним жутко.
Сбесится — управиться ли?

Плачь, шепнуло. Гложет?
Жжет? Таковую ж на щеку ей!
Пусть судьба положит —
Матерью ли, мачехой ли.

КАК У НИХ

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Подыметса, шелохнется ли сом —
Оглушены. Не слышат. Далеки.

Очам в снопах, как кровлям, тяжело.
Как угли, блещут оба очага.
Лицо лазури пышет над челом
Недышащей подруги в бочагах,
Недышащей питомицы осок.

То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,
То, княженикой с топи угощен,
Ползет и губы пачкает хвощом,
И треплет речку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в ростнике.

У окуня ли ёкнут плавники, —
Бездонный день — огромен и пунцов.
Поднос Шелони — черен и свинцов.
Не свесть концов и не поднять руки...

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.

ЛЕТО

Тянулось в жажде к хоботкам
И бабочкам и пятнам,
Обоим память оботкав
Медовым, майным, мятным.

Не ход часов, но звон цепов
С восхода до захода
Вонзался в воздух сном шипов,
Заворожив погоду.

Бывало — нагулявшись всласть,
Закат сдавал цикадам
И звездам и деревьям власть
Над кухнею и садом.

Не тени — балки месяц клал,
А то бывал в отлучке,
И тихо, тихо ночь текла
Трусцой, от тучки к тучке.

Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.

Так пахла пыль. Так пах бурьян.
И, если разобраться,
Так пахли прописи дворян
О равенстве и братстве.

Вводили земство в волостях,
С другими — вы, не так ли?
Дни висли, в кислице блестя,
И винной пробкой пахли.

ГРОЗА МОМЕНТАЛЬНАЯ НАВЕК

А затем прощалось лето
С полустанком. Снявши шапку,
Сто слепящих фотографий
Ночью снял на память гром.

Меркла кисть сирени. В это
Время он, нарвав охапку
Молний, с поля ими трафил
Озарить управский дом.

И когда по кровле зданья
Разлилась волна злорадства
И, как уголь по рисунку,
Грянул ливень всем плетнем,

Стал мигать обвал сознания:
Вот, казалось, озарятся
Даже те углы рассудка,
Где теперь светло, как днем.

ПОСЛЕСЛОВЬЕ

* * *

Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.

Глаза ему тонны туманов слезят.
Он заслан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает — нельзя:
Прошли времена — и безграмотно.

Он видит, как свадьбы справляют вокруг,
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эти икру
Зовут, обрядив ее, — паюсной.

Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою.
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,

Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.

И таянье Андов воьет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством

Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим бляньем тычется.

И всем, чем дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнёт по тифозной тоске тюфяка,
И хаосом зарослей брызнется.

* * *

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
Чтоб жглась юридиково речь?

Давай ронять слова,
Как сад — янтарь и cedру:
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.

Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызгнута листва.

Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.

Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,

Рядном сквозных, красивых,
Трепещущих курсивов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку

Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебастра?

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
Чтоб мелкий лист раки
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, — подробна.

ИМЕЛОСЬ

Засим, имелся сеновал
И пахнул винной пробкой
С тех дней, что август миновал
И не пололи тропки.

В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захладелости на вкус
Напомяная рислинг.

Сентябрь составлял статью
В извозчиьем хозяйстве,
Летал, носил и по чутью
Предупреждал ненастье.

То, застя двор, водой с винцом
Желтил песок и лужи,
То с неба спринцевал свинцом
Оконниц полукружья.

То золотил их, залетев
С куста за хлев, к крестьянам,
То к нашему стеклу с дерев
Пожаром листьев прянув.

Есть марки счастья. Есть слова
Vin gai, vin triste,¹ — но верь мне,

¹ Вино веселья, вино грусти (франц.). — *Ред.*

Что кислица — травой трава,
А рислинг — пыльный термин.

Имелась ночь. Имелось губ
Дрожание. На веках висли
Брильянты, хмурясь. Дождь в мозгу
Шумел, не отдаваясь мыслью.

Казалось, не люблю, — молюсь
И не целую, — мимо
Не век, не час плывет моллюск,
Свеченьем счастья тмимый.

Как музыка: века в слезах,
А песнь не смеет плакать,
Тряслась, не прерываясь в ах! —
Коралловая мякоть.

* * *

Любить — идти, — не смолкнул гром,
Топтать тоску, не зная ботинок,
Пугать ежей, платить добром
За зло брусники с паутиной.

Пить с веток, бьющих по лицу,
Лазурь с отскоку полосую:
«Так это эхо?» — и к концу
С дороги сбиться в поцелуях.

Как с маршем, бресть с репьем на всём.
К закату знать, что солнце старше
Тех звезд и тех телег с овсом,
Той Маргариты и корчмарши.

Терять язык, абонемент
На бурю слез в глазах валькирий,
И, в жар всем небом онемев,
Топить мачтовый лес в эфире.

Разлегшись, сгресть, в шипах, клочьями
Событья лет, как шишки ели:
Шоссе; сошествие Корчмы;
Светало; зябли; рыбу ели.

И, раз сваясь, запеть: «Седой,
Я шел и пал без сил. Когда-то
Давился город лебедой,
Купавшейся в слезах солдаток.

В тени безлунных длинных риг,
В огнях баклаг и бакалеен,
Наверное, и он — старик
И тоже следом околеет».

Так пел я, пел и умирал.
И умирал и возвращался
К ее рукам, как бумеранг,
И — сколько помнится — прощался.

ПОСЛЕСЛОВЬЕ

Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.

Это вечер из пыли ленился и, пышучи,
Целовал вас, задохшись в охре, пыльцой.
Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, плывя по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.

Это — круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком
заляпанных,
Сургучом опечатало грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.

Это ваши ресницы слипались от яркости,
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
Это — запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это — вы, это ваша краса.

КОНЕЦ

Наяву ли всё? Время ли разгуливать?
Лучше вечно спать, спать, спать, спать
И не видеть снов.

Снова — улица. Снова — полог тюлевый,
Снова, что ни ночь, — степь, стог, стон
И теперь и впредь.

Листьям в августе, с астмой в каждом атоме,
Снится тишь и темь. Вдруг бег пса
Пробуждает сад.

Ждет — улягутся. Вдруг — гигант из затеми,
И другой. Шаги. «Тут есть болт».
Свист и зов: «Тубо!»

Он буквально ведь обливал, обваливал
Нашим шагом шлях! Он и тын
Истязал тобой.

Осень. Изжелта-сизый бисер нижется,
Ах, как и тебе, прель, мне смерть
Как приелось жить!

О, не вовремя ночь кадит маневрами
Паровозов; в дождь каждый лист
Рвется в степь, как те.

Окна сцены мне делают. Бесцельно ведь!
Рвется с петель дверь, целовав
Лед ее локтей.

Познакомь меня с кем-нибудь из вскормленных,
Как они, страдой южных нив,
Пустырей и ржи.

Но с оскоминой, но с оцепенением, с комьями
В горле, но с тоской стольких слов
Устаешь дружить!

Из книги «Темы и вариации»
1916—1922

(ЧЕТЫРЕ ПОВЕСТИ)

ВСТРЕЧА

Вода рвалась из труб, из луночек,
Из луж, с заборов, с ветра, с кровель
С шестого часа пополуночи,
С четвертого и со второго.

На тротуарах было скользко,
И ветер воду рвал, как вретисце,
И можно было до Подольска
Добраться, никого не встретивши.

В шестом часу, куском ландшафта
С внезапно подсыревшей лестницы.
Как рухнет в воду да как треснется
Усталое: «Итак, до завтра!»

Автоматического блока
Терзанья дальше начинались,
Где в предвкушеньи водостоков
Восток шаманил машинально.

Дремала даль, рядясь неряшливо
Над ледяной окрошкой в иней,
И вскрикивала и покашливала
За пьяной мартовской ботвиньей.

И мартовская ночь и автор
Шли рядом, и обоих спорящих
Холодная рука ландшафта
Вела домой, вела со сборища.

И мартовская ночь и автор
Шли шибко, вглядываясь изредка
В мелькавшего как бы взаправду
И вдруг скрывавшегося призрака.

То был рассвет. И амфитеатром,
Явившимся на зов предвестницы,
Неслось к обоим это завтра,
Произнесенное на лестнице.

Оно с багетом шло, как рамошник.
Деревья, здания и храмы
Нездешними казались, тамошними,
В провале недоступной рамы.

Они трехъярусным гекзаметром
Смещались вправо по квадрату.
Смещенных выносили замертво,
Никто не замечал утраты.

1922

МАРГАРИТА

Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.

Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел.
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту
Подступал. Оставался висеть на косе.

И когда, изумленной рукой проводя
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя
Повалилась без сил амазонка в бору.

И затылок с рукою в руке у него,
А другую назад заломила, где лег,
Где застрял, где повис ее шлем теневой,
Разрывая кусты на себе, как силок.

1919

МЕФИСТОФЕЛЬ

Из массы пыли за заставы
По воскресеньям высыпали,
Меж тем как, дома не застав их,
Ломились ливни в окна спален.

Велось у всех, чтоб за обедом
Хотя б на третье дождь был подан,
Меж тем как вихрь — велосипедом
Летал по комнатным комодам.

Меж тем как там до потолков их
Взлетали шелковые шторы,
Расталкивали бестолковых
Пруды, природа и просторы.

Длиннейшим поездом линеек
Позднее стягивались к валу,
Где тень, пугавшая коней их,
Ежевечерне оживала.

В чулках как кровь, при паре бантов,
По залитой зарей дороге,
Упав как лямки с барабана,
Пылили дьяволы ноги.

Казалось, захлестав из низкой
Листвы струей высокомерья,
Снесла б весь мир надменность диска
И терпит только эти перья.

Считая ехавших, как вехи,
Едва прикладываясь к шляпе,
Он шел, откидываясь в смехе,
Шагал, приятеля облапя.

ШЕКСПИР

Извозничий двор и встающий из вод
В уступах — преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков, и простуженный звон
Вестминстера — глыбы, закутанной в траур.

И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
Как Лондон холодных, как поступь неровных.

Спиралью мешкотно падает снег.
Уже заперали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне
Валить, засыпая уснувшую пустошь.

Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях. — «Смотря по погоде.
А впрочем... А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем — на бочку! Цирюльник, воды!»

И, бреясь, гогочет, держась за бока,
Словам остряка, не уставшего с пира
Цедить сквозь приросший мундштук чубука
Убийственный вздор.

А меж тем у Шекспира
Остриль пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,

За дальним столом, где подкисший ранет
Ныряет, обнявшись с клешнею омара,
Совет говорит ему:

«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте,
Чем люди, — короче, что я обдаю
Огнем, как, на нюх мой, зловоньем ваш
кнастер?»

Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но, сэр, но, милорд, мы —
в трактире.
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!

Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов —
И вы с ним в бильярдной, и там — не пойму,
Чем вам не успех популярность в бильярдной?»

— Ему?! Ты сбесился? — И кличет слугу,
И, нервно играя малаговой веткой,
Считает: полпинты, французский рагу, —
И в дверь, запустя в привиденье салфеткой.

ТЕМА С ВАРИАЦИЯМИ

...Вы не видали их,
Египта древнего живущих изваяний,
С очами тихими, недвижимых и немых,
С челом, сияющим от царственных венчаний.
Но вы не зрели их, не видели меж нами
И теми сфинксами таинственную связь.

Ап. Григорьев

ТЕМА

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
Скала и — Пушкин. Тот, кто и сейчас,
Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
Не нашу дичь: не домыслы в тупик
Поставленного грека, не загадку,
Но предка: плоскогубого хамита,
Как оспу, перенесшего пески,
Изрытого, как оспою, пустыней,
И больше ничего. Скала и шторм.

В осатаненьи льющееся пиво
С усев обрывов, мысов, скал и кос,
Мелей и миль. И гул и полыханье
Окаченной луной, как из лохани,
Пучины. Шум и чад и шторм взасос.
Светло как днем. Их озаряет пена.
От этой точки глаз нельзя отвлечь.

Прибой на сфинкса не жалеет свеч
И заменяет свежими мгновенно.
Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
На сфинксовых губах — соленый вкус
Туманностей. Песок кругом заляпан
Сырыми поцелуями медуз.

Он чешуи не знает на сиренах,
И может ли поверить в рыбий хвост
Тот, кто хоть раз с их чашечек коленных
Пил бившийся, как об лед, отблеск звезд?

Скала и шторм и — скрытый ото всех
Нескромных — самый странный, самый
Играющий с эпохи Псамметиха
Углами скул пустыни детский смех. . .

тихий,

ВАРИАЦИИ

1. ОРИГИНАЛЬНАЯ

Над шабашем скал, к которым
Сбегаются с пеной у рта,
Чадя, трапезундские штормы,
Когда якорям, и портам,

И выбросам волн, и разбухшим
Утопленникам, и седым
Мосткам набивается в уши
Клокастый и пильзенский дым.

Где ввысь от утеса подброшен
Фонтан, и кого-то позвать
Срываются гребни, но — тошно
И страшно, и — рвется фосфат.

Где белое бешенство петель,
Где грохот разостланных гроз,
Как пиво, как жеваный бетель,
Песок осушает взасос.

Что было наследием кафров?
Что дал царскосельский лицей?
Два бога прощались до завтра,
Два моря менялись в лице:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха.
Два дня в двух мирах, два ландшафта,
Две древние драмы с двух сцен.

2. ПОДРАЖАТЕЛЬНАЯ

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.
Был бешен шквал. Песком сгущенный,
Кровавился багровый вал.
Такой же гнев обуревал
Его, и, чем-то возмущенный,
Он злобу на себе срывал.

В его устах звучало «завтра»,
Как на устах иных «вчера».
Еще не бывших дней жара

Воображалась в мыслях кафру,
Еще не выпавший туман
Густые целовал ресницы.
Он окунал в него страницы
Своей мечты. Его роман
Вставал из мглы, которой климат
Не в силах дать, которой зной
Прогнать не может никакой,
Которой ветры не подымут
И не рассеют никогда
Ни утро мая, ни страда.
Был дик открывшийся с обрыва
Бескрайный вид. Где огибал
Купальню гребень белогривый,
Где смерч на воле погибал,
В последний миг еще качаясь,
Трубя и в отклике отчаясь,
Борясь, чтоб захлебнуться вмиг
И сгнуться вовсе с глаз. Был дик
Открывшийся с обрыва сектор
Земного шара, и дика
Необоримая рука,
Пролившая соленый нектар
В пространство слепнувших снастей,
На протяженье дней и дней,
В сырые сумерки крушений,
На милость черных вечеров. . .
На редкость дик, на восхищенье
Был вольный этот вид суров.

Он стал спускаться. Дикий чашник
Гремел ковшом, и через край

Бежала пена. Молочай,
Полынь и дрок за набалдашник
Цеплялись, затрудняя шаг,
И вихрь степной свистел в ушах.
И вот уж бережок, пузырясь,
Заколыхал камыш и ирис,
И набежала рябь с концов.
Но неподернут и свинцов
Посередине мрак лиловый.
А рябь! Как будто рыболова
Свинцовый грузик заскользил,
Осунулся и лег на ил
С непереимчивой ужимкой,
С какою пальцу самолов
Умеет намекнуть без слов:
Вода, мол, вот и вся поимка.
Он сел на камень. Ни одна
Черта не выдала волненья,
С каким он погрузился в чтение
Евангеля морского дна.
Последней раковине дóрог
Сердечный шелест, капля сна,
Которой мука солона,
Ее сковавшая. Из створок
Не вызвать и клинком ножа
Того, чем боль любви свежа.
Того счастливейшего всхлипа,
Что хлынул вон и создал риф,
Кораллам губы обагрив,
И замер на устах полипа.

3

Мчались звезды. В море мылись мысы.
 Слепла соль. И слезы высыхали.
 Были темны спальни. Мчались мысли,
 И прислушивался сфинкс к Сахаре.

Плыли свечи. И, казалось, стынет
 Кровь колосса. Заплывали губы
 Голубой улыбкою пустыни.
 В час отлива ночь пошла на убыль.

Море тронул ветерок с Марокко.
 Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
 Плыли свечи. Черновик «Пророка»
 Просыхал, и брезжил день на Ганге.

4

Облако. Звезды. И сбоку —
 Шлях и — Алеко. Глубок
 Месяц Земфирина ока:
 Жаркий бездонный белок.

Задраны к небу оглобли.
 Лбы голубее олив.
 Табор глядит исподлобья,
 В звезды мониста вперив.

Это ведь кровли Халдеи
 Напоминает! Печет,
 Лунно; а кровь холодеет.
 Ревность? Но ревность не в счет!

Стой! Ты похож на сирийца.
Сух, как скопец-звездочет.
Мысль озарилась убийством.
Мщенье? Но мщенье не в счет!

Тень, как навязчивый евнух.
Табор покрыло плечо.
Яд? Но по кодексу гневных
Самоубийство не в счет!

Прянул, и пыхнули ноздри.
Не уходился еще?
Тише, скакун, — заподозрят.
Бегство? Но бегство не в счет!

5

Цыганских красок достигал,
Болезнь цингой и тайн не делал
Из черных дырок тростника
В краю воров и виноделов.

Забором крался конокрад,
Загаром крылся виноград,
Клевали кисти воробьи,
Кивали безрукавки чучел,
Но, шорох гроздий перебив,
Какой-то рокот мёр и мучил.

Там мрело море. Берега
Гремели, осыпался гравий.

Тошнило гребни изрыгать,
Барашки грязные играли.

И шквал за Шабо бушевал
И выворачивал причалы.
В рассоле крепла бечева,
И шторма тошнота крепчала.

Раскатывался балкой гул,
Как баней шваркнутая шайка,
Как будто говорил Кагул
В ночах с очаковскою чайкой.

6

В степи охладевал закат,
И вслушивался в звон уздечек,
В акцент звонков и языка
Мечтательный, как ночь, кузнечик.

И степь порою спрохвала
Волок, как цепь, как что-то третье,
Как выпавшие удила,
Стреноженный и сонный ветер.

Истлела тряпок пестрота,
И, захладев, как медь безмена,
Завел глаза, чтоб стрекотать,
И засинел, уже безмерный,
Уже, как песнь, безбрежный юг,
Чтоб перед этой песнью дух

Невесть каких ночей, невесть
Каких стоянок перевесть.

Мгновенье длился этот миг,
Но он и вечность бы затмил.

1918

БОЛЕЗНЬ

1

Больной следит. Шесть дней подряд
Смерчи беснуются без усталы.
По кровле катятся, бодрят,
Бушуют, падают в бесчувствии.

Средь вьюг проходит Рождество.
Он видит сон: пришли и подняли.
Он вскакивает. Не его ль?
(Был зов. Был звон. Не новогодний ли?)

Вдали, в Кремле гудит Иван,
Плывет, ныряет, зарывается.
Он спит. Пурга, как океан
В величьи, — тихой называется.

С полу, звездами облитого,
К месяцу вдоль по ограде
Тянется волос ракитовый,
Дыбятся клочья и пряди.

Жутко ведь, вея, окутывать
Дымами Кассиопею!
Наутро куколкой тутовой
Церковь свернуться успеет.

Что это? Лавры ли Киева
Спят купола, или Эдду
Север взлелеял и выявил
Перлом предвечного бреда?

Так это было. Тогда-то я,
Дикий, скользящий, растущий,
Встал среди сада рогатого
Призраком тени пастушьей.

Был он как лось. До колен ему
Снег доходил, и сквозь ветви
Виделась взору оленьему
На полночь легшая четверть.

Замер загадкой, как вкопанный,
Глядя на поле лепное:
В звездную стужу, как сноп, оно
Белой плескало копною.

До снегу гнулся. Подхватывал
С полу, всей мукой извилин,
Звезды и ночь. У сохатого
Хаос веков был не спилен.

3

ФУФАЙКА БОЛЬНОГО

От тела отдельную жизнь, и длинней,
Ведет, как к груди непричастный пингвин,
Бескрылая кофта больного — фланель:
То каплю тепла ей, то лампу придвинь.

Ей помнятся лыжи. От дуг и от тел,
Терявшихся в мраке, от сбруи, от бар
Валило! Казалось — сочельник потел!
Скрипели, дышали езда и ходьба.

Усадьба и ужас, пустой в остальном:
Шкафы с хрусталем, и ковры, и лари.
Забор привлекало, что дом воспален.
Снаружи казалось, у люстр плеврит.

Снедаемый небом, с зимою в очах,
Распухший кустарник был бел, как испуг.
Из кухни, за сани, пылавший очаг
Клал на снег огромные руки стряпух.

КРЕМЛЬ В БУРАН КОНЦА 1918 ГОДА

Как брошенный с пути снегам
Последней станцией в развалинах,
Как полем в полночь, в свист и гам,
Бредущий через силу в валяных,

Как пред концом в упадке сил
С тоски взывающий к метелице,
Чтоб вихрь души не угасил,
К поро, как тьмою всё застелется.

Как схваченный за обшлага
Хохочущую вьюгой нарочный,
Ловящий кисти башлыка,
Здоровоющеюся в наручных.

А иногда! — А иногда
Как пригнанный канатом накороть
Корабль, с гуденьем прочь к грядам
Срывающийся чудом с якоря.

Последней ночью, несравним
Ни с чем, какой-то странный, пенный весь,
Он, Кремль, в оснастке стольких зим,
На нынешней срывает ненависть.

И грандиозный, весь в былом,
Как визионера дивинация,
Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

Под сумерки к тебе в окно
Он всею медью звонниц ломится.
Бои́тся, видно, — год мелькнет, —
Упустит и не познакомится.

Остаток дней, остаток вьюг,
Сужденных башням в восемнадцатом,
Бушует, прядает вокруг,
Видать — не наигрались насыто.

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьмется сызнова воспитывать.

5

ЯНВАРЬ 1919 ГОДА

Тот год! Как часто у окна
Нашептывал мне, старый: «Выкинься».
А этот, новый, всё прогнал
Рождественскою сказкой Диккенса.

Вот шепчет мне: «Забудь, встряхнись!»
И с солнцем в градуснике тянется
Точь-в-точь, как тот дарил стрихнин
И падал в пузырек с цианистым.

Его зарей, его рукой,
Ленивым веяньем волос его

Почерпнут за окном покой
У птиц, у крыш, как у философов.

Ведь он пришел и лег лучом
С панелей, с снеговой повинности.
Он дерзок и разгорячен,
Он просит пить, шумит, не вынести.

Он вне себя. Он внес с собой
Дворовый шум, — и делать нечего:
На свете нет тоски такой,
Которой снег бы не вылечивал.

6

Мне в сумерки ты всё — пансионеркою,
Всё — школьницей. Зима. Закат лесничим
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося,
И вот — айда! Аукаемся, кличем.

А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
Она — твой шаг, твой брак, твое замужество,
И тяжелей дознаний трибунала.

Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаей
горлинок

Летели хлопья грудью против гула?
Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо
С лотков на снег, их до панелейгнуло!

Перебегала ты! Ведь он подсовывал
Ковром под нас салазки и кристаллы!

Ведь жизнь, как кровь, до облака пунцового
Пожаром вьюги озарясь, хлестала!

Движенье помнишь? Помнишь время? Лавочниц?
Палатки? Давку? За разменом денег
Холодных, звонких, — помнишь, помнишь
давешних

Колоколов предпраздничных гуденье?

Увы, любовь! Да, это надо высказать!
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.

Мне в сумерки ты будто всё с экзамена,
Всё — с выпуска. Чиж, мигрень, учебник.
Но по ночам! Как просят пить, как пламенны
Глаза капсуль и пузырьков лечебных!

1918—1919

РАЗРЫВ

1

О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так — я не смею, но так — зуб за зуб!
О, скорбь, зараженная ложью вначале,
О, горе, о, горе в проказе!

О ангел залгавшийся, — нет, не смертельно
Страданье, что сердце что сердце в экземе!
Но что же ты душу болезнью нательной
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и, как время,
Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!

2

О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом
раннем
Разрыве столько грез, настойчивых еще!
Когда бы, человек, — я был пустым собраньем
Висков, и губ, и глаз, ладоней, плеч и щек!
Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое!

3

От тебя все мысли отвлеку
Не в гостях, не за вином, так на небе.
У хозяев, рядом, по звонку
Отопрут кому-нибудь когда-нибудь.

Вырвусь к ним, к бряцанью декабря.
Только дверь — и вот я! Коридор один.
«Вы оттуда? Что там говорят?
Что слышать? Какие сплетни в городе?»

Голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот
в Калидоне,
Где, как лань, обеспамятев, гнал Аталанту
к поляне Актей,
Где любили бездонной лазурью, свистевшей
в ушах лошадей,
Целовались залиvistым лаем погони
И ласкались раскатами рога и треском деревьев,
копыт и когтей.
— О, на волю! На волю — как те!

6

Разочаровалась? Ты думала — в мире нам
Расстаться за реквиемом лебединым?
В расчете на горе, зрачками расширенными,
В слезах, примеряла их непобедимость?

На мессе б со сводов посыпалась стенопись,
Потряшись игрой на губах Себастьяна.
Но с нынешней ночи во всем моя ненависть
Растянutosть видит, и жаль, что хлыста нет.

Впотьмах, моментально опомнясь,
без медлящего
Раздумья, решила, что всё перепашет.
Что — время. Что самоубийство ей не для чего.
Что даже и это есть шаг черепаший.

(Сейчас там ночь.) За душный твой затылок.
(И спать легли.) Под царства плеч твоих.
(И тушат свет.) Я б утром возвратил их.
Крыльцо б коснулось сонной ветвью их.

Не хлопьями! Руками крой! — Достанет!
О, десять пальцев муки, с бороздой
Крещенских звезд, как знаков опоздания
В пургу на север шедших поездов!

9

Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: — Милый! — Нет, —
вскричу я, — нет!
При музыке?! — Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! — ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно — что жилы отворить.

1918

Я ИХ МОГ ПОЗАБЫТЬ

1

КЛЕВЕТНИКАМ

О, детство! Ковш душевной глубини!
О, всех лесов абориген,
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент!

Что слез по стеклам усыхало!
Что сохло ос и чайных роз!
Как часто угасавший хаос
Багровым папоротником рос!

Что вдавленных сухих костяшек,
Помешанных клавиатур,
Бродячих, черных и грустящих,
Готовят месть за клевету!

Правдоподобье бед клеветает,
Соседство богачей,
Хозяйство за дверьми клеветает,
Веселый звон ключей.

Рукопожатье лжи клеветает,
Манишек аромат,
Изыщество дареной вещи,
Клеветает хиромант.

Ничтожность возрастов клеветет.
О юные, — а нас?
О левые, — а нас, левейших, —
Румянясь и юнясь?

О солнце, слышишь? «Выручь денег».
Сосна, нам снится? «Напрягись».
О жизнь, нам имя вырожденье,
Тебе и смыслу вопреки.

Дункан седых догадок — помощь!
О смута сонмищ в отпусках,
О боже, боже, может, вспомнишь,
Почем нас людям отпускал?

1917

2

Я их мог позабыть? Про родню,
Про моря? Приласкаться к плацкарте?
И за оргию чувств — в западню?
С ураганом — к ордалиям партий?

За окошко, в купе, к погребцу?
Где-то слезть? Что-то снять? Поселиться?
Я горжусь этой мукой. Рубцуй!
По когтям узнаю тебя, львица.

Про родню, про моря. Про абсурд
Прозябанья, подобного каре.
Так не мстят каторжанам. Рубцуй!
О, не вы, это я — пролетарий!

Это правда. Я пал. О, секи!
Я упал в самомнении зверя.
Я унизил себя до неверья.
Я унизил тебя до тоски.

1921

3

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут — а слова
Являются о третьем годе.

Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать — не мать,
Что ты — не ты, что дом — чужбина.

Что делать страшной красоте
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,
Когда он — Фауст, когда — фантаст?
Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься,
Грозят заре твоим зрачком.
Так затевают ссоры с солнцем.

Так начинают жить стихом.

1921

4

Нас мало. Нас, может быть, трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.

Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване,
Как тундру под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим,

И — мимо! Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы, — с момент на намете —
След ветра живет в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.

1921

Косых картин, летящих ливмя
 С шоссе, задувшего свечу,
 С крюков и стен срываться к рифме
 И падать в такт не отучу.

Что в том, что на вселенной — маска?
 Что в том, что нет таких широт,
 Которым на зиму замазкой
 Зажать не вызвались бы рот?

Но вещи рвут с себя личину,
 Теряют власть, роняют честь,
 Когда у них есть петъ причина,
 Когда для ливня повод есть.

1922

НЕСКУЧНЫЙ И САД

1

НЕСКУЧНЫЙ

Как всякий факт на всяком бланке,
 Так все дознанья хороши
 О вакханалиях изнанки
 Нескучного любой души.

Он тоже — сад. В нем тоже — скучен
 Набор уставших цвeсть пород.

Он тоже, как и сад, — Нескучен
От набережной до ворот.

И, окуная парк за старой
Беседкою в заглохший пруд,
Похож и он на тень гитары,
С которой, тешась, струны рвут.

1917

2

Достатком, а там и пирами,
И мебелью стиля жакоб
Иссушат, убьют темперамент,
Гудевший, как ветвь жуком.

Он сыплет искры с зубьев,
Когда, сгребя их в ком,
Ты бесов самолюбья
Терзаешь гребешком.

В осанке твоей: «С кой стати?» —
Любовь, а в губах у тебя
Насмешливое: «Оставьте,
Вы хуже малых ребят».

О, свежесть, о, капля смарагда
В упившихся ливнем кистях,
О, сонный начес беспорядка,
О, дивный, божий пустяк!

1917

ОРЕШНИК

Орешник тебя отрешает от дня,
И мшистые солнца ложатся с опушки
То решкой на плотное тленье пня,
То мутно-зеленым орлом на лягушку.

Кусты обгоняют тебя, и пока
С родимую чашей сроднишься с отвычки. --
Она уж безбрежна: ряды кругляка,
И роща редеет, и птичка — как гичка,
И песня — как пена, и — наперерез,
Лазурь забирая, нырком, душегубкой
И — мимо... И долго безмолвствует лес,
Следя с облаков за пронесшейся шлюпкой.

О, место свиданья малины с грозой,
Где, в тучи рогами лишайника тычась,
Горят, одуряя наш мозг молодой,
Лиловые топи угасших язычеств!

1917

В ЛЕСУ

Луга мутило жаром лиловатым,
В лесу клубился кафедральный мрак.
Что оставалось в мире целовать им?
Он весь был их, как воск на пальцах мяк.

Есть сон такой — не спишь, а только снится,
Что жаждешь сна; что дремлет человек,
Которому сквозь сон палит ресницы
Два черных солнца, бьющих из-под век.

Текли лучи. Текли жуки с отливом,
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.

Казалось, он уснул под стук цифири,
Меж тем как выше, в терпком янтаре,
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жару.

Их переводят, сотрясают иглы
И сеют тень, и мают, и сверлят
Мачтовый мрак, который ввысь воздвигло,
В истому дня, на синий циферблат.

Казалось, древность счастья облетает.
Казалось, лес закатом снов объят.
Счастливые часов не наблюдают,
Но те, вдвоем, казалось, только спят.

1917

СПАССКОЕ

Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском.
Не сегодня ли с дачи съезжать вам пора?
За плетнем перекликнулось эхо с подпаском
И в лесу различило удар топора.

Этой ночью за парком знобило трясину.
Только солнце взошло и опять — наутек.
Колокольчик не пьет костоломных росинок.
На березах несмытый лиловый отек.

Лес хандрит. И ему захотелось на отдых,
Под снега, в непробудную спячку берлог.
Да и то, меж стволов, в почерневших обводах,
Парк зияет в столбцах, как сплошной некролог.

Березняк перестал ли линять и пятнаться,
Водянистую сень потуплять и редеть?
Этот — ропщет еще, и опять вам — пятнадцать,
И опять, — о дитя, о, куда нам их деть?

Их так много уже, что не всё ж — куролесить.
Их — что птиц по кустам, что грибов за межой.
Ими свой кругозор уж случалось завесить,
Их туманом случалось застлать и чужой.

В ночь кончины от тифа сгорающий комик
Слышит гул: гомерический хохот райка.
Нынче в Спасском с дороги бревенчатый домик
Видит, галлюцинируя, та же тоска.

1918

ДА БУДЕТ

Рассвет расколыхнет свечу,
Зажжет и пустит в цель стрижа.
Напомианием влечу:
Да будет так же жизнь свежа!

Заря — как выстрел в темноту.
Бабах! — и тухнет на лету
Пожар ружейного пыжа.
Да будет так же жизнь свежа.

Еще снаружи — ветерок,
Что ночью жался к нам, дрожа.
Зарей шел дождь, и он продрог.
Да будет так же жизнь свежа.

Он поразительно смешон!
Зачем совался в сторожа?
Он видел — вход не разрешен.
Да будет так же жизнь свежа.

Повелевай, пока на взмах
Платка — пока ты госпожа,
Пока — покамест мы впотьмах,
Покамест не угас пожар.

1919

ЗИМНЕЕ УТРО

(Пять стихотворений)

Воздух седенькими складками падает.
Снег припоминает мельком, мельком:
Спатки — называлось, шепотом и патокою
День позападал за колыбельку.

Выйдешь — и мурашки разбегаются, и ежится
Кожица, бывало, — сумки, дети, —
Улица в бесшумные складки лóжится
Серой рыболовной сети.

Все, бывало, складывают: сказку о лисице,
Рыбу пошвырявшей с возу,
Дерево, сарай, и варежки, и спицы,
Зимний изумленный воздух.

А потом поздней, под чижином, пред цветиками
Не сложеньем, что ли, с воли
Дуло и мело, не ей, не арифметикой ли
Подирало столик в школе?

Зуб, бывало, ноет: мажут его, лечат его, —
В докторском глазу ж — безумье
Сумок и снежков, линованное, клетчатое,
С сонными каракулями в сумме.

Та же нынче сказка, зимняя, мурлыкина,
На бегу шурша метелью по газете,

За барашек грив и тротуаров выкинулась
Серой рыболовной сетью.

Ватная, примерзлая и байковая, фортковая,
Та же жуть берез безгнездых
Гарусную ночь чем свет за чаем свертывает,
Зимний изумленный воздух.

1918

Как не в своем рассудке,
Как дети ослушанья,
Облизываясь, сутки
Шутя мы осушали.

Иной, не отрываясь
От судорог страницы
До утренних трамваев,
Грозил заре допитьяся.

Раскидывая хлопко
Снежок, бывало, чижик
Шумит: какую пробкой
Такую рожу выжег?

И день вставал, оплеснясь
В помойной жаркой яме,
В кругах пожарных лестниц,
Ушибленный дровами.

1919

Я не знаю, что тошней:
Рушащийся лист с конюшни
Или то, что все в кашне,
Всё в снегу и всё в минувшем.

Пентюх и головотяп,
Там, меж листьев, меж домов там
Машет галкою октябрь
По каракулевым кофтам.

Треск ветвей — ни дать ни взять
Сушек с запахом рогожи.
Не растряс бы вихрь — связать,
Упадут, стуча, похоже.

Упадут в морозный прах,
Ах, похоже, спозаранок
Вихрь берется трясть впотьмах
Тминной вязкою баранок.

1919

Ну и надо ж было, тужась,
Каркнуть и взлететь в хаос,
Чтоб сложить октябрьский ужас
Парой крыльев на киоск.

И поднять содом со спилей
Над живой рекой голов,
Где и ты, вуаль зашпилив,
Шляпу шпилькой заколов,

Где и ты, моя забота,
Котик лайкой застегнув,
Темной рысью в серых ботах
Машешь муфтой в море муфт.

1919

Между прочим, все вы, чтицы,
Лгать охотницы, а лгать —
У оконницы учиться,
Вот и вся вам недолга.

Тоже блещет, как баллада,
Дивной влагой; тоже льет
Слезы; тоже мечет взгляды
Мимо, — словом, тот же лед.

Тоже, вне правдоподобья,
Ширит, рвет ее зрачок,
Птичью церковь на сугробе,
Отдаленный конский чок.

И Чайковский на афише
Патетично, как и вас,
Может потрясти, и к крыше,
В вихорь театральных касс.

1919

ВЕСНА*(Пять стихотворений)*

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
 Где даль пугается, где дом упасть боится,
 Где воздух синь, как узелок с бельем
 У выписавшегося из больницы.

Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
 Оставленный звездой без продолженья
 К недоумению тысяч шумных глаз,
 Бездонных и лишенных выраженья.

1918

Пара форточных петелек,
 Февраля отголоски.
 Пить, пока не заметили,
 Пить вискам и прическе!

Гул ворвался, как шомпол.
 О холодный, сначала бы!
 Бурный друг мой, о чем бы?
 Воздух воли и — жалобы?!

Что за смысл в этом пойле?
 Боже, кем это мелются,
 Языком ли, душой ли,
 Этот плеск, эти прелести?

Кто ты, март? Закипал же
Даже лед, и обуглятся,
Раскатясь, экипажи
По свихнувшейся улице!

Научи, как ворочать
Языком, чтоб растрогались,
Как тобой, этой ночью
Эти дрожки и щеголи.

1919

Воздух дождиком частым сечется.
Поседев, шелудивеет лед.
Ждешь: вот-вот горизонт и очнется
И — начнется. И гул пойдет.

Как всегда, расстегнув нараспашку
Пальтецо и кашне на груди,
Пред собой он погонит неспавших,
Очумелых птиц впереди.

Он зайдет и к тебе и, развинчен,
Станет свечный натек колупать,
И зевнет, и припомнит, что нынче
Можно снять с гиацинтов колпак.

И, шальной, шевелюру ероша,
В замешательстве смысл темня,
Ошарашит тебя нехорошей,
Глупой сказкой своей про меня.

1918

Закрой глаза. В наиглушайшем органе
На тридцать верст забывшихся пространств
Стоят в парах и каплют храп и хорканье,
Смех, лепет, плач, беспамятство и транс.

Им, как и мне, невмочь с весною свыкнуться,
Не в первый раз стараюсь, — не привык.
Сейчас по чашам мне и этим мыканцам
Подносит чашу дыма паровик.

Давно ль под сенью орденских капитулов,
Служивших в полном облаченьи хвой,
Мирянин-март украдкою пропитывал
Тропинки парка терпкой синевой?

Его грехи на мне под старость скажутся,
Бродивших верб откупоривши штоф,
Он уходил с утра под прутья саженцев,
В пруды с угаром тонущих кустов.

В вечерний час переставала двигаться
Жемчужных луж и речек акварель,
И у дверей показывались выходцы
Из первых игр и первых букварей.

1921

Чирикали птицы и были искренни.
Сияло солнце на лаке карет.
С точильного камня не сыпались искры,
А сыпались — гасли, в лучах сгорев.

В раскрытые окна на их рукоделье
Садилась, как голуби, облака.
Они замечали: с воды похудели
Заборы — заметно, кресты — слегка.

Чирикали птицы. Из школы на улицу,
На тумбы ложилось, хлынув волной,
Немолчное пенье и шелканье шпупек,
Мелькали косички, и цокал челнок.

Не сыпались искры, а сыпались — гасли.
Был день расточителен; над школой свежей
Неслись облака, и точильщик был счастлив,
Что столько на свете у женщин ножей.

9

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

(Пять стихотворений)

Крупный разговор. Еще не запирали,
Вдруг как: моментально вон отсюда! —
Сбитая прическа, туча препирательств
И сплошной поток шопеновских этюдов.
Вряд ли, гений, ты распределяешь кету
В белом доме против кооператива,
Что хвосты луны стоят до края света
Чередой ночных садов без перерыва.

1918

Всё утро с девяти до двух
Из сада шел томящий дух
Озона, змей и розмарина,
И олеандры разморило.

Синеет белый мезонин.
На мызе — сон, кругом — безлюдье
Седой малинник, а за ним
Лиловый грунт его прелюдий.

Кому ужонок прошипел?
Кому прощально машет розан?
Опять депешею Шопен
К балладе страждущей отозван.

Когда ее не излечить,
Всё лето будет в дифтерите.
Сейчас ли, черные ключи,
Иль позже кровь нам отворить ей?

Прикосновение руки —
И полвселенной — в изоляции,
И там плантации пылятся
И душно дышат табаки.

1918

Пианисту понятно шнырянье ветошниц
С косыми крюками обвалов в плечах.
Одно прозябанье корзины и крошни
И крышки раскрытых роялей влачат.

По стройкам таскавшись с толпою тряпичниц
И клад этот где-то на свалках сыскав,
Он вешает облако бури кирпичной,
Как робу на вешалку на лето в шкаф.

И тянется, как за походною флягой,
Военную карту грозы расстелив,
К роялю, обычно обильному влагой
Огромного душного лета столиц,

Когда, подоспевши совсем незаметно,
Сгорая от жажды, гроза четыремя
Прыжками бросается к бочкам с цементом,
Дрожащими лапами ливня гремя.

1921

Я вишу на пере у творца
Крупной каплей лилового лоска.

Под домами — загадки канав.
Шибко воздух ли соткой и коксом
По вокзалам дышал и зажегся,
Но, едва лишь зарю доконав,
Снова розова ночь, как она,
И забор поражен парадоксом.

И бормочет: прерви до утра
Этих сохлых белил колебанье.
Грунт убит и червив до нутра,
Эхо чутко, как шар в кегельбане.

Вешний ветер, шевьот и грязца,
И гвоздильных застав отголоски,
И на утренней терке торца
От зари, как от хренной полоски,
Проступают отчетливо слезки.

Я креплюсь на пере у творца
Терпкой каплей густого свинца.

1922

Пей и пиши, непрерывным патрулем
Ламп керосиновых подкарауленный
С улиц, гуляющих под руку в июле
С кружкой пива, тобою пригубленной.

Зеленоглазая жажда гигантов!
Тополь столы осыпает пикулями,
Шпанкой, шиповником — тише, не гамьте!
Шепчут и шепчут пивца загогулины.

Бурная кружка с трехгорным Рембрандтом!
Спертость предгрозя тебя не испортила.
Ночью быть буре. Виденья, обратно!
Память, труби отступленья к портерной!

Век мой безумный, когда образумлю
Темп потемнелый былого бездонного!
Глуби Мазурских озер не разуют
В сон погруженных горнистов Самсонова.

После в Москве мотоцикл тараторил,
Громкий до звезд, как второе пришествие.
Это был мор. Это был мораторий
Страшных судов, не съезжавшихся к сессии.

1922

10

ПОЭЗИЯ

Поэзия, я буду клясться
Тобой и кончу, прохрипев:
Ты не осанка сладкогласца,
Ты — лето с местом в третьем классе,
Ты — пригород, а не припев.

Ты — душная, как май, Ямская,
Шевардина ночной редут,
Где тучи стоны испускают
И врозь по роспуске идут.

И, в рельсовом витье двояся, —
Предместье, а не перепев, —
Ползут с вокзалов восвояси
Не с песней, а оторопев.

Отростки ливня грязнут в гроздьях
И долго-долго, до зари
Кропают с кровель свой акрбстих,
Пуская в рифму пузыри.

Поэзия, когда под краном
Пустой, как цинк ведра, трюизм,
То и тогда струя сохранна,
Тетрадь подставлена — струись!

1922

11

ДВА ПИСЬМА

Любимая, безотлагательно,
Не дав заре с пути рассесться,
Ответь чем свет с его подателем
О ходе твоего процесса.

И если это только мыслимо,
Поторопи зарю, а лень ей —
Воспользуйся при этом высланным
Курьером умоисступленья.

Дождь, верно, первым выйдет из лесу
И выпросит, где тор, где топко.
Другой ему вдогонку вызвался,
И это — под его диктовку.

Наверно бурю безрассудств его
Сдадут деревья в руки из рук,
Моя ж рука давно отсутствует:
Под ней жилой кирпичный призрак.

Я не бывал на тех урочищах,
Она ж ведет себя как прадед,
И, знаменьем сложась пророчащим,
Тот дом по голой кровле гладит.

1921

На днях, в тот миг, как в ворох корпии
Был дом под Костромой искромсан,
Удар того же грома копию
Мне свел с каких-то незнакомцев.

Он свел ее с их губ, с их лацканов,
С их туловищ и туалетов,
В их лицах было что-то адское,
Их цвет был светло-фиолетов.

Он свел ее с их губ и лацканов,
С их блюдечек и физиономий,
Но, сделав их на миг мулатскимн,
Не сделал ни на миг знакомей.

В ту ночь я жил в Москве и, в частности,
Не ждал известий от бесценной,
Когда порыв зарниц негаснувших
Прибил к стене мне эту сцену.

1921

ОСЕНЬ

(Пять стихотворений)

С тех дней стал над недрами парка сдвигаться
 Суровый, листву леденивший октябрь.
 Зарями ковался конец навигации,
 Спирало гортань, и ломило в локтях.

Не стало туманов. Забыли про пасмурность.
 Часами смеркалось. Сквозь все вечера
 Открылся, в жару, в лихорадке и насморке,
 Больной горизонт — и дворы озирал.

И стынула кровь. Но казалось, не стынут
 Пруды, и казалось, с последних погод
 Не движутся дни, и казалось, вынут
 Из мира прозрачный, как звук, небосвод.

И стало видать так далёко, так трудно
 Дышать, и так больно глядеть, и такой
 Покой разлился, и настолько безлюдный,
 Настолько беспмятно звонкий покой!

1916

Потели стекла двери на балкон.
 Их заслонял заметно-зимний фикус.
 Сиял графин. С недопитым глотком
 Вставали вы, веселая навывказ, —

Смеркалась даль, — спокойная на вид, —
И дуло в щели, — праведница ликом, —
И день сгорал, давно остановив
Часы и кровь, в мучительно великом

Просторе долго, без конца горев
На остриях скворешниц и дерев,
В осколках тонких ледяных пластинок,
По пустырям и на ковре в гостиной.

1916

Но и им суждено было выцвести,
И на лете — налет фиолетовый,
И у туч, громогласных до этого, —
Фистула и надтреснутый присвист.

Облака над заплаканным флоксом,
Обволакивав даль, перетрафили.
Цветники — как холодные кафли.
Город кашляет школой и коксом.

Редко брызжет восток бирюзою.
Парников изразцы, словно в заморозки,
Застывают, и ясен, как мрамор,
Воздух рощ и, как зов, беспризорен.

Я скажу до свиданья стихам, моя мания,
Я назначил вам встречу со мною в ромаше.
Как всегда, далеки от пародий,
Мы окажемся рядом в природе.

1917

Весна была просто тобой,
И лето — с грехом пополам.
Но осень, но этот позор голубой
Обоев, и войлок, и хлам!

Разбитую клячу ведут на махан,
И ноздри с коротким дыханьем
Заслушались мокрой ромашки и мха,
А то и конины в духане.

В прозрачность заплаканных дней целиком
Губами и глаз полыханьем
Впиваешься, как в помутнелый флакон
С невыдохшимися духами.

Не спорить, а спать. Не оспаривать,
А спать. Не распахивать наспех
Окна, где в беспмятных заревах
Июль, разгораясь, как яспис,
Расплавливал стекла и спаривал
Тех самых пунцовых стрекоз,
Которые нынче на брачных
Брусах — мертвей и прозрачней
Осыпавшихся папирос.

Как в сумерки сонно и зябко
Окошко! Сухой купорос.
На донышке склянки — козявка
И гильзы задохшихся ос.

Как с севера дует! Как щупло
Нахохлилась стужа! О вихрь,
Общупай все глубины и дупла,
Найди мою песню в живых!

1917

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь,
Поздно, выплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознания.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.

1918

Это черной божбою
Бьется пригород Тьмутараканью в падучей.
Это Люберцы или Любань. Это гам
Шпор, и блюдоц, и тамбурных дверец, и рам
О чугунный перрон. Это сонный разброд
Бутербродов с цикорной бурдой и ботфорт.
Это смена бригад по утрам. Это спор
Забывтья с голосами колес и рессор.
Это грохот утрат о возврат. Это звон
Перецепок у цели о весь перегон.

Ветер треплет ненастья наряд и вуаль.
Даль скользит со словами: навряд и едва ль —
От расспросов кустов, полустанков и птах,
И лопат, и крестьянок в лаптях на путях.
Воедино собираются дни сентября.
В эти дни они в сборе. Печальный обряд.
Обирают убранство. Дарят, обрыдав.
Это всех, обреченных земле, доброта.

Это горсть повестей, скопидомкой судьбой
Занесенная в поздний прибой и отбой
Подмосковных платформ. Это доски мостков
Под кленовым листом. Это шелковый скоп
Шелестящих красот и крылатых семян
Для засева прудов. Всюду рябь и туман.
Всюду скарб на возах. Всюду дождь.
Всюду скорбь.

Это — наш городской гороскоп.

Уносятся шпалы, рыдая.
Листвой оглушенною свист замутив,

Скользит, задевая парами за ивы,
Захлебывающийся локомотив.

Считайте места. Пора. Пора.
Окрестности взяты на буфера.
Окно в слезах. Огни. Глаза.
Народу! Народу! Сопят тормоза.

Где-то с шумом падает вода.
Как в платок боготворимой, где-то
Дышат ночью тучи, провода,
Дышат зданья, дышит гром и лето.

Где-то с шумом падает вода.
Где-то, где-то, раздувая ноздри,
Скачут случай, тайна и беда,
За собой погоню заподозрив.

Где-то ночь, весь ливень расструив,
На двоих наскакивает в чайной.
Где же третья? А из них троих
Больше всех она гналась за тайной.

Гроном дрожек, с аркады вокзала,
На краю заповедных рощ,
Ты развернут, роман небывалый,
Сочиненный осенью, в дождь

Фонарями, — и сказ свой ширишь
О страданице бельэтажѐй,
О любви и о жертве, сиречь
О рассроченном платеже.

Что сравнится с женскою силой?
Как она безумно смела!
Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла.

Я опасуюсь, небеса,
Как их, ведут меня к тем самым
Жилым и скользким корпусам,
Где стены — с тенью Мопассана.

Где за болтами жив Бальзак,
Где стали предсказаньем шкапа,
Годами в форточку вползав,
Гнилой декабрь и жуткий запад.

Как неудавшийся пасьянс,
Как выпад карты неминучей,
Nonny soit qui mal y pense: ¹
Нас только ангел мог измучить.

В углах улыбки, на щеке,
На прядях — алая прохлада.
Пушатся уши и жакет.
Перчатки — пара шоколадок.

В коленях — шелест тупиков,
Тех тупиков, где от проходов,
От ветра, метел и пинков
Боярышник вкушает отдых.

¹ Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает
(старофранц.). — *Ред.*

Где горизонт как рубикон,
Где сквозь агонию громленной
Рябины, в дождь, бегут бегом
Свистки, и тучи, и вагоны.

1916

БЕЛЫЕ СТИХИ

И в этот миг прошли в мозгу
Единственные, ^{все мысли} нужные. Прошли
И умерли. . .

Александр Блок

Он встал. В столовой било час. Он знал, —
Теперь конец всему. Он встал и вышел.
Шли облака. Меж строк и как-то вскользь
Стучала трость по плитам тротуара,
И где-то гроыхали дрожки. Год
Назад Бальзак был понят сединой.
Шли облака. Стучала трость. Лило.

Он мог сказать: «Я знаю, старый друг,
Как ты дошел до этого. Я знаю,
Каким ключом ты отпер эту дверь,
Как ту взломал, как глядывал сквозь эту
И подсмотрел всё то, что увидал».

Из-под ладоней мокрых облаков,
Из-под теней, из-под сырых фасадов,
Мотаясь, вырывалась в фонарях
Захватанная мартом мостовая.

«И даже с чьим ты адресом в руках
Стирал ступени лестниц, мне известно». —
Блистают бляхи спавших сторожей,
И ветер гнал ботву по рельсам рынка.

«Сто Ганских с кашлем зябло по утрам
И, волосы расчесывая, драго
Гребенкою. Сто Ганских в зеркалах
Бросало в дрожь. Сто Ганских пило кофе.
А надо было богу доказать,
Что Ганская — одна, как он задумал...» —
На том конце, где громыхали дрожки,
Запел петух. — «Что Ганская — одна,
Как говорила подпись Ганской в письмах,
Как сон, как смерть». — Светало. В том конце,
Где громыхали дрожки, пробуждались.

Как поздно отпираются кафе,
И как свежа печать сырой газеты!
Ничто не мелко, жирен всякий шрифт,
Как жир галош и шин, облитых солнцем.

Как празден дух прошедшего без сна
Такую ночь! Как голубь пылает
Фитиль в мозгу! Как ласков огонек!
Как непоследовательно насмешлив!

Он вспомнил всех. — Напротив, у молочной,
Рыжел навоз. Чирикал воробей.
Он стал искать той ветки, на которой
На части разрывался, вне себя
От счастья, этот щебет. Впрочем, вскоре

Он заключил, что ветка — над окном,
Ввиду того ли, что в его виду
Перед окошком не было деревьев,
Иль от чего еще. — Он вспомнил всех. —
О том, что справа сад, он догадался
По тени вяза, легшей на панель.
Она блистала, как и подстаканник.
Вдруг с непоследовательностью в мыслях,
Прилично неспавшему, ему
Подумалось на миг такое что-то,
Что трудно передать. В горящий мозг
Вошли слова: любовь, несчастье, счастье,
Судьба, событие, похождение, рок,
Случайность, фарс и фальшь. — Вошли и вышли.
По выходе никто б их не узнал,
Как девушек, остриженных машинкой
И пощаженных тифом. Он решил,
Что этих слов никто не понимает,
Что это не названия картин,
Не сцены, но — разряды матерьялов.
Что в них есть шум и вес сыпучих тел,
И сумрак всех букетов москательной.
Что мумией изображают кровь,
Но можно иней начертить сангиной,
И что в душе, в далекой глубине,
Сидит такой завзятый рисовальщик
И иногда рисует *lune de miel* ¹
Куском беды, крошащейся меж пальцев,
Куском здоровья — бешеный кошмар,
Обломком бреда — светлое блаженство.

¹ Медовый месяц (франц.). — *Ред.*

В пригретом солнцем синем картузе,
Обдернувшись, он стал спиной к окошку.
Он продавал жестяных саламандр,
Он торговал осколками лазури,
И ящерицы бегали, блеща,
По яркому песку вдоль водостоков,
И щебетали птицы. Шел народ,
И дети разевали рты на диво.
Кормилица царицей проплыла.
За март, в апрель просилось ожерелье,
И жемчуг, и глаза, — кровь с молоком
Лица и рук, и бус, и сарафана.

Еще по кровлям ездил снег. Еще
Весна смеялась, вспенив снегу с солнцем.
Десяток парниковых огурцов
Был слишком слаб, чтоб в марте дать понятие
О зелени. Но март их понимал
И всем трубил про молодость и свежесть.

Из всех картин, что память сберегла,
Припомнилась одна: ночное поле.
Казалось, в звезды, словно за чулок,
Мякина забивается и колет.
Глаза, казалось, Млечный Путь пылит.
Казалось, ночь встает без сил с омета
И сор со звезд сметает. Степь неслась
Рекой безбрежной к морю, и со степью
Неслись стога, и со стогами — ночь.

На станции дежурил крупный храп,
Как пласт, лежавший на листе железа.

На станции ревели мухи. Дождь
Звенел об зымзу, словно о подойник.
Из четырех громадных летних дней
Сложило сердце эту память правде.
По рельсам плыли, прорезая мглу,
Столбы сигналов, ударяя в тучи,
И резали глаза. Бессонный мозг
Тянуло в степь, за шпалы и сторожки.
На станции дежурил храп, и дождь
Ленился и вздыхал в листве. — Мой ангел,
Ты будешь спать: мне обещала ночь!
Мой друг, мой дождь, нам некуда спешить.
У нас есть время. У меня в карманах —
Орехи. Есть за чем с тобой в степи
Полночи скоротать. Ты видел? Понял?
Ты понял? Да? Не правда ль, это — то?
Та бесконечность? То обетованье?
И стоило расти, страдать и ждать.
И не было ошибкою родиться?
На станции дежурил крупный храп.
Зачем же так печально опаданье
Безумных знаний этих? Что за грусть
Роняет поцелуи, словно август,
Которого ничем не оторвать
От лиственницы? Жаркими губами
Пристал он к ней, она и он в слезах.
Он совершенно мокр, мокры и иглы...

1918

ОТПЛЫТИЕ

Слышен лепет соли каплющей.
Гул колес едва показан.
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы.

Плеск и плеск, и плеск без отзыва.
Разбегаясь со стенаньем,
Вспыхивает бледно-розовая
Моря ширь берестяная.

Треск и хруст скелетов раковых,
И шипит, горя, береста.
Ширь растет, и море вздрагивает
От ее прироста.

Берега уходят ельничком, —
Он невзрачен и тщедушен.
Море, сумрачно бездельничая,
Смотрит сверху на идущих.

С моря еще по морошку
Ходит и ходит лесками,
Грохнув и борт огороша,
Ширящееся плесканье.

Виден еще, еще виден
Берег, еще не без пятен
Путь, — но уже необыден
И, как беда, необъятен.

Страшным полуоборотом,
Сразу меняясь во взоре,
Мачты въезжают в ворота
Настежь открытого моря.

Вот оно! И, в предвкушеньи
Сладко бушующих новшеств,
Камнем в пучину крушений
Падает чайка, как ковшик.

1922

Финский залив

БРЮСОВУ

Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки.

Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы; жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка — улыбаться, мучась?

Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настужь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?

Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет?..
О! весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.

Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снести
Пережитого слышащихся жалоб.

1924

ДВАДЦАТЬ СТРОФ С ПРЕДИСЛОВИЕМ

(Зачаток романа «Спекторский»)

Графленная в линейку десть!
Вглядись в ту сторону, откуда
Нахлынуло всё то, что есть,
Что я когда-нибудь забуду.

Отрапортуй на том смотру.
Ударь хлопушкою округи.
Будь точно роща на юру,
Ревущая под ртищем вьюги.

Как разом выросшая рысь,
Всмотрись во всё, что спит в тумане,
А если рысь слаба вниманьем,
То пристальней еще всмотришь.

Одна оглядчивость пространства
Хотела от меня поэм.
Одна она ко мне пристрастна,
Я только ей не надоем.

Когда, снуя на задних лапах,
Храпел и шерсть ерошил снег,
Я вместе с далью падал на пол
И с нею ввязывался в грех.

По барабанной перепонке
Несущихся, как ты, стихов
Суди, имею ль я ребенка,
Равнина, от твоих пахов?

Я жил в те дни, когда на **плоской**
Земле прощали старикам,
Заря мирволила подросткам
И вечер к славе подстрекал.

Когда, нацелившись на взрослых,
Сквозь дым крупы, как сквозь вуаль,
Уже рябили ружья в козлах
И пухла крупповская сталь.

По круглым корешкам старинных книг
Порхают в искрах дымовые трубы.
Нежданно ветер ставит воротник,
И улица запахивает шубу.
Представьте дом, где, пятен лишена
И только шагом схожая с гепардом,
В одной из крайних комнат тишина,
Облапив шар, ложится под бильярдом.
А рядом, в шапке крапчатой, декабрь
Висит в ветвях, на зависть акробату,
И с дерева дивится, как дикарь,
Нарядам и дурачествам Арбата.
В часы, когда у доктора прием,
Салон безмолвен, как салоп на вате.
Мы колокольни в окнах застаем
В заботе об отнявшемся набате.
Какое-то ручное вещество
Вертит хвостом, волною хлора зыблясь.
Его в квартире держат для того,
Чтоб пациенты дверью не ошиблись.
Профессор старше галок и дерев.
Он пепельницу порет папиросой.

Что в том ему, что этот гость здоров?
Не суйся в дом без вызова и спросу.
На нем манишка и сюртук до пят.
Закашлявшись и, видимо, ослышась,
Он отвечает явно невпопад:
«Не нервничать и избегать излишеств».
А после — в вопль: «Я, право, утомлен!
Вы про свое, а я сиди и слушай?
А ежели вам имя легион?
Попробуйте гимнастику и души».

И улица меняется в лице,
И ветер машет вырванным рецептом,
И пять бульваров мечутся в кольце,
Зализывая рельсы за прицепом.
И ночь горит, как старый банный сруб,
Занявшийся от ерунды какой-то,
Насилу побежденная к утру
Из поданных бессонницей браидспойтов.
Туман на щепки колет тротуар,
Пожарные бредут за калачами,
И стужа ставит чашам самовар
Лучинами зари и каланчами.
Вся в копоты, с чугуновой гирей мги,
Синеет твердь и, вмиг воспламенившись,
Хватает клубья искр, как сапоги,
И втаскивает дым за голенища.

.

1925

ПАМЯТИ РЕЙСНЕР

Лариса, вот когда посожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней.
Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней.

Как я присматривался к матерьялам!
Валились зимы кучей, шли дожди,
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди.

Мелькали пешеходы в непогоду,
Ползли возы за первый поворот,
Года по горло погружались в воду,
Потоки новых запружали брод.

А в перегонном кубе всё упрямей
Варилась жизнь, и шла постройка гнезд.
Работы оцепляли фонарями
При свете слова, разума и звезд.

Осмотришься, какой из нас не свалян
Из хлопьев и из недомолвок мглы?
Нас воспитала красота развалин,
Лишь ты превыше всякой похвалы.

Лишь ты, на славу сбитая боями,
Вся сжатым залпом прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что значит обаянье,
Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.

Ты точно бурей грации дымилась.
Чуть побывав в ее живом огне,
Посредственность впадала вмиг
в немилость,
Несовершенство навлекало гнев.

Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утомит ступни.
Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени.

1926

К ОКТЯБРЬСКОЙ ГОДОВЩИНЕ

1

Редчал разговор оживленный.
Шинель становилась в черед.
Растягивались в эшелоны
Телятники маршевых рот.

Десятого чувства верхушкой
Подхватывали ковыли,
Что этот будильник с кукушкой
Лет на сто вперед завели.

Бессрочно и тысячеверстно
Шли дни под бризантным дождем.
Их вырвавшееся упорство
Не ставило нас ни во что.

Всегда-то их шумную груду
Несло неизвестно куда.
Теперь неизвестно откуда
Их двигало на города.

И были престранные ночи
И род вечеров в сентябре,
Что требовали полномочий
Обширней еще, чем допрежь.

В их августовское убранство
Вошли уже корпия, креп,
Досрочный призыв нобобранцев,
Неубранный беженцев хлеб.

Могло ли им вообразиться,
Что под боком, невдалеке,
Окликнутые с позиций
Жилища стоят в столбняке?

Но, правда, ни в слухах нависших,
Ни в стойке их сторожевой,
Ни в низко надвинутых крышах
Не чувствовалось ничего.

2

Под спудом пыльных садов,
На дне летнего дня —
Нева, и нефти пятном
Расплывшаяся солдатня.

Вечерние выпуска
Газет рвут нарасхват.
Асфальты. Названья судов
Аптеки. Торцы. Якоря.

Заря, и под ней, в западне
Инженерного замка, подобный
Равномерно-несметной, как лес, топотне
Удаляющейся кавалерии, — плеск

Литейного, лентой рулетки
Раскатывающего на роликах плит
Во всё запустенье проспекта
Штиблетную бурю толпы.

Остатки чугунных оград
Местами целеют под кипой
Событий и прахом попыток
Уйти из киргизской степи.

Но, тучи черней, аппарат
Ревет в типографском безумьи, —
И тонут копыта и скрипы кибиток
В сыпучем самуме бумажной стопы.

Семь месяцев мусор и плесень,
как шерсть, —

На лестницах министерств.
Одинокий как перст —
Таков Петроград,
Еще с Государственной думы
Ночами и днями кочующий в чумах

И утром по юртам бесчувственный к шуму
Гольтепы.

Он всё еще не искупил
Провинностей скипетра и ошибок
Противного стереотипа,
И сослан на взморье, топить, как Сизиф,
Утопии по затонам,
И, чуть погрузив, подымать эти тонны
Картона и несть на себе в неметенный
Семь месяцев сряду пыльный тупик.

И осень подходит с обычной рутинной
Крутящихся листьев и мокрых куртин.

3

Густая слякоть клейковиной
Полощет улиц колею:
К виновному прилип невинный,
И день, и дождь, и даль в клею.

Ненастье настигает скаты,
Гремит железом пласт о пласт,
Свергает власти, рвет плакаты,
Натравливает класс на класс.

Костры. Пикеты. Мгла. Поэты
Уже печатают тюки
Стихов потомкам на пакеты
И нам под кету и пайки.

Тогда, как вечная случайность,
Подкрадывается зима
Под окна прачечных и чайных
И прячет хлеб по закромам.

Коротким днем, как коркой сыра,
Играют крысы на софе
И, протащив по всей квартире,
Укатывают за буфет.

На смену спорам оборонцев —
Как север, ровный Совнарком,
Безбрежный снег, и ночь, и солнце,
С утра глядящее сморчком.

Пониклый день, серье и быдло,
Обидных выдач жалкий цикл,
По виду — жизнь для мотоциклов
И обданных повидлой игл.

Для галок и красногвардейцев,
Под черной кожи мокрый хром.
Какой еще заре зардеться
При взгляде на такой разгром?

На самом деле ж это — небо
Намыкавшейся всласть зимы,
По всем окопам и совдепам
За хлеб восставшей и за мир.

На самом деле это где-то
Задетый ветром с моря рой

Горящих глаз Петросовета,
Вперенных в небывалый строй.

Да, это то, за что боролись.
У них в руках — метеорит.
И будь он даже пуст, как полюс,
Спасибо им, что он открыт.

Однажды мы гостили в сфере
Преданий. Нас перевели
На четверть круга против зверя.
Мы — первая любовь земли.

1927

ПРИБЛИЖЕНЬЕ ГРОЗЫ

Я. З. Черняку

Ты близко. Ты идешь пешком
Из города, и тем же шагом
Займешь обрыв, взмахнешь мешком
И гром прокатишь по оврагам.

Как допетровское ядро,
Он лугом шустится вприпрыжку
И раскидает груды дров
Слетевшей на сторону крышкой.

Тогда тоска, как оккупант,
Оцепит даль. Пахнёт окопом.
Закаплет. Ласточки вскипят.
Всею купой в сумрак вступит тополь.

Слух пронесется по верхам,
Что, сколько помнят, ты — до шведа,
И холод въедет в арьергард,
Скача с передовых разведок.

Как вдруг, очистивши обрыв,
Ты с поля повернешь, раздумав,
И сгинешь, так и не открыв
Разгадки шлемов и костюмов.

А завтра я, нырнув в росу,
Ногой наткнушь на шар гранаты
И повесть в комнату внесу,
Как в оружейную палату.

1927

* * *

Когда смертельный треск сосны скрипучей
Всей рощей погребает перегной,
История, нерубленую пущей
Иных дерев встаешь ты предо мной.

Веками спит плетенье мелких нервов,
Но раз в столетье или два и тут
Стреляют дичь и ловят браконьеров
И с топором порубщика ведут.

Тогда, возней лозин глуша окрестность,
Над чащей начинает возникать
Служилая и страшная телесность,
Медаль и деревяшка лесника.

*

Трещат шаги комплекции солидной,
И озаренный лес встает от дрём,
Над ним плывет улыбка инвалида
Мясистых щек китайским фонарем.

Не радоваться нам, кричать бы на́ крик.
Мы заревом любимся, а он,
Он просто краской хвачен, как подагрик,
И ярок тем, что мертв, как лампион.

1927

* * *

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.

Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочажины озерной.
Целься, всё кончено! Бей меня в лет.

За высоту ж этой звонкой разлуки,
О пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.

1928

АННЕ АХМАТОВОЙ

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь — мне это трын-трава,
Я всё равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слого.

Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слеза,
Горит заря, спины не разгибая,

Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.

По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
Ветвей, и звезд, и фонарей, и вех,
И с моста вдаль глядящей белошвейки.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор —
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи.

Но, исходя из ваших первых книг,
Где крепили прозы пристальной крупницы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.

1928

МЕЙЕРХОЛЬДАМ

Желоба коридоров иссякли.
Гул отхлынул и сплыл, и заглох.
У окна, опоздавши к спектаклю,
Вяжет вьюга из хлопьев чулок.

Рытым ходом за сценой залягте,
И, обуглясь у всех на виду,
Как дурак, я зайду к вам в антракте,
И смешаюсь и слов не найду.

Я увижу деревья и крыши.
Вихрем кинутся мушки во тьму.
По замашкам зимы-замухрышки
Я игру в кошки-мышки пойму.

Я скажу, что от этих ужимок
Еле цел я остался внизу,

Что пакет развязался и вымок
И что я вам другой привезу.

Что от чувств на земле нет отбою,
Что в руках моих — плеск из фойе,
Что из этих признаний — любое
Вам обоим, а лучшее — ей.

Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выгались,
Ваша правда, так надо играть.

Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тёр.

И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.

Той же пьесою неповторимой,
Точно запахом краски дыша,
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму — душа.

1928

ДРУГУ

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не подымаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

1931

* * *

Все наклоненья и залог
Изжеваны до одного.
Хватить бы соды от изжоги!
Так вот итог твой, мастерство?

На днях я вышел книгой в Праге.
Она меня перенесла
В те дни, когда с заказом на дом
От зарев, догоравших рядом,
Я верил на слово бумаге,
Облитой лампой ремесла.

Бывало, снег несет вкрутую,
Что только в голову придет.
Я сумраком его грунтую
Свой дом, и холст, и обиход.

Всю зиму пишет он этюды,
И у прохожих на виду
Я их переносу оттуда,
Таю, копирую, краду.

Казалось альфой и омегой —
Мы с жизнью на один покрой;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила, как alter ego,¹
И я назвал ее сестрой.

Землею был так полон взор мой,
Что зацвечал, как курослеп
С сурепкой мелкой неврасцеп,
И пил корнями жженный, черный
Цикорный сок густого дерна,
И только это было формой,
И это — лепкою судеб.

Как вдруг — издание из Праги.
Как будто реки и овраги
Задумали на полчаса
Наведаться из грек в варяги,
В свои былые адреса.

Другое «я», двойник (лат.). — *Ред*

С тех пор всё изменилось в корне.
Мир стал невиданно широк.
Так революции ль порок,
Что я, с годами всё покорней,
Твержу, не знаю чей, урок?

Откуда это? Что за притча,
Что пепел рухнувших планет
Родит скрипичные каприччо?
Талантов много, духу нет.

Поэт, не принимай на веру
Примеров Дантов и Торкват.
Искусство — дерзость глазомера,
Влечение, сила и захват.

Тебя пилили на поленья
В года, когда в огне невзгод
В золе народонаселенья
Оплавилось ядро: народ.

Он для тебя вода и воздух,
Он — прежний лютик луговой,
Копной черемух белогроздых
До облак взмывший головой.

Не выставляй ему отметок.
Растроганности грош цена.
Грозой пади в объятья веток,
Дождем обдай его до дна.

Не умиляйся, — не подтянем.
Сгинь бѣз вести, вернись без сил,
И по репьям и по плутаньям
Пойдем, кого ты посетил.

Твое творение не орден:
Награды назначает власть.
А ты — тоски пеньковой гордень,
Паренья парусная снасть.

1936

ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Хмуρο тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.

За оградю вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.

Мне в ненастье мерещится книга
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.

Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.

Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой-миллионершей
Средь голодающих сестер.

Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.

Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.

Тут всё — полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дан.

Зима как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином — вот и кутья.

Пред домом яблоня в сугробе,
И город в снежной пелене —
Твое огромное надгробье,
Как целый год казалось мне.

Лицом повернутая к богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.

1943

Из книги «Второе рождение»
1930—1931

I

ВОЛНЫ

Здесь будет всё: пережитое
И то, чем я еще живу,
Мои стремленья и устои,
И виденное наяву.

Передо мною волны моря.
Их много. Им немислим счет.
Их тьма. Они шумят в миноре.
Прибой, как вафли, их печет.

Весь берег, как скотом, исшмыган.
Их тьма, их выгнал небосвод.
Он их гуртом пустил на выгон
И лег за горкой на живот.

Гуртом, сворачиваясь в трубки,
Во весь разгон моей тоски
Ко мне бегут мои поступки,
Испытанного гребешки.

Их тьма, им нет числа и сметы,
Их смысл досель еще не полн,
Но всё их сменою одето,
Как пенье моря пеной волн.

Здесь будет спор живых достоинств,
И их борьба, и их закат,
И то, чем дарит жаркий пояс,
И чем умеренный богат.

И в тяжбе борющихся качеств
Займет по первенству куплет
За сверхъестественную зрячесть
Огромный берег Кобулет.

Обнявший, как поэт в работе,
Что в жизни порознь видно двум,
Одним концом — ночное Потти,
Другим — светающий Батум.

Умеющий, — так он всевидящ, —
Унять, как временную блажь,
Любое, с чем к нему ни выйдешь:
Огромный восьмиверстный пляж.

Огромный пляж из голых галек —
На всё глядящий без пелен —
И зоркий, как глазной хрусталик,
Незастекленный небосклон.

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоробрость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ
И как предмет сечет предмет.

Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнью сидячей, —
И по такой, грущу по ней.

Опять знакомостью напева
Пахнут деревья и дома.
Опять направо и налево
Пойдет хозяйничать зима.

Опять к обеду на прогулке
Наступит темень, просто страсть.
Опять научит переулки
Охулки на руки не класть.

Опять повалят с неба взятки,
Опять укроет к утру вихрь
Осин подследственных десятки
Сукном сугробов снеговых.

Опять опавшей сердца мышцей
Услышу и вложу в слова,

Как ты ползешь и как дымишься,
Встаешь и строишься, Москва.

И я приму тебя, как упряжь,
Тех ради будущих безумств,
Что ты, как стих, меня зазубришь,
Как быль, запомнишь наизусть.

Здесь будет облик гор в покое.
Обман безмолвья, гул во рву;
Их тишь; стесненное, крутое
Волненье первых рандеву.

Светало. За Владикавказом
Чернело что-то. Тяжело
Шли тучи. Рассвело не разом.
Светало, но не рассвело.

Верст за́ шесть чувствовалась тяжесть
Обвившей выси темноты,
Хоть некоторые, куражась,
Старались скинуть хомуты.

Каким-то сном несло оттуда.
Как в печку вмазанный казан,
Горшком отравленного блюда
Внутри дымился Дагестан.

Он к нам катил свои вершины
И, черный сверху до подошв,
Так и рвался принять машину
Не в лязг кинжалов, так под дождь.

В горах заваривалась каша.
За исполином исполин,
Один другого злей и краше,
Спирали выход из долин.

Зовите это как хотите,
Но всё кругом одевший лес
Бежал, как повести развитье,
И сознавал свой интерес.

Он брал не фауной фазаньей,
Не сказочной осанкой скал, —
Он сам пленял, как описание,
Он что-то знал и сообщал.

Он сам повествовал о плене
Вещей, вводимых не на час,
Он плыл отчетом поколений,
Служивших за сто лет до нас.

Шли дни, шли тучи, били зорю,
Седлали, повскакавши с тахт,
И — в горы рощами предгорья,
И вон из рощ, как этот тракт.

И сотни новых вслед за теми,
Тьмы крепостных и тьмы служак,
Тьмы ссыльных, — имена и семьи,
За родом род, за шагом шаг.

За годом год, за родом племя,
К горам во мгле, к горам под стать
Горянкам за чадрой в гареме,
За родом род, за пядью пядь.

И в неизбывное насилье
Колонны, шедшие извне,
На той войне черту вносили,
Не виданную на войне.

Чем движим был поток их? Тем ли,
Что кто-то посылал их в бой?
Или, влюбляясь в эту землю,
Он дальше влекся сам собой?

Страны не знали в Петербурге
И, злясь, как на сноху свекровь,
Жалели сына в глупой бурке
За чертову его любовь.

Она вселяла гнев в отчизне,
Как ревность в матери, — но тут
Овладевали ей, как жизнью,
Или как женщину берут.

Вот чем лесные дебри брали,
Когда на рубеже их царств
Предупрежденьем о Дарьяле
Со дна оврага вырос Ларс.

Всё смолкло, сразу впав в немилость,
Всё стало гулом: сосны, мгла...

Всё громкой тишиной дымилось,
Как звон во все колокола.

Кругом толпились гор отроги,
И новые отроги гор
Входили молча по дороге
И уходили в коридор.

А в их толпе у парапета
Из-за угла, как пешеход,
Прошедший на рассвете Млеты,
Показывался небосвод.

Он дальше шел. Он шел отселе,
Как всякий шел. Он шел из мглы
Удушливых ушей ущелья —
Верблюдом сквозь ушко иглы.

Он шел с котомкой по́ дну балки,
Где кости круч и облака
Торчат, как палки катафалка,
И смотрят в клетку рудника.

На дне той клетки едким натром
Травится Терек, и руда
Орет пред всем амфитеатром
От боли, страха и стыда.

Он шел породой, бьющей настежь
Из преисподней на простор,
А эхо, как шоссейный мастер,
Сгребало в пропасть этот сор.

Уж замка тень росла из крика
Обретших слово, а в горах,
Как мамкой пуганый заика,
Мычал и таял Девдорах.

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подношьем,
И мы получим этот край.

И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.

Чтобы, сложившись средь бескормиц,
И поражений, и неволь,
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль.

Кавказ был весь как на ладони
И весь как смятая постель,
И лед голов синел бездонней
Тепла нагретых пропастей.

Туманный, не в своей тарелке,
Он правильно, как автомат,
Вздымал, как залпы перестрелки,
Злорадство ледяных громад.

И, в эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад,

Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград!

О, если б нам подобный случай,
И из времен, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!

Передо мною днем и ночью
Шагала бы его пята,
Он мял бы дождь моих пророчеств
Подошвой своего хребта.

Ни с кем не надо было б грызться.
Не заподозренный никем,
Я вместо жизни виршеписца
Повел бы жизнь самих поэм.



Ты рядом, даль социализма.
Ты скажешь — близь? — Средь тесноты,
Во имя жизни, где сошлись мы, —
Переправляй, но только ты.

Ты куришься сквозь дым теорий,
Страна вне сплетен и клевет,
Как выход в свет и выход к морю,
И выход в Грузию из Млет.

Ты — край, где женщины в Путивле
Зегзицами не плачут впредь,

И я всей правдой их счастливлю,
И ей не надо прочь смотреть.

Где дышат рядом эти обе,
А крючья страсти не скрипят
И не дают в остатке дроби
К беде родившихся ребят.

Где я не получаю сдачи
Разменным бытом с бытия,
Но значу только то, что трачу,
А трачу всё, что знаю я.

Где голос, посланный вдогонку
Необоримой новизне,
Весельем моего ребенка
Из будущего вторит мне.

Здесь будет всё: пережитое
В предвиденьи и наяву,
И те, которых я не стою,
И то, за что средь них слыву.

И в шуме этих категорий
Займут по первенству куплет
Леса аджарского предгорья
У взморья белых Кобулет.

Еще ты здесь, и мне сказали,
Где ты сейчас и будешь в пять,
Я б мог застать тебя в курзале,
Чем даром языком трепать.

Ты б слушала и молодеда,
Большая, смелая, своя,
О человеке у предела,
Которому не век судья.

Есть в опыте больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.

Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.
Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

Октябрь, а солнце что твой август,
И снег, ожегший первый холм,
Усугубляет тугоплавкость
Катящихся, как вафли, волн.

Когда он платиной из тигля
Просвечивает сквозь листву,
Чернее лиственницы иглы, —
И снег ли то по существу?

Он блещет снимком лунной ночи,
Рассматриваемой в обед,
И сообщает пошлость Сочи
Природе скромных Кобулет.

И всё ж, то знак: зима при двéрях,
Почтим же лета эпилог.
Простимся с ним, пойдем на берег
И ноги окунем в белок.

Растет и крепнет ветра натиск,
Растут фигуры на ветру.
Растут и, кутаясь и пятясь,
Идут вдоль волн, как на смотрю.

Обходят линию прибоя,
Уходят в пены перезвон,
И с ними, выгнувшись трубою,
Здоровается горизонт.

1931

II

БАЛЛАДА

Дрожат гаражи автобазы,
Нет-нет, как кость, взблеснет костел.
Над парком падают топазы,
Слепых зарниц бурлит котел.

В саду — табак, на тротуаре —
Толпа, в толпе — гуденье пчел.
Разрывы туч, обрывки арий,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

«Пришел», — летит от вяза к вязу,
И вдруг становится тяжел
Как бы достигший высшей фазы
Бессонный запах маттиол.
«Пришел», — летит от пары к паре,
«Пришел», — стволу лепечет ствол.
Потоп зарниц, гроза в разгаре,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Удар, другой, пассаж, — и сразу
В шаров молочный ореол
Шопена траурная фраза
Вплывает, как больной орел.
Под ним — угар араукарий,
Но глух, как будто что обрел,
Обрывы донизу обшаря,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Полет орла — как ход рассказа.
В нем все соблазны южных смол
И все молитвы и экстазы
За сильный и за слабый пол.
Полет — сказанье об Икаре.
Но тихо с круч ползет подзол,
И глух, как каторжник на Каре,
Недвижный Днепр, ночной Подол.

Вам в дар баллада эта, Гарри.
Воображенья произвол
Не тронул строк о вашем даре:
Я видел всё, что в них привел.
Запомню и не разбазарю:
Метель полночных маттиол.
Концерт и парк на крутояре.
Недвижный Днепр, ночной Подол.

1930

ВТОРАЯ БАЛЛАДА

На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете,
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Гребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.

Ревет фагот, гудит набат.
На даче спят под шум без плоти,
Под ровный шум на ровной ноте,
Под ветра яростный надсад.
Льет дождь, он хлынул с час назад.
Кипит деревьев парусина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина. . .
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

Льет дождь. Я вижу сон: я взят
Обратно в ад, где все в компоте,
И женщин в детстве мучат тети,
А в браке дети теребят.
Льет дождь. Мне снится: из ребят
Я взят в науку к исполину
И сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят.

Светает. Мглистый банный чад.
Балкон плывет, как на плашкоте,
Как на плотях, — кустов щепоти,
И в каплях потный тес оград.
(Я видел вас пять раз подряд.)

Спи, будь. Спи жизни ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят.

1930

ЛЕТО

Ирпень — это память о людях и лете,
О воле, о бегстве из-под кабалы,
О хвое на зное, о сером левкое
И смене безветрия, вёдра и мглы.

О белой вербене, о терпком терпении
Смолы; о друзьях, для которых малы
Мои похвалы и мои восхваленья,
Мои славословья, мои похвалы.

Пронзительных иволог крик и явленье
Китайкой и углем желтило стволы,
Но сосны не двигали игол от лени
И белкам и дятлам сдавали углы.

Сырели комоды, и смену погоды
Древесная квакша вещала с сучка,
И балка у входа ютила удода,
И, детям в угоду, запечье — сверчка.

В дни съезда шесть женщин топтали луга.
Лениво паслись облака в отдаленьи.
Смеркалось, и сумерек хитрый маневр
Сводил с полутьмою зажженный репейник,
С землею — саженные тени ирпенек
И с небом — пожар полосатых панев.

Смеркалось, и, ставя простор на колени,
Загон горизонта смыкал полукруг.
Зарницы вздымали рога по-оленьи,

И с сена вставали, и ели из рук
Подруг, по приходе домой тем не мене
От жуликов дверь запиравших на крюк.

В конце, пред отъездом, ступая по кипе
Листвы облетелой в жару бредовом,
Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,
Налет недомолвок сорвал рукавом.

И осень, дотоле вопившая выпью,
Прочистила горло; и поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе —
На пире Платона во время чумы.

Откуда же эта печаль, Диотима?
Каким увереньем прервать забытье?
По улицам сердца из тьмы нелюдимой!
Дверь настезь! За дружбу, спасенье мое!

И это ли происки Мэри-арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.

1930

СМЕРТЬ ПОЭТА

Не верили, — считали, бредни,
Но узнавали от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в стрóку
Остановившегося срока

Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтоб дуры впредь не
Совались в грех, да будь он лих.
Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках порванного бредня.

Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.
Толпились, выстроаясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их.

Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих, —
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.

Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал, — со всех ног, со всех лодыг
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорье трусов и трусих.

1930

III

* * *

Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют — тоской изойду.
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,
Прогулки, купанье и клумбу в саду.

Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлой улыбкой, улыбкой взхлеб,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.

Мне Брамса сыграют — я вздрогну, я сдамся,
Я вспомню покупку припасов и круп,
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.

Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат
Набор рисовальный и пачки отравы,
Что «Басмой» зовутся и астму сулят.

Мне Брамса сыграют — я сдамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход.
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот.

И вдруг, как в открывшемся в сказке Сезаме,
Предстанут соседи, друзья и семья,
И вспомню я всех, и зальюсь я слезами,
И вымокну раньше, чем выплачусь, я.

И станут кружком на лужке интермеццо,
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства
Под чистый, как детство, немецкий мотив.

1931

* * *

Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших и сердца не мучай.
Ты жива, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.

Верой в будущее не боюсь
Показаться тебе краснобаем.
Мы не жизнь, не душевный союз, —
Обоюдный обман обрубаем.

Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
Что тебе, как письмо, адресован.

Надорви ж его ширь, как письмо,
С горизонтом вступи в переписку.

Победи изнуренья измор,
Заведи разговор по-альпийски.

И над блюдом баварских озер
С мозгом гор, точно кости мосластых,
Убедишься, что я не фразер
С заготовленной к месту подсласткой.

Добрый путь. Добрый путь. Наша связь,
Наша честь не под кровлею дома.
Как росток на свету распрямясь,
Ты посмотришь на всё по-другому.

1931

* * *

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь.
Всё это — не большая хитрость.

1931

Всё снег да снег, — терпи и точка.
Скорей уж, право б, дождь прошел
И горькой тополевой почкой
Подруги сдобрил скромный стол.

Зубровкой сумрак бы закапал,
Укропу к супу б накрошил,
Бокалы — грохотом вокабул,
Латынью ливня оглушил.

Тупицу б двинул по затылку, —
Мы в ту пору б оглохли, но
Откупорили б, как бутылку,
Заплесневелое окно,

И гам ворвался б: «Ливень заслан
К чертям, куда Макар телят
Не ганивал. . .» И солнце маслом
Асфальта б залило салат.

А вскачь за громом, за четверкой.
Ильи Пророка, под струи —
Мои телячьи бы восторги,
Телячьи б нежности твои.

1931

Мертвецкая мгла.
И с тумбами вровень
В канавах — тела
Утопленниц-кровель.

Оконницы служб
И охра покоев
В покойницкой луж,
И лужи — рекою.

И в них извозцы,
И дрожек разводы,
И взят под уздцы
Битюг небосвода.

И капли в кустах,
И улица в тучах,
И щебеты птах,
И почки на сучьях.

И все они, все
Выходят со мною
Пустынным шоссе
На поле Ямское,

Где спят фонари
И даль как чужая:
Ее снегири
Зарей оглушают.

Опять на гроши
Грунтами несмело
Творится в тиши
Великое дело.

1931

* * *

Любимая, — молвы слащавой,
Как угля, вездесуща гарь.
А ты — подспудной тайной славы
Засасывающий словарь.

А слава — почвенная тяга.
О, если б я прямой возник!
Но пусть и так, — не как бродяга,
Родным войду в родной язык.

Теперь не сверстники поэтов,
Вся ширь проселков, меж и лех
Рифмует с Лермонтовым лето
И с Пушкиным гусей и снег.

И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,
Тесней, чем сердце и предсердьё,
Зарифмовали нас вдвоем.

Чтоб мы согласья сочетаньем
Застлали слух кому-нибудь
Всем тем, что сами пьем и тянем
И будем ртами трав тянуть.

1931

* * *

Красавица моя, вся статья,
Вся суть твоя мне по сердцу,
Вся рвется музыкою статья
И вся на рифмы просится.

А в рифмах умирает рок,
И правдой входит в наш мирок
Миров разноголосица.

И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон.

И в рифмах дышит та любовь,
Что тут с трудом выносятся,
Перед которой хмурят бровь
И морщат переносицу.

И рифма не вторенье строк,
Но вход и пропуск за порог,

Чтоб сдать, как плащ за бляшкою,
Болезни тягость тяжкую,
Боязнь огласки и греха
За громкой бляшкою стиха.

Красавица моя, вся суть,
Вся статья твоя, красавица,
Спирает грудь и тянет в путь,
И тянет петь и — нравиться.

Тебе молился Поликлет.
Твои законы изданы.
Твои законы в далях лет.
Ты мне знакома издавна.

1931

IV

* * *

Кругом семенящейся ватой,
Подхваченной ветром с аллея,
Гуляет, как призрак разврата,
Пушистый ватин тополей.

А в комнате пахнет, как ночью,
Болотной фиалкой. Бока

Опущенной шторы морочат
Доверье ночного цветка.

В квартире прохлада усадьбы.
Не жертвуя ей для бесед,
В разлуке с тобой и писать бы,
Внося пополнения в бюджет.

Но грусть одиноких мелодий
Как участь бульварных семян,
Как спущенной шторы бесплодые,
Вводящей фиалку в обман.

Ты стала настолько мне жизнью,
Что всё, что не к делу, — долой,
И вымыслов пить головизну
Тошнит, как от рыбы гнилой.

И вот я вникаю на ощупь
В доподлинной повести тьму.
Зимой мы расширим жилплощадь,
Я комнату брата займу.

В ней шум уплотнителей глуше,
И слушаться будет жадней,
Как битыми днями баклуши
Бьют зимние тучи над ней.

1951

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, — никого.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной.

И опять кольнут доньне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.

Но неожиданно по портьеру
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами мера,
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопя шьют.

1931

* * *

Опять Шопен не ищет выгод,
Но, окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту.

Задворки с выломанным лазом,
Хибарки с паклей по бортам.
Два клена в ряд, за третьим, разом —
Соседней Рейтарской квартал.

Весь день внимают клены детям,
Когда ж мы ночью лампу жжем
И листья, как салфетки, метим,
Крошатся огненным дождем.

Тогда, насквозь проколобродив
Штыками белых пирамид,
В шатрах каштановых напротив
Из окон музыка гремит.

Гремит Шопен, из окон грянув,
А снизу, под его эффект
Прямя подсвечники каштанов,
На звезды смотрит прошлый век.

Как бьют тогда в его сонате,
Качая маятник громад,
Часы разъездов и занятий
И снов без смерти и фермат!

Итак, опять из-под акаций
Под экипажи парижан?
Бежать, бежать и спотыкаться,
Как жизни тряский дилижанс?

Опять трубить, и гнать, и звякать,
И, мякоть в кровь поря, опять
Рождать рыданье, но не плакать,
Не умирать, не умирать?

Опять в сырую ночь в мальпосте,
Проездом в гости из гостей,
Подслушать пенье на погосте
Колес, и листьев, и костей?

В конце ж, как женщина, отпрянув
И чудом сдерживая прыть
Впотьмах приставших горлопанов,
Распятем фортепьян застыть?

А век спустя, в самозащите
Задев за белые цветы,
Разбить о плиты общежитий
Плиту крылатой правоты.

Опять? И, посвятив соцветьям
Рояля гулкий ритуал,
Всем девятнадцатым столетьем
Упасть на старый тротуар.

1931

V

* * *

Вечерело. Повсюду ретиво
Рос орешник. Мы вышли на скат.
Нам открылась картина на диво.
Отдышась, мы взглянули назад.

По краям пропастей куролесья,
Там, как прежде, при нас, напролом
Совершало подъем мелколосье,
Попирая гнилой бурелом.

Там, как прежде, в фарфоровых гнездах
Колченого хромал телеграф,
И дышал и карабкался воздух,
Грабов головы кверху задрал.

Под прорешливой сенью орехов
Там, как прежде, в петливой красе
По заре вечеревшей проехав,
Колесило и рдело шоссе.

Каждый спуск и подъем что-то чуял,
Каждый столб вспоминал про разбой,
И, всё тулово вытянув, буйвол
Голым дьяволом плыл под арбой.

А вдали, где, как змеи на яйцах,
Тучи в кольца свивались, — грозней,
Чем былые набеги ногайцев,
Стлались цепи китайских тѳней.

То был ряд усыпальниц в завесе
Заметенных снегами путей
За кулисы того поднебесья,
Где томился и мерк Прометей.

Как усопших представшие души,
Были все ледники налицо.
Солнце тут же японскою тушью
Переписывало мертвецов.

И тогда, вчетвером на отвесе,
Как один, заглянули мы вниз.
Мельтеша, точно чернь на эфесе,
В глубине шевелился Тифлис.

Он так полно осмеивал сферу
Глазомера и всё естество,
Что возник и остался химерой,
Точно град не от мира сего.

Точно там, откупаяся данью,
Длился век, когда жизнь замерла
И горячие серные бани
Из-за гор воевал Тамерлан.

Будто вечер, как встарь, его вывел
На равнину под персов обстрел,
Он малиною кровель червивел
И, как древнее войско, пестрел.

1931

* * *

Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающейся раме
Кура ползет атакой газовой
К Арагве, сдавленной горами,
И в августовский свод из мрамора,
Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казненных замков очертанья;

Пока я голову заламываю,
Следя, как шеи укреплений
Плывут по синеве сиреневой
И тонут в бездне поколений,
Пока, сменяя рощи вязовые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
Кавказ, Кавказ, о, что мне делать!

Объятье в тысячу охватов,
Чем обеспечен твой успех?
Здоровый глаз за веко спрятав,
Над чем смеешься ты, Казбек?
Когда от высей сердце ёкает
И гор колышутся кадила,

Ты думаешь, моя далекая,
Что чем-то мне не угодила.
И там, у Альп, в дали Германии,
Где так же чокаются скалы,
Но отклики еще туманнее,
Ты думаешь, — ты оплошала?
Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода,
И мне кроить свою трудней,
Чем резать ножницами воду.
Не бойся снов, не мучься, брось.
Люблю, и думаю, и знаю.
Смотри: и рек не мыслит врозь
Существованья ткань сквозная.

1931

VI

* * *

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.

Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

На старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба.

* * *

Стихи мои, бегом, бегом.
Мне в вас нужда, как никогда.
С бульвара за угол есть дом,
Где дней порвалась череда,
Где пуст уют и брошен труд,
И плачут, думают и ждут.

Где пьют, как воду, горький бром
Полубессонниц, полудрем.
Есть дом, где хлеб как лебеда,
Есть дом, — так вот бегом туда.

Пусть вьюга с улиц улюлю, —
Вы — радугой по хрустально,

Вы — сном, вы — вестью: я вас шлю,
Я шлю вас, значит, я люблю.

О, ссадины вокруг женских шей
От вешавшихся фетишей!
Как я их знаю, как постиг,
Я, вешающийся на них.
Всю жизнь я сдерживаю крик
О видимости их вериг,
Но их одолевает ложь
Чужих похолодевших лож,
И образ Синей Бороды
Сильнее, чем мои труды.

Наследье страшное мещан,
Их посещает по ночам
Несуществующий, как Вий,
Обидный призрак нелюбви,
И привиденьем искажен
Природный жребий лучших жен.

О, как она была смела,
Когда, едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала,
Без прекословий и помех —
Свой детский мир и детский смех,
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела.

1931

VII

* * *

Весеннюю порою льда
И слез, весной бездонной,
Весной бездонною, когда
В Москве — конец сезона,
Вода доходит в холода
По пояс небосклону,
Отходят рано поезда,
Пруды — желто-лимонны,
И проводы, как провода,
Оттянуты в затоны.

Когда ручьи поют романс
О непролазной грязи,
И вечер явно не про нас
Таинственен и черномаз,
И неба безобразье —
Как речь сказителя из масс
И женщин до потопа,
Как обаянье без гримас
И отдых углекопа.

Когда какой-то брод в груди
И лошадю на броне
В нас что-то плачет: пощади,
Как площади отродье.
Но столько в лужах позади
Затопленных мелодий,

Что вставил вал — и заводи
Машину половодья.

Какой в нее мне вставить вал?
Весна моя, не сетуй.
Печали час твоей совпал
С преображеньем света.

Струитесь, черные ручьи.
Родимые, струитесь
Примите в заводи свои
Околицы строительств.

Их марева — как облака
Зарей неторопливой.
Как август жаркие, века
Скопили их наплывы.

В краях заката стоял лед.
И по воде, оттаяв,
Гнездом сполоснутым плывет
Усадьба без хозяев.

Прощальных слез не осуша
И плакав вечер целый,
Уходит с Запада душа,
Ей нечего там делать.

Она уходит, как весной
Лимонной желтизною
Закатной заводи лесной
Пускаются в ночное.

Она уходит в перегной
Потопа, как при Ное,
И ей не боязно одной
Бездонною весною.

Пред нею край, где в поясной
Поклон не вгонят стона,
Из сердца девушки сенной
Не вырежут фестона.
Пред ней заря, пред ней и мной
Зарей желто-лимонной —
Простор, затопленный весной,
Весной, весной бездонной.

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей,
И след поэта — только след
Ее путей, не боле,
И так как я лишь ей задет
И ей у нас раздолье,
То весь я рад сойти на нет
В революционной воле.

О том ведь и веков рассказ,
Как, с красотой не справясь,
Пошли топтать не осмотрясь
Ее живую завязь.
А в жизни красоты как раз
И крылась жизнь красавиц.
Но их дурманил лоботряс
И развивал мерзавец.

Венец творенья не потряс
Участвующих и погряз
Во тьме утаек и прикрас.
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.

1931

*Из книги «На ранних поездах»
1936—1944*

Х У Д О Ж Н И К

1

Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.

Но всем известен этот облик.
Он миг для прятков прозевал.
Назад не повернуть оглобли,
Хотя б и затаясь в подвал.

Судьбы под землю не займать.
Как быть? Неясная сперва,
При жизни переходит в память
Его признавшая молва.

Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?

С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.

Как поселенье на Гольфштреме,
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время
Всё, что ушло за волнолом.

Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.

2

Скромный дом, но рюмка рому
И набросков черный грог.
И взамен камор — хоромы,
И на чердаке — чертог.

От шагов и волн капота
И расспросов — ни следа.
В зарешеченном работой
Своде воздуха — слюда.

Голос, властный, как полюдьё,
Плавит всё наперечет.
В горловой его полуде
Ложек олово течет.

Что́ ему почет и слава,
Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова?

Он на это мебель стопит,
Дружбу, разум, совесть, быт.
На столе стакан не допит,
Век не дожит, свет забыт.

Слитки рифм, как воск гадальный,
Каждый миг меняют вид.
Он детей дыханье в спальной
Паром их благословит.

3

Он встает. Века, Гелаты.
Где-то факелы горят.
Кто провел за ним в палату
Острроверхих шапок ряд?

И еще века. Другие.
Те, что после будут. Те,
В уши чьи, пока тугие,
Шепчет он в своей мечте.

— Жизнь моя средь вас — не очерк.
Этого хоть захлебнись.
Время пощадит мой псчерк
От критических скребниц.

Разве въезд в эпоху заперт?
Пусть он крепость, пусть и храм,
Въеду на коне на паперть,
Лошадь осажу к дзерям.

Не гусяр и не балакирь,
Лошадь взвил я на дыбы,
Чтоб тебя, военный лагерь,
Увидать с высот судьбы.

И, едва поводья тронув,
Порываюсь наугад
В широту твоих прогонов,
Что еще во тьме лежат.

Как гроза, в пути объемля
Жизнь и случай, смерть и страсть,
Ты пройдешь умы и земли,
Чтоб преданьем в вечность впасть.

Твой поход изменит местность.
Под чугун твоих подков,
Размывая бессловесность,
Хлынут волны языков.

Крыши городов дорогой,
Каждой хижины крыльцо,
Каждый тополь у порога
Будут знать тебя в лицо.

1936

ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ

1

Не чувствую красот
В Крыму и на Ривьере,
Люблю речной осот,
Чертополоху верю.

Бесславить бедный Юг
Считает пошлость долгом,
Он ей, как роем мух,
Засижен и оболган.

А между тем и тут
Сырую прелесть мира
Не вынесли на суд
Для нашего блезира.

2

Как кочегар, на бак
Поднявшись, отдыхает, —
Так по ночам табак
В грядках благоухает.

С земли гелиотроп
Передает свой запах
Рассолу флотских роб,
Развешанных на трапах.

В совхозе садовод
Ворочается чаще,
Глаза на небосвод
Из шалаша тараща.

Ночь в звездах, стих норд-ост,
И жерди палисадин
Моргают сквозь нарост
Зрчками виноградин.

Левкой и Млечный Путь
Одною лейкой полит,
И близостью чуть-чуть
Ему глаза мозолит.

3

Дымились, встав от сна,
Пространства за Навтлугом,
Познанья новизна
Была к моим услугам.

Откинув лучший план,
Я ехал с волокитой,
Дорога на Беслан
Была грозой размыта.

Откос пути размяк,
И вспухшая Арагва
Неслась, сорвав башмак
С болтающейся дратвой.

Я видел поутру
С моста за старой мытней
Взбешенную Куру
С машиной стенобитной.

4

За прошлого порог
Не вносят произвола.
Давайте с первых строк
Обнимемся, Паоло!

Ни разу властью схем
Я близких не обидел,
В те дни вы были всем,
Что я любил и видел.

Входили ль мы в квартал
Оружья, кож и сёдел,
Везде ваш дух витал
И мною верховодил.

Уступами террас
Из вьющихся глициний
Я мерил ваш рассказ
И слушал, рот разиня.

Не зная ваших строф,
Но полюбив источник,
Я понимал без слов
Ваш будущий подстрочник.

Я видел, чем Тифлис
Удержан по откосам,
Я видел даль и близь
Кругом под абрикосом.

Он был во весь отвес,
Как книга с фронтисписом,
На языке чудес
Кистями слив исписан.

По склонам цвел анис,
И, высясь пирамидой,
Смотрели сверху вниз
Сады горы Давида.

Я видел блеск светца
Меж кадок с олеандром,
И видел ночь: чтеца
За старым фолиантом.

Меня б не тронул рай
На вольном ветерочке.
Иным мне дорог край
Родившихся в сорочке.

Живут и у озер
Слепые и глухие,
У этих — фантазер
Стал пятою стихией.

Убогие арбы
И хижины без прясел
Он меткостью стрельбы
И шуткою украсил.

Когда во весь свой рост
Встает хребта громада,
Его застольный тост —
Венец ее наряда.

7

Немолчный плеск солей.
Скалистое ущелье.
Стволы густых елей.
Садовый стол под елью.

На свежем шашлыке
Дыханье водопада,
Он тут невдалеке
На оглушенье саду.

На хлебе и жарком
Угар его обвала,
Как пламя кувырком
Упавшего шандала.

От говора ключей,
Сочащихся из скважин,
Тускнеет блеск свечей, —
Так этот воздух влажен.

Они висят во мгле
Сученой ниткой книзу,
Их шум прибит к скале,
Как канделябр к карнизу.

8

Еловый бурелом,
Обрыв тропы овечьей.
Нас много за столом,
Приборы, звезды, свечи.

Как пылкий дифирамб,
Всё затмевая оптом,
Огнем садовых ламп
Тицьян Табидзе обдан.

Сейчас он речь начнет
И мыслью — на прицеле.
Он слово почерпнет
Из этого ущелья.

Он курит, подперев
Рукою подбородок,
Он строг, как барельеф,
И чист, как самородок.

Он плотен, он шатен,
Он смертен, и однако
Таким, как он, Роден
Изобразил Бальзака.

Он в глыбе поселен,
Чтоб в тысяче градаций
Из каменных пелен
Всё явственней рождаться.

Свой непомерный дар
Едва, как свечку, тепля,
Он — пира перегар
В рассветном сером пепле.

9

На Грузии не счесть
Одеж и оболочек.
На свете розы есть.
Я лепесткам не счетчик.

О роза, с синевой
Из радуг и алмазин,
Тягучий роспуск твой,
Как сна течение, связан.

На трубочке чуть свет
Следы ночной примерки.
Ты ярче всех ракет
В садовом фейерверке.

Чуть зной коснется губ,
Ты вся уже в эфире,
Зачатья пышный клуб,
Как пава, расфуфыря.

Но лето на кону,
И ты, не медля часу,
Роняешь всю копну
Обмякшего атласа.

10

Дивясь, как высь жутка,
А Терек дик и мутен,
За пазуху цветка
И я вползал, как трутень.

Лето 1936

П Е Р Е Д Е Л К И Н О

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

У нас весною до зари
Костры на огороде, —
Языческие алтари
На пире плодородья.

Перегорает целина
И парит спозаранку,
И вся земля раскалена,
Как жаркая лежанка.

Я за работой земляной
С себя рубашку скину,

И в спину мне ударит зной
И обожжет, как глину.

Я стану — где сильней припек,
И там, глаза зажмуря,
Покроюсь с головы до ног
Горшечною глазурью.

А ночь войдет в мой мезонин
И, высунувшись в сени,
Меня наполнит, как кувшин,
Водою и сиренью.

Она отмоеет верхний слой
С похолодевших стенок
И даст какой-нибудь одной
Из здешних уроженок.

1941

СОСНЫ

В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.

Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся и снова
Меняем позы и места.

И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болезней, эпидемий
И смерти освобождены.

С намеренным однообразием,
Как мазь, густая синева
Ложится зайчиками наземь
И пачкает нам рукава.

Мы делим отдых красноеся,
Под копошенья мураша
Сосновою снотворной смесью
Лимона с ладаном дыша.

И так неистовы на синем
Разбеги огненных стволов,
И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов,

И столько широты во взоре,
И так покорно всё извне,
Что где-то за стволами море
Мерещится всё время мне.

Там волны выше этих веток,
И, сваливаясь с валуна,
Обрушивают град креветок
Со взбаламученного дна.

А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря

И отливает рыбьим жиром
И мгlistой дымкой янтаря.

Смеркается, и постепенно
Луна хоронит все следы
Под белой магиею пены
И черной магией воды.

А волны всё шумней и выше,
И публика на поплавке
Толпится у столба с афишей,
Неразличимой вдалеке.

1941

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

Корыта и ушаты,
Нескладица с утра,
Дождливые закаты,
Сырые вечера.

Проглоченные слезы
Во вздохах темноты,
И зовы паровоза
С шестнадцатой версты.

И ранние потемки
В саду и на дворе,
И мелкие поломки,
И всё как в сентябре.

А днем простор осенний
Пронизывает вой
Тоскою голошенья
С погоста за рекой.

Когда рыданье вдовье
Относит за бугор,
Я с нею всею кровью
И вижу смерть в упор,

Я вижу из передней
В окно, как всякий год,
Своей поры последней
Отсроченный приход.

Пути себе расчистив,
На жизнь мою с холма
Сквозь желтый ужас листьев
Уставилась зима.

1941

ЗАЗИМКИ

Открыли дверь, и в кухню паром
Вкатился воздух со двора,
И всё мгновенно стало старым,
Как в детстве в те же вечера.

Сухая, тихая погода.
На улице, шагах в пяти,
Стоит, стыдясь, зима у входа
И не решается войти.

Зима — и всё опять впервые.
В седые дали ноября
Уходят ветлы, как слепые
Без палки и поводыря.

Во льду река и мерзлый тальник,
А поперек, на голый лед,
Как зеркало на подзеркальник,
Поставлен черный небосвод.

Пред ним стоит на перекрестке,
Который полужанесло,
Береза со звездой в прическе
И смотрится в его стекло.

Она подозревает втайне,
Что чудесами в решетке
Полна зима на даче крайней,
Как у нее на высоте.

1944

ИНЕЙ

Глухая пора листопада,
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину занянчив,
Пугает ее перед сном.

Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.

Ты завтра очнешься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.

Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопухий
Шутом маскарадным одет.

Всё обледенело с размаху
В папахе до самых бровей
И крадущейся росомахой
Подсматривает с ветвей.

Ты дальше идешь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем,
Решетчатый тес на дверях.

За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна.

Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье
О спящей царевне в гробу.

И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».

1941

ГОРОД

Зима, на кухне пенье петьки,
Метели, вымерзшая клеть
Нам могут хуже горькой редьки
В конце концов осточертеть.

Из чащи к дому нет прохода,
Кругом сугробы, смерть и сон,
И кажется, не время года,
А гибель и конец времен.

Со скользких лестниц лед не сколот,
Колодец кольцами свело.
Каким магнитом в этот холод
Нас тянет в город и тепло!

Меж тем как, не преувелича,
Зимой в деревне нет житья,
Исполнен город безразличья
К несовершенствам бытия.

Он создал тысячи диковин
И может не бояться стуж.
Он сам, как призраки, духовен
Всею тьмой перебивавших душ.

Во всяком случае, поленьям
На станционном тупике
Он кажется таким виденьем
В ночном горящем далеке.

Я тоже чтил его подростком.
Его надменность льстила мне.
Он жизнь веков считал наброском,
Лежавшим до него вчерне.

Он звезды переобезьянил
Вечерней выставкою благ
И даже место неба занял
В моих ребяческих мечтах.

1941

ВАЛЬС С ЧЕРТОВЩИНОЙ

Только слышу польку вдали,
Кажется, вижу в замочную скважину:
Лампы задули, сдвинули стулья,
Пчелками кверху порх фитили, —
Масок и ряженных движется улей.
Это за щелкой елку зажгли.

Великолепие выше сил
Туши, и сепии, и белил,
Синих, пунцовых и золотых
Львов и танцоров, львиц и франтих.

Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей.
Финики, книги, игры, нуга,
Иглы, ковриги, скачки, бега.

В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.
Этого бора вкусный цукат
К шапок разбору рвут нарасхват.
Душно от лакомств. Елка в поту
Клеем и лаком пьет темноту.

Всё разметала, всем истекла,
Вся из металла и из стекла.
Искрится сало, брызжет смола
Звездами в залу и зеркала
И догорает дотла. Мгла.
Мало-помалу толпою усталой
Гости выходят из-за стола.

Шали, и боты, и башлыки.
Вечно куда-нибудь их занастаишь.
Ставни, ворота и дверь на крюки,
В верхнюю комнату форточку настезь.
Улицы зимней синий испуг.
Время пред третьими петухами.
И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя,
Свечка за свечкой явственно вслух:
Фук. Фук. Фук. Фук.

1944

ВАЛЬС СО СЛЕЗОЙ

Как я люблю ее в первые дни —
Только что из лесу или с метели!
Ветки неловкости не одолели.
Нитки ленивые, без суетни,
Медленно переливая на теле,
Виснут серебряною канителью.
Пень под глухой пеленой простыни.

Озолотите ее, осчастливьте —
И не смигнет. Но стыдливая скромница
В фольге лиловой и синей финифти
Вам до скончания века запомнится.
Как я люблю ее в первые дни,
Всю в паутине или в тени!

Только в примерке звезды и флаги
И в бонбоньерки не клали малаги.
Свечки не свечки, даже они
Штифтики грима, а не огни.
Это волнующаяся актриса
С самыми близкими в день бенефиса.
Как я люблю ее в первые дни
Перед кулисами в кучке родни!

Яблоне — яблоки, елочке — шишки.
Только не этой. Эта в покое.
Эта совсем не такого покроя.
Это — отмеченная избранница.
Вечер ее вековечно протянется.

Этой нимало не страшно пословницы.
Ей небывалая участь готовится:
В золоте яблок, как к небу пророк,
Огненной гостьей взмыть в потолок.

Как я люблю ее в первые дни,
Когда о елке толки одни!

1941

НА РАННИХ ПОЕЗДАХ

Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,
По делу в городе бывал.

Я выходил в такое время,
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною тьмью
Свои скрипучие шаги.

Навстречу мне на переезде
Вставали ветлы пустыря.
Надмирно высились созвездья
В холодной яме января.

Обыкновенно у задворок
Меня старался перегнать

Почтовый или номер сорок,
А я шел на́ шесть двадцать пять.

Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг.
Прожектор несся всей машиной
На оглушенный виадук.

В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли, как господа.

Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всем разнообразьи поз,
Читали дети и подростки,
Как заведенные, взасос.

Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
Мы выходили из метро.

Потомство тискалось к перилам
И обдавало на ходу
Черемуховым свежим мылом
И пряниками на меду.

1941

ОПЯТЬ ВЕСНА

Поезд ушел. Насыпь черна.
Где я дорогу впотьмах раздобуду?
Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.
Замер на шпалах лязг чугуна.
Вдруг — что за новая, право, причуда?
Бестолочь, кумушек пересуды.
Что их попутал за сатана?

Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнава, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она,
Это ее чародейство и диво.
Это ее телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льется без умолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.

Это пред ней, заливая преграды,
Тонет в чаду водяном быстрине,
Лампой висячего водопада
К круче с шипеньем пригвождена.
Это, зубами стуча от простуды,
Льется чрез край ледяная струя
В пруд и из пруда в другую посуду.
Речь половодья — бред бытия.

1941

ДРОЗДЫ

На захолустном полустанке
Обеденная тишина.
Безжизненно поют овсянки
В кустарнике у полотна.

Бескрайный, жаркий, как желанье,
Прямой проселочный простор.
Лиловый лес на заднем плане,
Седого облака вихор.

Лесной дорогою деревья
Заигрывают с пристяжной.
По углубленьям на корчевье
Фиалки, снег и перегной.

Наверное, из этих впадин
И пьют дрозды, когда взамен
Раззванивают слухи за день
Огнем и льдом своих колен.

Вот долгий слог, а вот короткий.
Вот жаркий, вот холодный душ.
Вот что выделывают глоткой,
Луженной лоском этих луж.

У них на кочках свой поселок,
Подглядыванье из-за штор,
Шушуканье в углах светелок
И целодневный таратор.

По их распахнутым покоям
Загадки в гласности снуют.
У них часы с дремучим боем,
Им ветви четверти поют.

Таков притон дроздов тенистый.
Они в неубранном бору
Живут, как жить должны артисты.
Я тоже с них пример беру.

1941

СТИХИ О ВОЙНЕ

БОБЫЛЬ

Грустно в нашем саду.
Он день óто дня краше.
В нем и в этом году
Жить бы полною чашей.

Но обитель свою
Разлюбил обитатель.
Он отправил семью,
И в краю неприятель.

И один, без жены,
Он весь день у соседей,
Точно с их стороны
Ждет вестей о победе.

А повадится в сад
И на пункт ополченский,
Так глядит на закат
В направленьи к Смоленску.

Там в вечерней красе
Мимо Вязьмы и Гжатска
Протянулось шоссе
Пятитонкой солдатской.

Он еще не старик
И укор молодежи,
А его дробовик
Лет на двадцать моложе.

1941

СМЕЛОСТЬ

Безыменные герои
Осажденных городов,
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.

В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти пережат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.

Вы ложились на дороге
И у взрытой колени
Спрашивали о подмоге
И не слышно ль, где свои.

А потом, жуя краюху,
По истерзанным полям
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям.

Вы брались рукой умелой —
Не для лести и хвалы,

А с холодным знанием дела —
За ружейные стволы.

И не только жажда мщенья,
Но спокойный глаз стрелка,
Как картонные мишени,
Пробивал врагу бока.

Между тем слепое что-то,
Опьяняя и кружа,
Увлекало вас к пролету
Из глухого блиндажа.

Там в неистовстве наитья
Пела буря с двух сторон.
Ветер вам свистел в прикрытье:
Ты от пуль заворожен.

И тогда, чужие миру,
Не причислены к живым,
Вы являлись к командиру
С предложеньем боевым.

Вам казалось — всё пустое!
Лучше, выиграв, уйти,
Чем бесславно сгнить в застое
Или скиснуть взаперти.

Так рождался победитель:
Вас над пропастью голов
Подвиг уносил в обитель
Громовержцев и орлов.

1941

СТАРЫЙ ПАРК

Мальчик маленький в кроватке,
Бури озверелый рев.
Каркающих стай девятки
Разлетаются с дерев.

Раненому врач в халате
Промывал вчерашний шов.
Вдруг больной узнал в палате
Друга детства, дом отцов.

Вновь он в этом старом парке,
Заморозки по утрам,
И когда кладут припарки,
Плачут стекла первых рам.

Голос нынешнего века
И виденья той поры
Уживаются с опекой
Терпеливой медсестры.

По палате ходят люди.
Слышно хлопанье дверей,
Глухо ухают орудья
Заозерных батарей.

Солнце низкое садится.
Вот оно в затон впилось
И оттуда длинной спицей
Протыкает даль насквозь.

И минуты две оттуда
В выбоины на дворе
Льются волны изумруда,
Как в волшебном фонаре.

Зверской боли крепнут схватки,
Крепнет ветер, озверев,
И летят грачей девятки,
Черные девятки треф.

Вихрь качает липы, скрючив,
Буря гнет их на корню,
И больной под стоны сучьев
Забывает про ступню.

Парк преданьями состарен.
Здесь стоял Наполеон,
И славянофил Самарин
Послужил и погребен.

Здесь потомок декабриста,
Правнук русских героинь,
Бил ворон из монтекристо
И одолевал латынь.

Если только хватит силы,
Он, как дед, энтузиаст,
Прадеда-славянофила
Пересмотрит и издаст.

Сам же он напишет пьесу,
Вдохновенную войной, —

Под немолчный ропот леса,
Лежа, думает больной.

Там он жизни небывалой
Невообразимый ход
Языком провинциала
В строй и ясность приведет.

1941

ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ

Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
Под слезы ребенка капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.

Домишки в озерах очутятся.
Над ними закурятся трубы.
В холодных объятьях распутицы
Сойдутся к огню жизнелюбы.

Обитатели севера строгого,
Накрытые небом, как крышей!
На вас, захолустные логова,
Написано: «Сим победиши».

Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней.

Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Вы с детства любимую книгою
Как бы на середке открыты.

И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.

Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.

Октябрь 1943

СМЕРТЬ САПЕРА

Мы время по часам заметили
И кверху поползли по склону.
Вот и обрыв. Мы без свидетелей
У края вражьей обороны.

Вот там она, и там, и тут она —
Везде, везде, до самой кручи,
Как паутиною опутана
Вся проволокою колючей.

Он наших мыслей не подслушивал
И не заглядывал нам в душу.

Он из конюшни вниз обрушивал
Свой бешеный огонь по Зуше.

Прожекторы, как ножки циркуля,
Лучом вонзались в коновязи.
Прямые попаданья фыркали
Фонтанами земли и грязи.

Но чем обстрел дымил багровее,
Тем равнодушнее к осколкам,
В спокойствии и хладнокровии
Работали мы тихомолком.

Со мною были люди смелые.
Я знал, что в проволочной чаще
Проходы нужные проделаю
Для битвы, завтра предстоящей.

Вдруг одного сапера ранило.
Он отползал от вражьих линий,
Привстал, и дух от боли заняло,
И он упал в густой полыни.

Он приходил в себя урывками,
Осматривался на пригорке
И щупал место под нашивками
На почерневшей гимнастерке.

И думал: глупость, оцарапали,
И он отвалит от Казани,

К жене и детям, вверх к Сарапулю, —
И вновь и вновь терял сознание.

Всё в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья, —
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.

Хоть землю грыз от боли раненый,
Но столами не выдал братьев,
Врожденной стойкости крестьянина
И в обмороке не утратив.

Его живым успели вынести.
Час продышал он через силу.
Хотя за речкой почва глинистей,
Там вырыли ему могилу.

Когда, убитые потерю,
К нему сошлись мы на прощанье,
Заговорила артиллерия
В две тысячи своих гортаней.

В часах задвигались колесики.
Проснулись рычаги и шкивы.
К проделанной покойным просеке
Шагнула армия прорыва.

Сраженье хлынуло в пробойну
И выкатилось на равнину,

Как входит море в край застроенный,
С разбега проломив плотину.

Пехота шла вперед маршрутами,
Как их располагал умерший.
Поздней немногими минутами
Противник дрогнул у Завершья.

Он оставлял снарядов штабели,
Котлы дымящегося супа,
Всё, что обозные награбили,
Палатки, ящики и трупы.

Потом дорогою завещанной
Прошло с победами всё войско.
Края расширившейся трещины
У Криворожья и Пропойска.

Мы оттого теперь у Гомеля,
Что на поляне в полнолуние
Своей души не сэкономили
В пластунском деле накануне.

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.

Декабрь 1943

НЕОГЛЯДНОСТЬ

Непобедимым — многолетье,
Прославившимся — исполать!
Раздолье жить на белом свете,
И без конца морская гладь.

И русская судьба безбрежней,
Чем может грезиться во сне,
И вечно остается прежней
При небывалой новизне.

И на одноименной грани
Ее поэтов похвала,
Историков ее преданья
И армии ее дела.

И блеск ее морского флота,
И русских сказок закрома,
И гении ее полета,
И небо, и она сама.

И вот на эту ширь раздолья
Глядят из глубины веков
Нахимов в звездном ореоле
И в медальоне — Ушаков.

Вся жизнь их — подвиг неустанный.
Они, не пожалев сердец,
Сверкают темой для романа
И дали чести образец.

Их жизнь не промелькнула мимо,
Не затерялась вдалеке.
Их след лежит неизгладимо
На времени и моряке.

Они живут свежо и пылко,
Распорядительны без слов,
И чувствуют родную жилку
В горячке гордых парусов.

На боевой морской арене
Они из дымовых завес
Стрелой бросаются в сраженье
Противнику наперез.

Бегут в расстройстве стаи турок.
За ночью следует рассвет.
На рейде тлеет, как окурок,
Турецкий тонущий корвет.

И, все препятствия осилив,
Ширяет флагманский фрегат,
Размахом вытянутых крыльев
Уже не ведая преград.

1944

ОЖИВШАЯ ФРЕСКА

Как прежде, падали снаряды.
Высокое, как в дальнем плаваньи,
Ночное небо Сталинграда
Качалось в штукатурном саване.

Земля гудела, как молебен
Об отвращеньи бомбы воющей,
Кадилаицею дым и щебенъ
Выбрасывая из побоища.

Когда урывками, меж схваток,
Он под огнем своих проводывал,
Необъяснимый отпечаток
Привычности его преследовал.

Где мог он видеть этот ежик
Домов с бездонными проломами?
Свидетельства былых бомбежек
Казались сказочно знакомыми.

Что означала в черной раме
Четырехпалая отметина?
Кого напоминало пламя
И выломанные паркетины?

И вдруг он вспомнил детство, детство,
И монастырский сад, и грешников,
И с общиною по соседству
Свист соловьев и пересмешников.

Он мать сжимал рукой сыновней,
И от копья архистратига ли
По темной росписи часовни
В такие ямы черти прыгали.

И мальчик облакался в латы,
За мать в воображеньи ратуа,

И налетал на супостата
С такой же свастикой хвостатою.

А рядом в конном поединке
Сиял над змеем лик Георгия,
И на пруду цвели кувшинки,
И птиц безумствовали оргии.

И родина, как голос пуши,
Как зов в лесу и грохот отзыва,
Манила музыкой зовущей
И пахла почкою березовой.

О, как он вспомнил те полянки
Теперь, когда своей погонею
Он топчет вражеские танки
С их грозной чешуей драконью!

Он перешел земли границы,
И будущность, как ширь небесная,
Уже бушует, а не снится,
Приблизившаяся, чудесная.

1944

В НИЗОВЬЯХ

Илистых плавней желтый янтарь,
Блеск чернозема.
Жители чинят снасть, инвентарь,
Лодки, паромы.
В этих низовьях ночи — восторг,
Светлые зори.

Пеной по отмели шорх-шорх
Черное море.
Птица в болотах, по рекам — налим,
Уймища раков.
В том направлении берегом — Крым,
В этом — Очаков.
За Николаевом книзу — лиман.
Вдоль поднебесья
Степью на запад — зыбь и туман.
Это к Одессе.
Было ли это? Какой это стиль?
Где эти годы?
Можно ль вернуть эту жизнь, эту быль,
Эту свободу?
Ах, как скучает по пахоте плуг,
Пашня — по плугу,
Море — по Бугу, по северу — юг,
Все — друг по другу!
Миг долгожданный уже на виду,
За поворотом.
Дали предчувствуют. В этом году —
Слово за флотом.

1944

ПОБЕДИТЕЛЬ

Вы помните еще ту сухость в горле,
Когда, бряцая голой силой зла,
Навстречу нам горланили и перли
И осень шагом испытаний шла?

Но правота была такой оградой,
Которой уступал любой доспех.
Всё воплотила участь Ленинграда.
Стеной стоял он на глазах у всех.

И вот пришло заветное мгновенье:
Он разорвал осадное кольцо.
И целый мир, столпившись в отдаленьи,
В восторге смотрит на его лицо.

Как он велик! Какой бессмертный жребий!
Как входит в цепь легенд его звено!
Всё, что возможно на земле и небе,
Им вынесено и совершено.

1944

ВЕСНА

Всё нынешней весной особое.
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.

Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобожденных территорий.

Весеннее дыханье родины
Смывает след зимы с пространства
И черные от слез обводины
С заплаканных очей славянства.

Везде трава готова вылезти,
И улицы старинной Праги
Молчат, одна другой извилистей,
Но заиграют, как овраги.

Сказанья Чехии, Моравии
И Сербии с весенней негой,
Сорвавши пелену бесправия,
Цветами выйдут из-под снега.

Всё дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золоченой горнице
И на Василии Блаженном.

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвести столетье.

1944

Из книги «Когда разгуляется»

1956—1959

Un livre est un grand cimetière où sur la plupart des tombes on ne peut plus lire les noms effacés.

*Marcel Proust*¹

* * *

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Всё время схватывая нить
Судеб, событий,

¹ Книга — это большое кладбище, где на многих плитах нельзя уже прочесть стертые имена. *Марсель Пруст* (франц.). — *Ред.*

Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытия.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,
Ее начало
И повторял ее имен
Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
Живое чүдо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.

Достигнутого торжества
Игра и мука —
Натянутая тетива
Тугого лука.

* * *

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только — до конца.

ЕВА

Стоят деревья у воды,
И полдень с берега крутого
Закинул облака в пруды,
Как переметы рыболова.

Как невод, тонет небосвод,
И в это небо, точно в сети,
Толпа купальщиков плывет —
Мужчины, женщины и дети.

Пять-шесть купальщиц в лозняке
Выходят на берег без шума
И выжимают на песке
Свои купальные костюмы.

И наподобие ужей
Ползут и вьются кольца пряжи,
Как будто искуситель-змея
Скрывался в мокром трикотаже.

О женщина, твой вид и взгляд
Ничуть меня в тупик не ставят.
Ты вся — как горла перехват,
Когда его волненье сдавит.

Ты создана как бы вчерне,
Как строчка из другого цикла,
Как будто не шутя во сне
Из моего ребра возникла.

И тотчас вырвалась из рук
И выскользнула из объятий,
Сама — смятенье и испуг
И сердца мужеского сжатье.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся огонь, вся горенье.
Дай запрю я твою красоту
В темном тереме стихотворенья.

Посмотри, как преображена
Огневой кожурой абажура
Конура, край стены, край окна,
Наши тени и наши фигуры.

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки.
Всё равно, на свету, в темноте,
Ты всегда рассуждаешь по-детски.

Замечтавшись, ты нижешь на шнур
Горсть на платье скатившихся бусин.
Слишком грустен твой вид, чересчур
Разговор твой прямой безыскусен.

Пошло слово любовь, ты права,
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.

Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь,
Сердца тайно светящийся пласт?
Ну так что же глаза ты печалишь?

ВЕСНА В ЛЕСУ

Отчаянные холода
Задерживают таянье.
Весна позднее, чем всегда,
Но и зато нечаянней.

С утра амуруется петух,
И нет прохода курице.
Лицом поворотясь на юг,
Сосна на солнце жмурится.

Хотя и парит и печет,
Еще недели целые
Дороги сковывает лед
Корою почернелюю.

В лесу еловый мусор, хлам
И снегом всё завалено.
Водою с солнцем пополам
Затоплены проталины.

И небо в тучах, как в пуху,
Над грязной вешней жижицей
Застряло в сучьях наверху
И от жары не движется.

ИЮЛЬ

По дому бродит привиденье.
Весь день шаги над головой.
На чердаке мелькают тени.
По дому бродит домовой.

Везде болтается некстати,
Мешается во все дела,
В халате кра́дется к кровати,
Срывает скатерть со стола.

Ног у порога не обтерши,
Вбегает в вихре сквозняка
И с занавеской, как с танцоршей,
Взвивается до потолка.

Кто этот баловник-невежа
И этот призрак и двойник?

Да это наш жилец приезжий,
Наш летний дачник-отпускник.

На весь его недолгий роздых
Мы целый дом ему сдаем.
Июль с грозой, июльский воздух
Снял комнаты у нас внаем.

Июль, таскающий в оде́же
Пух одуванчиков, лопух,
Июль, домой сквозь окна входящий,
Всё громко говорящий вслух.

Степной нечесаный растреп,
Пропахший липой и травой,
Ботвой и запахом укропа,
Июльский воздух луговой.

ПО ГРИБЫ

Плетемся по грибы.
Шоссе. Леса. Канавы.
Дорожные столбы
Налево и направо.

С широкого шоссе
Идем во тьму лесную.
По щиколку в росе
Плутаем врассыпную.

А солнце под кусты
На грузди и волнушки
Через дебри темноты
Бросает свет с опушки.

Гриб прячется за пень,
На пень садится птица.
Нам вехой — наша тень,
Чтобы с пути не сбиться.

Но время в сентябре
Отмерено так куце:
Едва ль до нас заре
Сквозь чащу дотянуться.

Набиты кузовки,
Наполнены корзины.
Одни боровики
У доброй половины.

Уходим. За спиной
Стеною лес недвижимый,
Где день в красе земной
Сгорел скоропостижно.

ТИШИНА

Пронизан солнцем лес насквозь.
Лучи стоят столбами пыли.
Отсюда, уверяют, лось
Выходит на дорог развилье.

В лесу молчанье, тишина,
Как будто жизнь в глухой лощине
Не солнцем заморожена,
А по совсем другой причине.

Действительно, невдалеке
Средь заросли стоит лосиха.
Пред ней деревья в столбняке.
Вот отчего в лесу так тихо.

Лосиха ест лесной подсед,
Хрустя, обгладывает молодь.
Задевши за ее хребет,
Болтается на ветке желудь.

Иван-да-марья, зверобой,
Ромашка, иван-чай, татарник,
Опутанные ворожкой,
Глазеют, обступив кустарник.

Во всем лесу один ручей
В овраге, полном благозвучья,
Твердит то тише, то звончей
Про этот небывалый случай.

Звеня на всю лесную падь
И оглашая лесосеку,
Он что-то хочет рассказать
Почти словами человека.

СТОГА

Снуют пунцовые стрекозы,
Летят шмели во все концы,
Колхозницы смеются с возу,
Проходят с косами косцы,

Пока хорошая погода,
Гребут и ворошат корма
И складывают до захода
В стога величиной с дома.

Стог принимает на закате
Вид постоянного двора,
Где ночь ложится на полати
В накошенные клевера.

К утру, когда потемки реже,
Стог высится, как сеновал,
В котором месяц мимоезжий,
Зарывшись, переночевал.

Чем свет телега за телегой
Лугами катятся впотьмах.
Наставший день встает с ночлега
С трухой и сеном в волосах.

А в полдень вновь синеют выси.
Опять стога как облака,
Опять, как водка на анисе,
Земля душиста и крепка.

ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ

Ворота с полукруглой аркой.
Холмы, луга, леса, овсы.
В ограде мрак и холод парка,
И дом невиданной красоты.

Там липы в несколько обхватов
Справляют в сумраке аллей,
Вершины друг за друга спрятав,
Свой двухсотлетний юбилей.

Они смыкают сверху своды.
Внизу — лужайка и цветник,
Который правильные ходы
Пересекают напрямик.

Под липами, как в подземельи,
Ни светлой точки на песке,
И лишь отверстием туннеля
Светлеет выход вдалеке.

Но вот приходят дни цветенья,
И липы в поясе оград
Разбрасывают вместе с тенью
Неотразимый аромат.

Гуляющие в летних шляпах
Вдыхают, кто бы ни прошел,
Непостижимый этот запах,
Доступный пониманью пчел.

Он составляет в эти миги,
Когда он за сердце берет,
Предмет и содержание книги,
А парк и клумбы — переплет.

На старом дереве громоздком,
Завешивая сверху дом,
Горят, закапанные воском,
Цветы, зажженные дождем.

КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ

Большое озеро как блюдо.
За ним — скопление облаков,
Нагроможденных белой грудой
Суровых горных ледников.

По мере смены освещения
И лес меняет колорит,
То весь горит, то черной тенью
Насевшей копоты покрыт.

Когда в исходе дней дождливых
Меж туч проглянет синева,
Как небо празднично в прорывах,
Как торжества полна трава!

Стихает ветер, даль расчистив.
Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев,
Как живопись в цветном стекле.

В церковной росписи оконниц
Так в вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц
Святые, схимники, цари.

Как будто внутренность собора
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою!

ХЛЕБ

Ты выводы копишь полвека,
Но их не занозишь в тетрадь.
И если ты сам не калека,
То должен был что-то понять.

Ты понял блаженство занятий,
Удачи закон и секрет.
Ты понял, что праздность — проклятье
И счастья без подвига нет.

Что ждет алтарей, откровений,
Героев и богатырей
Дремучее царство растений,
Могучее царство зверей.

Что первым таким откровеньем
Остался в сцепленьи судеб
Прапращуром в дар поколеньям
Взращенный столетьями хлеб.

Что поле во ржи и пшенице
Не только зовет к молотье,
Но некогда эту страницу
Твой предок вписал о тебе.

Что это и есть его слово,
Его небывалый почин
Средь круговращенья земного,
Рождений, скорбей и кончин.

ОСЕННИЙ ЛЕС

Осенний лес заволосател.
В нем тень, и сон, и тишина.
Ни белка, ни сова, ни дятел
Его не будят ото сна.

И солнце, по тропам осенним
В него входя на склоне дня,
Кругом косится с опасеньем,
Не скрыта ли в нем западня.

В нем топи, кочки, и осины,
И мхи, и заросли ольхи,
И где-то за лесной трясиной
Поют в селеньи петухи.

Петух свой окрик прогорланит,
И вот он вновь надолго смолк,
Как будто он раздумьем занят,
Какой в запевке этой толк.

Но где-то в дальнем закоулке
Прокукарекает сосед.
Как часовой из караулки,
Петух откликнется в ответ.

Он отзовется словно эхо,
И вот за петухом петух
Отметят глоткою, как вехой,
Восток и запад, север, юг.

По петушиной перекличке
Расступится к опушке лес
И вновь увидит с непривычки
Поля и даль и синь небес.

ЗАМОРОЗКИ

Холодным утром солнце в дымке
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке,
Совсем неотличим ему.

Пока оно из мглы не выйдет,
Блеснув за прудом на лугу,
Меня деревья плохо видят
На отдаленном берегу.

Прохожий узнается позже,
Чем он пройдет, нырнув в туман.
Мороз покрыт гусиной кожей,
И воздух лжив, как слой румян.

Идешь по инею дорожки,
Как по настилу из рогож.
Земле дышать ботвой картошки
И стынуть больше невтерпеж.

НОЧНОЙ ВЕТЕР

Стихли песни и пьяный галдеж.
Завтра надо вставать спозаранок.
В избах гаснут огни. Молодежь
Разошлась по домам с погулянок.

Только ветер бредет наугад
Всё по той же заросшей тропинке,
По которой с толпою ребят
Восвояси он шел с вечеринки.

Он за дверью поник головой.
Он не любит ночных катавасий.
Он бы кончить хотел мировой
В споре с ночью свои несогласья.

Перед ними — заборы садов.
Оба спорят, не могут уняться.
За разборками их неладов
На дороге деревья толпятся.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой,
Как венец на новобрачной.
Лик березы под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах,

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный,

Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный,

Где звучит в конце аллея
Эхо у крутого спуска,
И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружия,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

НЕНАСТЬЕ

Дождь дороги заболотил.
Ветер режет их стекло.
Он платок срывает с ветел
И стрижет их наголо.

Листья шлепаются оземь.
Едут люди с похорон.
Потный трактор пашет озимь
В восемь дисковых борон.

Черной вспаханною зябью
Листья залетают в пруд
И по возмущенной ряби
Кораблями в ряд плывут.

Брызжет дождик через сито.
Крепнет холода напор.
Точно всё стыдом покрыто,
Точно в осени — позор.

Точно срам и поруганье
В стаях листьев и ворон
И дожде и урагане,
Хлещущих со всех сторон.

ТРАВА И КАМНИ

С действительностью иллюзию,
С растительностью гранит
Так сблизили Польша и Грузия,
Что это обеих роднит.

Как будто весной в Благовещенье
Им милости возвещены
Землей — в каждой каменной трещине,
Травой — из-под каждой стены.

И те обещанья подхвачены
Природой, трудами их рук,
Искусствами, всякою всячиной,
Развьем ремесл и наук.

Побегами жизни и зелени,
Развалинами старины,
Землей — в каждой мелкой расселине,
Травой — из-под каждой стены.

Следами усердья и праздности,
Беседою, бьющей ключом,
Речами про разные разности,
Пустой болтовней ни о чем.

Пшеницей в полях выше сáжени,
Сходящейся над головой,
Землей — в каждой каменной скважине.
Травой — в половине кривой.

Душистой густой повиликою,
Столетиями, вверх по кусту,
Обвиншей былое великое
И будущего красоту.

Сиренью, двойными оттенками
Лиловых и белых кистей
Пестреющей между простенками
Осыпавшихся крепостей.

Где люди в родстве со стихиями,
Стихии в соседстве с людьми,
Земля — в каждом каменном выеме,
Трава — перед всеми дверьми.

Где с гордою лирой Мицкевича
Таинственно слился язык
Грузинских цариц и царевичей
Из девичьих и базилик.

НОЧЬ

Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.

Он потонул в тумане,
Исчез в его струе,
Став крестиком на ткани
И меткой на белье.

Под ним ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда.

Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.
Блуждают, сбившись в кучу,
Небесные тела.

И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный Путь.

В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.

В Париже из-под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.

Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке

На крытом черепицей
Старинном чердаке.

Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну, —
Ты — вечности заложник
У времени в плену!

ВЕТЕР

(Четыре отрывка о Блоке)

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим,
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.

Не знал бы никто, может статья,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На всё проливающих свет.

Но Блок, слава богу, иная,
Иная, по счастью, статья.
Он к нам не спускался с Синая,
Нас не принимал в сыновья.

Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.

Он ветрен, как ветер. Как ветер,
Шумевший в имени в дни,
Как там еще Филька-фалетер¹
Скакал в голове шестерни.

И жил еще дед-якобинец,
Кристалльной души радикал,
От коего ни на мизинец
И ветреник внук не отстал.

Тот ветер, проникший под ребра
И в душу, в течение лет
Недоброю славой и доброй
Помянут в стихах и воспет.

Тот ветер повсюду. Он — дома,
В деревьях, в деревне, в дожде,
В поэзии третьего тома,
В «Двенадцати», в смерти — везде.

¹ Форейтор в старом народном произношении.

Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.
Пора сенокоса, толока,
Страда, суматоха вокруг.
Косцам у речного протока
Заглядываться недосуг.
Косьба разохотила Блока,
Схватил косовище барчук.
Ежа чуть не ранил с наскоку,
Косой полоснул двух гадюк.

Но он не доделал урока.
Упреки: лентяй, лежебока!
О, детство! О, школы морока!
О, песни пололок и слуг!

А к вечеру тучи с востока.
Обложены север и юг.
И ветер жестокий не к сроку
Влетает и режется вдруг
О косы косцов, об осоку,
Резучую гущу излук.

О, детство! О, школы морока!
О, песни пололок и слуг!
Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.

Зловещ горизонт и внезапен,
И в кровоподтеках заря,
Как след незаживших царапин
И кровь на ногах косаря.

Нет счета небесным порезам,
Предвестникам бурь и невзгод,
И пахнет водой, и железом,
И ржавчиной воздух болот.

В лесу, на дороге, в овраге,
В деревне или на селе,
На тучах такие зигзаги
Сулят непогоду земле.

Когда ж над большою столицей
Край неба так ржав и багрян,
С державою что-то случится,
Постигнет страну ураган.

Блок на́ небе видел разводы.
Ему предвещал небосклон
Большую грозу, непогоду,
Великую бурю, циклон.

Блок ждал этой бури и встряски.
Ее огневые штрихи
Боязнью и жаждой развязки
Легли в его жизнь и стихи.

ДОРОГА

То насыпью, то глубию лога,
То по прямой за поворот
Змеится лентою дорога
Безостановочно вперед.

По всем законам перспективы
За придорожные поля
Бегут мощные извивы,
Не слякотя и не пыля.

Вот путь перебежал плотину,
На пруд не посмотревши вбок,
Который выводок утиный
Переплывает поперек.

Вперед то под гору, то в гору
Бежит прямая магистраль,
Как разве только жизни впору
Всё время рваться вверх и вдаль.

Чрез тысячи фантасмагорий,
И местности и времена,
Через преграды и подспорья
Несется к цели и она.

А цель ее в гостях и дома —
Всё пережить и всё пройти,
Как оживляют даль изломы
Мимоидущего пути.

В БОЛЬНИЦЕ

Стояли, как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втокнули в машину.
В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.

Его положили у входа.
Всё в корпусе было полно.
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.

Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена

Была точно искрой пожарной
Из города озарена.

Там в зареве рдела застава
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.

«О господи, как совершенны
Дела твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознать.

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделие,
И прячешь, как перстень, в футляр».

МУЗЫКА

Дом высился, как каланча.
По тесной лестнице угольной
Несли рояль два силача,
Как колокол на колокольню.

Они тащили вверх рояль
Над ширью городского моря,
Как с заповедями скрижаль
На каменное плоскогорье.

И вот в гостиной инструмент,
И город в свисте, шуме, гаме,
Как под водой на дне легенд,
Внизу остался под ногами.

Жилец шестого этажа
На землю посмотрел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой,
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке пюпитра.

Или, опередивши мир
На поколения четыре,
По крышам городских квартир
Грозой гремел полет валькирий.

Или консерваторский зал
При адском грохоте и треске
До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

Три месяца тому назад,
Лишь только первые метели
На наш незащищенный сад
С остервененьем налетели,

Прикинул тотчас я в уме,
Что я укроюсь, как затворник,
И что стихами о зиме
Пополню свой весенний сборник.

Но навалились пустяки
Горой, как снежные завалы.
Зима, расчетам вопреки,
Наполовину миновала.

Тогда я понял, почему
Она во время снегопада,
Снежинками пронзая тьму,
Заглядывала в дом из сада.

Она шептала мне: «Спеши!» —
Губами, белыми от стужи,
А я чинил карандаши,
Отшучиваясь неуклюже.

Пока под лампой у стола
Я медлил зимним утром ранним,
Зима явилась и ушла
Непонятым напоминаньем.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Снаружи вьюга мечется
И всё заносит в лоск.
Засыпана газетчица,
И заметен киоск.

На нашей долгой бытности
Казалось нам не раз,
Что снег идет из скрытности
И для отвода глаз.

Утайщик нераскаянный,
Под белой бахромой
Как часто вас с окраины
Он разводил домой!

Всё в белых хлопьях скроется,
Залепит снегом взор, —
На ощупь, как пропойца,
Проходит тень во двор.

Движения поспешные:
Наверное, опять
Кому-то что-то грешное
Приходится скрывать.

СНЕГ ИДЕТ

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

Снег идет, и всё в смятеньи,
Всё пускается в полет,
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься, и — святки.
Только промежутки краткий,
Смотришь, там и Новый год.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?

Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет
Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,
Снег идет, и всё в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

Полями наискось к закату
Уходят девушек следы.
Они их валенками вмяты
От слободы до слободы.

А вот ребенок жался к мамке.
Луч солнца, как лимонный морс,

Затек во впадины и ямки
И лужей света в льдину вмерз.

Он стынет вытекшею жижей
Яйца в разбитой скорлупе,
И синей линией лыжи
Его срезают на тропе.

Луна скользит блином в сметане,
Всё время скатываясь вбок.
За ней бегут вдогонку сани,
Но не дается колобок.

ПОСЛЕ ВЬЮГИ

После угмонившейся вьюги
Наступает в округе покой.
Я прислушиваюсь на досуге
К голосам детворы за рекой.

Я, наверно, не прав, я ошибся,
Я ослеп, я лишился ума.
Белой женщиной мертвой из гипса
Наземь падает навзничь зима.

Небо сверху любит лепкой
Мертвых, крепко придавленных век.
Всё в снегу: двор и каждая щепка,
И на дереве каждый побег.

Лед реки, переезд и платформа,
Лес, и рельсы, и насыпь, и ров
Отлились в безупречные формы
Без неровностей и без углов.

Ночью, сном не успевши забыться,
В просветленьи вскочивши с софы,
Целый мир уложить на странице,
Уместиться в границах строфы.

Как изваяны пни и коряги,
И кусты на речном берегу,
Море крыш возвести на бумаге,
Целый мир, целый город в снегу.

ВАКХАНАЛИЯ

Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет, и служба идет.

Лбы молящихся, ризы
И старух шушуны
Свечек пламенем снизу
Слабо озарены.

А на улице вьюга
Всё смешала в одно,
И пробиться друг к другу
Никому не дано.

В завываньи бурана
Потонули: тюрьма,
Экскаваторы, краны,
Новостройки, дома,

Ключья репертуара
На афишном столбе
И деревья бульвара
В серебристой резьбе.

И великой эпохи
След на каждом шагу —
В толчее, в суматохе,
В метках шин на снегу,

В ломке взглядов, — симптомах
Вековых перемен, —
В наших добрых знакомых,
В тучах мачт и антенн,

На фасадах, в костюмах,
В простоте без прикрас,
В разговорах и думах,
Умиляющих нас,

И в значеньи двояком
Жизни, бедной на взгляд,
Но великой под знаком
Понесенных утрат.

«Зимы», «зисы» и «татры»,
Сдвинув полосы фар,
Подъезжают к театру
И спелят тротуар.

Затерявшись в метели,
Перекупщики мест
Осаждают без цели
Театральный подъезд.

Все идут вереницей,
Как сквозь строй алебард,
Торопясь протесниться
На «Марию Стюарт».

Молодежь по записке
Добывает билет
И великой артистке
Шлет горячий привет.

За дверьми еще драка,
А уж средь темноты
Вырастают из мрака
Декораций холсты.

Словно выбежав с танцев
И покинув их круг,
Королева шотландцев
Появляется вдруг.

Всё в ней жизнь, всё свобода,
И в груди колотье,
И тюремные своды
Не сломили ее.

Стрекозою такую
Родила ее мать —
Ранить сердце мужское,
Женской лаской пленять.

И за это, быть может,
Как огонь горяча,
Дочка голову сложит
Под рукой палача.

В юбке пепельно-сизой
Села с краю за стол.
Рампа яркая снизу
Льет ей свет на подол.

Нипочем вертихвостке
Похождений угар,
И стихи, и подмости,
И Париж, и Ронсар.

К смерти приговоренной,
Что ей пища и кров,
Рвы, форты, бастионы,
Пламя рефлекторов?

Но конец героини
До скончания времен
Будет славой отныне
И молвой окружен.

То же бешенство риска,
Та же радость и боль
Слили роль и артистку,
И артистку и роль.

Словно буйство премьерши
Через столько веков
Помогает умершей
Убежать из оков.

Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,

Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено,

Как игралось подростку
На народе простом
В белом платье в полоску
И с косою жгутом.

И опять мы в метели,
А она всё метет,
И в церковном приделе
Свет, и служба идет.

Где-то зимнее небо,
Проходные дворы,
И окно ширпотреба
Под горой мишуры.

Где-то пир. Где-то пьянка.
Именинный кутеж.
Мехом вверх, наизнанку,
Свален ворох одеж.

Двери с лестницы в сени,
Смех и мнений обмен.
Три корзины сирени.
Ледяной цикламен.

По соседству в столовой
Зелень, горы икры,
В сервировке лиловой
Семга, сельди, сыры,

И хрустенье салфеток,
И приправ острота,
И вино всех расцветок,
И всех водок сорта.

И под говор стоустый
Люстра топит в лучах

Плечи, спины и бюсты,
И сережки в ушах.

И смертельной картечи
Эти линии рта,
Этих рук бессердечье,
Этих губ доброта.

И на эти-то дива
Глядя как маниак,
Кто-то пьет молчаливо
До рассвета коньяк.

Уж над ним межеумки
Проливают слезу.
На шестнадцатой рюмке
Ни в одном он глазу.

За собою упрочив
Право зваться немым,
Он среди женщин — находчив,
Среди мужчин — нелюдим.

В третий раз разведенец
И дожив до седин,
Жизнь своих современниц
Оправдал он один.

Дар подруг и товарок
Он пустил в оборот
И вернул им в подарок
Целый мир в свой черед.

Но для первой же юбки
Он порвет повода,
И какие поступки
Совершит он тогда!

Средь гостей танцовщица
Помирает с тоски.
Он с ней рядом садится,
Это ведь двойники.

Эта тоже открыто
Может лечь на ура
Королевой без свиты
Под удар топора.

И свою королеву
Он на лестничный ход
От печей перегрева
Освежиться ведет.

Хорошо хризантеме
Стыть на стуже в цвету.
Но назад уже время —
В духоту, в тесноту.

С табаком в чайных чашках,
Весь в окурках буфет.
Стол в конфетных бумажках.
Наступает рассвет.

И своей балерине,
Перетянутой так,
Точно стан на пружине,
Он шнурует башмак.

Между ними особый
Распорядок с утра,
И теперь они оба
Точно брат и сестра.

Перед нею в гостиной
Не встает он с колен.
На дела их картины
Смотрят строго со стен.

Впрочем, что им, бесстыжим,
Жалость, совесть и страх
Пред живым чернокнижьем
В их горячих руках?

Море им по колено,
И в безумьи своем
Им дороже вселенной
Миг короткий вдвоем.

Цветы ночные утром спят,
Не прошибает их поливка,
Хоть выкати на них ушат.
В ушах у них два-три обрывка
Того, что тридцать раз подряд
Пел телефонный аппарат.

Так спят цветы садовых гряд
В плену своих ночных фантазий.
Они не помнят безобразья,
Творившегося час назад.
Состав земли не знает грязи.
Всё очищает аромат,
Который льет без всякой связи
Десяток роз в стеклянной вазе.
Прошло ночное торжество.
Забыты шутки и проделки.
На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.

ЗА ПОВОРОТОМ

Насторожившись, начеку
У входа в чашу,
Щебечет птичка на суку
Легко, маняще.

Она щебечет и поет
В преддверьи бора,
Как бы оберегая вход
В лесные норы.

Под нею — сучья, бурелом,
Над нею — тучи,
В лесном овраге, за углом, —
Ключи и кручи.

Нагроможденьем пней, колод
Лежит валежник.
В воде и холоде болот
Цветет подснежник.

А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады
И не пускает на порог
Кого не надо.

За поворотом, в глубине
Лесного лога,
Готово будущее мне
Верней залога.

Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Всё вглубь, всё настезь.

ВСЁ СБЫЛОСЬ

Дороги превратились в кашу.
Я пробираюсь в стороне.
Я с глиной лед, как тесто, квашу,
Плетусь по жидкой размазне.

Крикливо пролетает сойка
Пустующим березняком.
Как неготовая постройка,
Он высится порожняком.

Я вижу сквозь его пролеты
Всю будущую жизнь насквозь.
Всё до мельчайшей доли сотой
В ней оправдалось и сбылось.

Я в лес вхожу, и мне не к спеху.
Пластами оседает наст.
Как птице, мне ответит эхо.
Мне целый мир дорогу даст.

Среди размокшего суглинка,
Где обнажился голый грунт,
Щебечет птичка под сурдинку
С пробелом в несколько секунд.

Как музыкальную шкатулку,
Ее подслушивает лес,
Подхватывает голос гулко
И долго ждет, чтоб звук исчез.

Тогда я слышу, как верст за́ пять,
У дальних землемерных вех,
Хрустят шаги, с деревьев капит
И шлепается снег со стрех.

ПАХОТА

Что случилось с местностью всегдашней?
С земли и неба стерта грань.
Как клетки шашечницы, пашни
Раскинулись, куда ни глянь.

Пробороненные просторы
Так гладко улеглись вдали,
Как будто выровняли горы
Или равнину подмели.

И в те же дни единым духом
Деревья по краям борозд
Зазеленели первым пухом
И выпрямились во весь рост.

И ни соринки в новых кленах,
И в мире красок чище нет,
Чем цвет берез светло-зеленых
И светло-серых пашен цвет.

ЖЕНЩИНЫ В ДЕТСТВЕ

В детстве, я как сейчас еще помню,
Высунешься, бывало, в окно,
В переулке, как в каменоломне,
Под деревьями в полдень темно.

Тротуар, мостовую, подвалы,
Церковь слева, ее купола
Тень двойных тополей покрывала
От начала стены до угла.

За калитку дорожки глухие
Уводили в запущенный сад,
И присутствие женской стихии
Облекало загадкой уклад.

Рядом к девочкам кучи знакомых
Заходили и толпы подруг,
И цветущие кисти черемух
Мыли листьями рамы фрамуг.

Или взрослые женщины в гневе,
Разбранившись без обиняков,
Вырастали в дверях, как деревья
По краям городских цветников.

Приходилось, насупившись букой,
Щебет женщин сносить, словно бич,
Чтоб впоследствии страсть нак науку,
Обожанье как подвиг постичь.

Всем им, вскользь промелькнувшим
где-либо
И пропавшим на том берегу,
Всем им, мимо прошедшим, — спасибо,
Перед ними я всеми в долгу.

ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ

Будущего недостаточно.
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елкою святочной
Вечность средь комнаты стала.

Чтобы хозяйка утыкала
Россыпью звезд ее платье,
Чтобы ко всем на каникулы
Съехались сестры и братья.

Сколько цепей ни примеривай,
Как ни возись с туалетом,
Все ещё кажется дерево
Голым и полуодетым.

Вот, трубочиста замаранней,
Взбив свои волосы клубом,
Елка напыжилась барыней
В нескольких юбках раструбом.

Лица становятся каменней,
Дрожь пробегает по свечкам,
Струйки зажженного пламени
Губы сжимают сердечком.

Ночь до рассвета просижена.
Весь содрогаясь от храпа,
Дом, точно утлая хижина,
Хлопает дверцею шкапа.

Новые сумерки следуют,
День убавляется в росте.
Завтрак проспавши, обедают
Заночевавшие гости.

Солнце садится и пьяницей
Издали с целью прозрачной
Через оконницу тянется
К хлебу и рюмке коньячной.

Вот оно ткнулось, уродина,
В снег образиною пухлой,
Цвета наливки смородинной,
Село, истлело, потухло.

* * *

Тени вечера волоса тоньше
За деревьями тянутся вдоль.
На дороге лесной почтальонша
Мне протягивает бандероль.

По кошачьим следам и по лисьим,
По кошачьим и лисьим следам
Возвращаюсь я с пачкою писем
В дом, где волю я радости дам.

Горы, страны, границы, озера,
Перешейки и материки,
Обсужденья, отчеты, обзоры,
Дети, юноши и старики.

Достоцитимые письма мужские!
Нет меж вами такого письма,
Где свидетельства мысли сухие
Не выказывали бы ума.

Драгоценные женские письма!
Я ведь тоже упал с облаков.
Присягаю вам ныне и присно:
Ваш я буду во веки веков.

Ну, а вы, собиратели марок!
За один мимолетный прием,
О, какой бы достался подарок
Вам на бедственном месте моем!

ЕДИНСТВЕННЫЕ ДНИ

На протяженьи многих зим
Я помню дни солнцеворота,
И каждый был неповторим
И повторялся вновь без счета.

И целая их череда
Составилась мало-помалу —
Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало.

Я помню их наперечет:
Зима подходит к середине,
Дороги мокнут, с крыш течет,
И солнце греется на льдине.

И любящие, как во сне,
Друг к другу тянутся поспешней,
И на деревьях в вышине
Потеют от тепла скворешни.

И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,
И дольше века длится день,
И не кончается объятье.

ПОЭМЫ

ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ

Мелькает движущийся ребус,
Идет осада, идут дни,
Проходят месяцы и лета.
В один прекрасный день пикеты,
Сбиваясь с ног от беготни,
Приносят весть: сдается крепость.
Не верят, верят, жгут огни,
Взрывают своды, ищут входа,
Выходят, входят, — идут дни,
Проходят месяцы и годы.
Проходят годы, — всё в тени.
Рождается троянский эпос.
Не верят, верят, жгут огни,
Нетерпеливо ждут развода,
Слабеют, слепнут, — идут дни,
И в крепости крошатся своды.

Мне стыдно и день ото дня стыдней,
Что в век таких теней
Высокая одна болезнь
Еще зовется песнь.
Уместно ль песнью звать содом,
Усвоенный с трудом
Землей, бросавшейся от книг
На пики и на штык?

Благими намереньями вымощен ад.
Установился взгляд,
Что, если вымостить ими стихи,
Простятся все грехи.
Всё это режет слух тишины,
Вернувшейся с войны,
А как натянут этот слух,
Узнали в дни разрух.

В те дни на всех припала страсть
К рассказам, и зима ночами
Не уставала вшами прясть,
Как лошади прядут ушами.
То шевелились тихой тьмы
Засыпанные снегом уши,
И сказками металась мы
На мятных пряниках подушек.

Обивкой театральных лож
Весной овладевала дрожь.
Февраль нищал и стал неряшлив.
Бывало, крякнет, кровь откашляв,
И сплюнет, и пойдет тишком
Шептать теплушкам на ушко
Про то да се, про путь, про шпалы,
Про оттепель, про что попало;
Про то, как с фронта шли пешком.
Уж ты и спишь, и смерти ждешь,
Рассказчику ж и горя мало:
В ковшах оттаявших калош
Припутанную к правде ложь

Глодает платяная вошь
И прясть ушами не устала.

Хотя зарей чертополох,
Стараясь выгнать тень подлиньше,
Растягивал с трудом таким же
Ее часы, как только мог;
Хотя, как встарь, проселок влек
Колеса по песку в разлог,
Чтоб снова на суглинок вымчать
И вынести вдоль жердей и слег;
Хотя осенний свод, как нынче,
Был облачен, и лес далек,
А вечер холоден и дымчат,
Однако это был подлог,
И сон застигнутой врасплох
Земли похож был на родимчик,
На смерть, на тишину кладбищ,
На ту особенную тишь,
Что спит, окутав округ целый,
И, вздрагивая то и дело,
Припомнить силится: «Что, бишь,
Я только что сказать хотела?»

Хотя, как прежде, потолок,
Служа опорой новой клетки,
Тащил второй этаж на третий
И пятый на шестой волок.
Внушая сменой подоплек.
Что всё по-прежнему на свете,
Однако это был подлог,
И по водопроводной сети

Взбирался кверху тот пустой,
Сосуший клетот лихолетья,
Тот, жженный на огне газеты,
Смрад лавра и китайских сой,
Что был нудней, чем рифмы эти,
И, стоя в воздухе верстой,
Как бы бурчал: «Что, бишь, постой,
Имел я нынче съесть в предмете?»

И полз голодною глистой
С второго этажа на третий,
И крался с пятого в шестой.
Он славил твердость и застой
И мягкость объявлял в запрете.
Что было делать? Звук исчез
За гулом выросших небес.

Их шум, попавши на вокзал,
За водокачкой исчезал,
Потом их относило за лес,
Где сыпью насыпи казались,
Где между сосен, как насос,
Качался и качал занос,
Где рельсы слепли и чесались,
Едва с пургой соприкасались.

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила

За подвиг, если не за то,
Что дважды два не сразу сто,
А сзади, в зареве легенд,
Идеалист-интеллигент
Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

В сермягу завернувшись, смерд
Смотрел назад, где север мерк
И снег соперничал в усердьи
С сумерничающею смертью.
Там, как орган, во льдах зеркал
Вокзал загадкой сверкал,
Глаз не смыкал и горе мыкал
И спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.
Невыносимо тихий тиф,
Колени наши охватив,
Мечтал и слушал с содроганьем
Недвижно лившийся мотив
Сыпучего самосверганья.
Он знал все выемки в органе
И пылью скучивался в швах
Органых меховых рубях.
Его взыскательные уши
Еще упрашивали мглу,
И лед, и лужи на полу
Безмолвствовать как можно суше.

Мы были музыкой во льду.
Я говорю про всю среду,

С которой я имел в виду
Сойти со сцены, и сойду.
Здесь места нет стыду.
Я не рожден, чтоб три разá
Смотреть по-разному в глаза.
Еще двусмысленней, чем песнь,
Тупое слово «враг».
Гощу. — Гостит во всех мирах
Высокая болезнь.
Всю жизнь я быть хотел как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нитья
И хочет быть как я.

Мы были музыкою чашек
Ушедших кушать чай во тьму
Глухих лесов, косых замашек
И тайн, не льстящих никому.
Трещал мороз, и ведра висли.
Кружились галки, — и ворот
Стыдился застуженный год.
Мы были музыкою мысли,
Наружно сохранявшей ход,
Но в стужу превращавшей в лед
Заслякоченный черный ход.

Но я видал Девятый съезд
Советов. В сумерки сырые
Пред тем обегав двадцать мест,
Я проклял жизнь и мостовые,
Однако сутки на вторые,
И помню, в самый день торжеств,

Пошел, взволнованный допельзя,
К театру с пропуском в оркестр.

Я трезво шел по трезвым рельсам,
Глядел кругом, и всё окрест
Смотрело полным погорельцем,
Отказываясь наотрез
Когда-нибудь подняться с рельс.
С стенных газет вопрос карельский
Глядел и вызывал вопрос
В больших глазах больных берез.
На телеграфные устои
Садился снег тесьмой густою,
И зимний день в канве ветвей
Кончался, по обыкновенью,
Не сам собою, но в ответ
На поученье. В то мгновенье
Моралью в сказочной канве
Казалась сказка про Конвент.
Про то, что гения горячка
Цементу крепче и белей.
(Кто не ходил за этой тачкой,
Тот испытай и поболей.)
Про то, как вдруг в конце недели
На слепнувших глазах творца
Родятся стены цитадели
Иль крошечная крепостца.

Чреду веков питает новость,
Но золотой ее пирог,
Пока преданье варит соус,
Встает нам горла поперек.

Теперь из некоторой дали
Не видишь пошлых мелочей.
Забылся графарет речей,
И время сгладило детали,
А мелочи преобладали.

Уже мне не прописан фарс
В лекарство ото всех мытарств.
Уж я не помню основанья
Для гладкого голосованья.
Уже я позабыл о дне,
Когда на океанском дне
В зияющей японской бреши
Сумела различить депеша
(Какой ученый водолаз!)
Класс спрутов и рабочий класс.
А огнедышащие горы,
Казалось, — вне ее разбора.
Но было много дел тупей
Классификации Помпей.
Я долго помнил назубок
Кошунственную телеграмму:
Мы посылали жертвам драмы
В смягченье треска Фузиямы
Агитпрофсожеский лубок.

Проснись, поэт, и суй свой пропуск.
Здесь не в обычае зевать.
Из лож по креслам скачут в пропасть
Мста, Ладога, Шексна, Ловать.
Опять из актового зала

В дверях, распахнутых на юг,
Прошлось по лампам опахало
Арктических Петровых вьюг.
Опять фрегат пошел на траверс.
Опять, хлебнув большой волны,
Дитя предательства и каверз
Не узнает своей страны.

Всё спало в ночь, как с громким
порском

Под царский поезд до зари
По всей окраине поморской
По льду рассыпались псаряи.
Бряцанье шпор ходило горбясь,
Преданье прятало свой рост
За железнодорожный корпус,
Под железнодорожный мост.
Орлы двуглавые в вуали,
Вагоны Пульмана во мгле
Часами во поле стояли,
И мартом пахло на земле.
Под Порховом в брезентах мокрых
Вздувавшихся верст за сто вод
Со сна на весь Балтийский округ
Зевал пороховой завод.

И уставал орел двуглавый,
По Псковской области кружа,
От стягивавшейся облавы
Неведомого мятежа.
Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал.

Но быстро таяли запасы
Отмеченных на картах шпал.
Они сорта перебирали
Исщипанного полотна.
Везде ручьи вдоль рельс играли,
И будущность была мутна.
Сужался круг, редели сосны,
Два солнца встретились в окне.
Одно всходило из-за Тосна,
Другое заходило в Дне.

Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загрибок,
Как шорох молнии шаровой.
Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.

Тогда раздался гул оваций,
Как облегченье, как разряд
Ядра, не властного не рваться
В кольцо поддержек и преград.
И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.

Но я о мимолетном. Что в нем
В тот миг связалось с ним одним?

Он был — как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Столетий завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.
Тогда его увидев въяве,
Я думал, думал без конца
Об авторстве его и праве
Дерзать от первого лица.
Из ряда многих поколений
Выходит кто-нибудь вперед.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

1923, 1928

ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД

В нашу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.

Еще спутан и свеж первопуток,
Еще чуток и жуток, как весть,
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты, как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодещ,
Каторжанка в вождах, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.

Ты из сумерек, социалистка,
Секла свет, как из груди огнив.
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.

Отвлеченная грохотом стрельбищ,
Оживающих там, вдалеке,
Ты огни в отчужденье колеблешь,
Точно улицу вертишь в руке.

И в блуждании хлопьев кутежных
Тот же гордый, уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.

Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе.
Ты бежишь не одних толстосумов:
Всё ничтожное мерзко тебе.

ОТЦЫ

Это было при нас.
Это с нами вошло в поговорку,
И уйдет.
И однако,
За быстрою сменой лет,
Стерся след,
Словно год
Стал нулем меж девятки с пятеркой,
Стерся след,
Были нет,
От нее не осталось примет.

Еще ночь под ружьем
И заря не взялась за винтовку.
И однако
Вглядимся:
На деле гораздо светлей.
Этот мрак под ружьем
Погружен

В полусон
Забастовкой.
Эта ночь —
Наше детство
И молодость учителей.

Ей предшествует вечер
Крушений,
Кружков и героев,
Динамитчиков,
Дагсрротипов,
Горенья души.
Ездят тройки по трактам,
Но, фабрик по трактам настроив,
Подымаются Саввы
И зреют Викулы в глуши.

Барабанную дробь
Заглушают сигналы чугунок.
Гром позорных телег —
Громыхание первых платформ.
Крепостная Россия
Выходит
С короткой приструнки
На пустырь
И зовется
Россиєю после реформ.

Это -- народовольцы,
Перовская,
Первое марта,

Нигилисты в поддевках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится
Точно во сне.

Да и ближе нельзя:
Двадцатипятилетье — в подпольи.
Клад — в земле.
На земле —
Обездушенный калейдоскоп.
Чтобы клад откопать,
Мы глаза
Напрягаем до боли.
Покорясь его воле,
Спускаемся сами в подкоп.

Тут бывал Достоевский.
Затворницы ж эти,
Не чаяв,
Что у них,
Что ни обыск,
То вывоз реликвий в музей,
Шли на казнь
И на то,
Чтоб красу их подпольщик Нечаев
Скрыл в земле,

Утаил

От времен и врагов и друзей.

Это было вчера,
И, родись мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора,
В керосиновой мгле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши —
Наши матери
Или
Пряательницы матерей.

Моросит на дворе.
Во дворце улеглась суматоха.
Тухнут плошки.
Теплынь.
Город вымер и словно оглох.
Облетевшим листом
И кладбищенским чертополохом
Дышит ночь.
Ни души.
Дремлет площадь,
И сон ее плох.

Но положенным слогом
Писались и нынче доклады,
И в неведеньи бед
За Невою пролетка гремит.
А сентябрьская ночь
Задыхается

Тайною клада,
И Степану Халтурину
Спать не дает динамит.

Эта ночь простоит
В забытьи
До времен Порт-Артура.
Телеграфным столбам
Будет дан в вожаки эшафот.
Шепот жертв и депеш,
Участья,
Усыпит агентуру,
И тогда-то придет
Та зима,
Когда всё оживет.

Мы родимся на свет.
Как-нибудь
Предвечернее солнце
Подзовет нас к окну.
Мы одухотворим наугад
Непривычный закат
И при зрелище труб
Потрясемся,
Как потрясся,
Кто б мог
Оглянуться лет на сто назад.

Точно Лаокоон,
Будет дым
На трескучем морозе,
Оголясь,

Как атлет,
Обнимать и валить облака.
Ускользящий день
Будет плыть
На железных полозьях
Телеграфных сетей,
Открывающихся с чердака.

А немного спустя
И светя, точно блудному сыну,
Чтобы шеи себе
Этот день не сломал на шоссе,
Выйдут с лампами в ночь
И с небес
Будут бить ему в спину
Фонари корпусов
Сквозь туман,
Полоса к полосе.

ДЕТСТВО

Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще — школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху,
Мастерская отца.
В расстояньи версты,
Где столетняя пыль на Диане
И холсты,
Наша дверь.

Пол из плит,
И на плитах грязца.

Это — дебри зимы.
С декабря воцаряются лампы.
Порт-Артур уже сдан,
Но идут в океан крейсера,
Шлют войска,
Ждут эскадр,
И на старое зданье почтамта
Смотрят сумерки,
Краски,
Палитры
И профессора.

Сколько типов и лиц!
Вот душевнобольной.
Вот тупица.
В этом теплится что-то.
А вот совершенный щенок.
В классах яблоку негде упасть
И жара, как в теплице.
Звон у Флора и Лавра
Сливается
С шарканьем ног.

Как-то раз,
Когда шум за стеной,
Как прибой, неослабен,
Омут комнат недвижим
И улица газом жива, —
Раздается звонок,

Голоса приближаются:
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!

Близость праздничных дней,
Четвертные,
Конец полугодья.
Искрясь струнным нутром,
Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра,
Дни идут.
Рождество на исходе.
Сколько отдано елкам!
И хоть бы вот столько взамен.

Петербургская ночь
Воздух пучится черною льдиной
От иглистых шагов.
Никому не чинится препон.
Кто в пальто, кто в тулупе.
Луна холодеет полтиной.
Это в Нарвском отделе.
Толпа раздаётся:
Гапон.

В зале гул.
Духота.
Тысяч пять сосчитали деревья.
Сеясь с улицы в сени,
По лестнице лепится снег.

Здесь родильный приют,
И в некрашеном сводчатом чреве
Бьется об стены комнат
Комком неприкрашенным
Век.

Пресловутый рассвет.
Облака в куманике и клюкве.
Слышен скрип галерей,
И клубится дыханье помой.
Выбегают, идут
С галерей к воротам,
Под хоругви,
От ворот — на мороз,
На простор,
Подоженный зимой.

Восемь громких валов
И девятый,
Как даль, величавый.
Шапки смыты с голов.
Спаси, господи, люди твоя.
Слева — мост и канава,
Направо — погост и застава,
Сзади — лес,
Впереди —
Передаточная колея.

На Каменноостровском.
Стеченье народа повсюду.
Подземелья, панели.

За шествием плещется хвост
Разорвавших затвор
Перекрестков
И льющихся улиц.
Демонстранты у парка.
Выходят на Троицкий мост.

Восемь залпов с Невы
И девятый,
Усталый, как слава.
Это —
(Слева и справа
Несутся уже на рысях.)
Это —
(Дали орут:
«Мы сочтемся еще за расправу».)
Это рвутся
Суставы
Династии данных
Присяг.

Тротуары в бегущих.
Смеркается.
Дню не подняться.
Перекату пальбы
Отвечают
Пальбой с баррикад.
Мне четырнадцать лет.
Через месяц мне будет пятнадцать.
Эти дни как дневник.

В них читаешь,
Открыв наугад.

Мы играем в снежки.
Мы их мнем из валящихся с неба
Единиц,
И снежинок,
И толков, присущих поре.
Этот оползень царств,
Это пьяное паданье снега —
Гимназический двор
На углу Поварской
В январе.

Что ни день, то метель.
Те, что в партии,
Смотрят орлами.
Это в старших.
А мы:
Безнаказанно греку дерзим,
Ставим парты к стене,
На уроках играем в парламент
И витаем в мечтах
В нелегальном районе Грузин.

Снег идет третий день.
Он идет еще под вечер.
За ночь
Проясняется.
Утром —
Громовый раскат из Кремля:
Попечитель училища. . .

Насмерть. . .
Сергей Александрыч. . .
Я грозу полюбил
В эти первые дни февраля.

МУЖИКИ И ФАБРИЧНЫЕ

Еще в марте
Буран
Засыпает все краски на карте.
Нахлобучив башлык,
Отсыпается край,
Как сурок.
Снег лежит на ветвях,
В проводах,
В разветвлениях партий,
На кокардах драгун
И на шпалах железных дорог.

Но не радуется даль.
Как раздолье собой ни любуйся, —
Верст на тысячу вширь,
В небеса,
Как сивушный отстой,
Ударяет нужда
Перегарами спертого буйства,
Ошибает
На стуже
Стоградусною нищетой.

И уж вот
У господ

Расшибают пожарные снасти.
И громадами зарев
Командует море бород,
И уродует страсть,
И орудуют конные части,
И бушует:
«Вставай,
Подымайся,
Рабочий народ!»

И бегут, и бегут,
На санях
Через глушь перелесиц,
В чем легли,
В чем из спален
Спасались,
Спаленные в пух.
И весь путь
В сосняке
Ворожит замороженный месяц.
И торчит копылом
И кривляется
Красный петух.

Нагибаясь к саням,
Дышат ели,
Дымятся и ропщут.
Вот огни.
Там уезд.
Вон исправника дружеский кров.
Еще есть поезда.
Еще толки одни о всеобщей:

Забастовка лишь шастает
По мостовым городов.

Лето.

Май иль июнь.

Паровозный Везувий под Лодзью.

В воздух вогнаны гвозди.

Отеки путей запеклись.

В стороне от узла

Замирает

Грохочущий отзыв:

Это сыплются стекла

И струпя

Расстрелянных гильз.

Началось, как всегда.

Столкновение с войсками

В предместьи

Послужило толчком.

Были жертвы с обеих сторон.

Но рабочих зажгло

И исполнило жаждою мести

Избиенье толпы,

Повторенное в день похорон.

И тогда-то

Загрохали ставни,

И город,

Артачась,

Оголенный,

Без качеств,

И каменный, как никогда,
Стал собой без стыда.
Так у статуй,
Утративших зрячесть,
Пробуждается статность.
Он стал изваяньем труда.

Днем закрылись конторы.
С пяти прекратилось движенье.
По безжизненной Лодзи
Бензином
Растекся закат.
Озлобленье рабочих
Избрало разъезды мишенью.
Обезлюдивший город
Опутала сеть баррикад.

В ночь стянули войска.
Давши залп с мостовой,
Из-за надолб,
С баррикады скрывались
И, сдав ее, жарили с крыш.
С каждым кругом колес артиллерии
Кто-нибудь падал
Из прислуги,
И с каждой
Присяжкой
Падал престиж.

МОРСКОЙ МЯТЕЖ

Придается всё.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

Ты на куче сетей.
Ты курлычешь,
Как ключ, балагурия,
И, как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой.
Ты в гостях у детей.
Но какую неслыханной бурей
Отрываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!

Допотопный простор
Свирепеет от пены и сипнет.
Расторопный прибой
Саганеет
От прорвы работ.
Всё расходится врозь
И по-своему воеет и гибнет,

И, свинья от тины,
По сваям по-своему бьет.

Пресноту парусов
Оттесняет назад
Одинакость
Помешавшихся красок,
И близится ливня стена.
И всё ниже спускается небо,
И падает накось,
И летит кувырком,
И касается чайками дна.

Гальванической мглой
Взбаламученных туч
Неуклюже,
Вперевалку, ползком
Пробираются в гавань суда.
Синеногие молнии
Лягушками прыгают в лужу.
Голенастые снасти
Швыряет
Туда и сюда.

Всё сбиралось всхрапнуть.
И карабкались крабы,
И к центру
Тяжелевшего солнца
Клонились головки репья.
И мурлыкало море,
В версте с половиной от Тендра

Серый кряж броненосца
Оранжевым крапом
Рябя.

Солнце село.
И вдруг
Электричеством вспыхнул «Потемкин».
Со спардека на камбуз
Нахлынуло полчище мух.
Мясо было с душком. . .
И на море упали потемки.
Свет брюзжал до зари
И забрезжившим утром потух.

Глыбы
Утренней зыби
Скользнули,
Как ртутные бритвы,
По подножью громады,
И, глядя на них с высоты,
Стал дышать броненосец
И ожил.
Пропели молитву.
Стали скатывать палубу.
Вынесли в море щиты.

За обедом к котлу не садились
И кушали молча
Хлеб да воду,
Как вдруг раздалось:
«Все на ют!

По местам!
На две вахты!»
И в кителе некто,
Чернея от желчи,
Гаркнул:
«Смирно!» —
С буксирного кнехта
Грозя семистам.

«Недовольство?!
Кто кушать — к котлу,
Кто не хочет — на рею.
Выходи!»
Вахты замерли, ахнув.
И вдруг, сообщая,
Устремились в смятеньи
От кнехта
Бегом к батарее.
«Стой!
Довольно!» —
Вскричал
Озверевший апостол борща.

Часть бегущих отстала.
Он стал поперек.
«Снова шашни?!»
Он скомандовал:
«Боцман,
Брезент!
Караул, оцепить!»

Остальные,
Забившись толпой в батарейную башню.
Ждали в ужасе казни,
Имевшей вот-вот наступить.

Шибко бились сердца.
И одно,
Не стерпевшее боли,
Взвыло:
«Братцы!
Да что ж это!»
И, волоса шевеля:
«Бей их, братцы, мерзавцев!
За ружья!
Да здравствует воля!» —
Лязгом стали и ног
Откатилось
К ластам корабля.

И восстанье взвилось,
Шелестя,
До высот за бизанью,
И раздулось,
И там
Кистенем
Описало дугу.
«Что нам взапуски бегать!
Да стой же, мерзавец!
Достану!»
Трах-тах-тах. . .

Вынос кисти по цели
И залп на бегу.

Трах-тах-тах...
И запрыгали пули по палубам,
С паяуб,
Трах-тах-тах...
По воде,
По пловцам.
«Он еще на борту?!»
Залпы в воду и в воздух.
«Ага!
Ты звереешь от жалоб?!»
Залпы, залпы,
И за ноги за борт,
И марш в Порт-Артур.

А в машинном возились,
Не зная еще хорошенько,
Как на шканцах дела,
Когда, тенью проплыв по котлам,
По машинной решетке
Гигантом
Прошел
Матюшенко
И, нагнувшись над адом,
Вскричал:
« Степа!
Наша взяла!»

Машинист поднялся.
Обнялись.

«Попытаем без няпек.
Будь покоен!
Под стражей.
А прочим по пуле и вплавь.
Я зачем к тебе, Степа, —
Каков у нас младший механик?»
— «Есть один».
— «Ну и ладно.
Ты мне его на́верх отправь».

День прошел.
На заре,
Облачась в дымовую завесу,
Крикнул в рупор матросам матрос:
«Выбирай якоря!»
Голос в облаке смолк.
Броненосец пошел на Одессу,
По суровому кряжу
Оранжевым крапом
Горя.

СТУДЕНТЫ

Бауман!
Траурным маршем
Ряды колыхавшее имя!
Шагом,
Кланяясь флагам,
Над полной голов мостовой
Волочились балконы,
По мере того

Как под ними
Шло без шапок:
«Вы жертвою пали
В борьбе роковой».

С высоты одного,
Обеспамятев,
Бросился сольный
Женский алыт.
Подхватили.
Когда же и он отрыдал,
Смолкло всё.
Стало слышно,
Как колет мороз колокольни,
Вихри сахарной пыли,
Свистя,
Пронеслись по рядам.

Хоры стихли вдали.
Залохматилась тьма.
Подворотни
Скрыли хлопья.
Одернув
Передники на животе,
К Моховой от Охотного
Двинулась черная сотня,
Соревнуя студенчеству
В первенстве и правоте.

Где-то долг отдавался последний,
И он уже воздан.

Молкнет карканье в парке,
И прах на Ваганькове —
Нем.
На погостной траве
Начинают хозяйничать
Звезды.
Небо дремлет,
Зарывшись
В серебряный лес хризантем.

Тьма.
Плутанье без плана,
И вдруг,
Как в пролете чулана,
Угол улицы — в желтом ожоге.
На площади свет!
Вьюга лошадью пляшет буланой,
И в шапке улана
Пляшут книжные лавки,
Манеж
И университет.

Ходит, бьется безлюдье,
Бросая бессонный околыш
К кровле книжной торговли.
Но только
В тулью из огня
Входят люди, она
Оглашается залпами —
«Сволочь!»
Замешательство.
Крики:

«Засада!
Назад!»
Беготня.

Ворота на запоре.
Ломай!
Подаются.
Пролеты,
Входы, вешалки, своды.
«Позвольте. Сойдите с пути!»
Ниши, лестницы, хоры,
Шинели, пробирки, кислоты.
«Тише, тише.
Кладите.
Без пульса. Готов отойти».
Двери врозь.
Вздых в упор
Купороса и масляной краски.
Кольты прочь,
Польта на пол,
К шкапам, засуча рукава.
Эхом в ночь:
«Третий курс!
В реактивную, на перевязку!»
«Снегом, снегом, коллега».
«Ну как?»
«Да куда. Чуть жива».

А на площади группа.
Завейный тьмой Ломоносов.
Лужи теплого вара.
Курящийся кровью мороз.

Трупы в позах полета.
Шуршащие складки заноса.
Снято снегом,
Проявлено
Вечностью, разом, вразброс.

Где-то сходка идет,
И в молчанье палатных беспамятств
Проникают
Сквозь стекла дверей
Отголоски ее.
«Протестую. Долой».
Двери вздрагивают, упрямясь,
Млечность матовых стекол
И марля на лбах.
Забутье.

МОСКВА В ДЕКАБРЕ

Снится городу:
Всё,
Чем кишит,
Исключая шпионства,
Озаренная даль,
Как на сыплющееся пшено,
Из окрестностей Пресни
Летит
На Трехгорное солнце,
И купается в просе,
И просится
На полотно.

Солнце смотрит в бинокль
И прислушивается
К орудьям,
Круглый день на закате
И круглые дни на виду.
Прудовая заря
Достигает
До пояса людям,
И не выше грудей
Баррикадные рампы во льду.

Беззаботные толпы
Снуют,
Как бульварные крали.
Сутки,
Круглые сутки
Работают
Поршни гульбы.
Ходят гибели ради
Глядеть пролетарского Граля,
Шутят жизнью,
Смеются,
Шатают и валят столбы.

Вот отдельные сцены.
Аквариум.
Митинг.
О чем бы
Ни кричали внутри,
За сигарой сигару куря,
В вестибюле дуреет

Дружинник
С фитильною бомбой.
Трут во рту. Он сосет
Эту дрянь,
Как запал фонаря.

И в чаду за стеклом
Видит он:
Тротуар обезродел.
И еще видит он:
Расскакавшись
На снежном кругу,
Как с летящих ветвей,
Со стремян
И прямящихся сёдел,
Спешась, градом,
Как яблоки,
Прыгают
Куртки драгун.

На десятой сигаре,
Тряхнув театральною дверью,
Побледневший курильщик
Выходит
На воздух,
Во тьму.
Хорошо б отдышаться!
Бабах. . .
И — как лошади прерий —
Табуном,
Врассыпную, —
И сразу легчает ему.

Шашки.
Бабы платки.
Бакенбарды и морды вогулок.
Густо бредят костры.
Ну и кашу мороз заварил!
Гулко ухаает в фидлерцев
Пушкой
Машков переулок.
Полтораستا борцов
Против тьмы без числа и мерил.

После этого
Город
Пустеет дней на́ десять кряду.
Исчезает полиция.
Снег неисслежен и цел.
Кривизну мостовой
Выпрямляет
Прицел с баррикады.
Вымирает ходок,
И редчает, как зубр, офицер.

Всюду груды вагонов,
Завещанных конною тягой.
Электрический ток
Только с год
Протянул провода.
Но и этот, поныне
Судящийся с далью, сутяга
Для борьбы
Всю как есть
Отдает свою сеть без суда.

Десять дней, как палят
По Миусским конюшням
Бутырки.
Здесь сжились с трескотней,
И в четверг,
Как смолкает пальба,
Взоры всех
Устремляются
Кверху,
Как к куполу цирка:
Небо в слухах,
В трапециях сети,
В трамвайных столбах.

Их — что туч.
Всё черно.
Говорят о конце обороны.
Обыватель устал.
Неминуемо будет праветь.
«Мин и Риман», —
Гремят
На заре
Переметы перрона,
И Семеновский полк
Переводят на Брестскую ветвь.

Значит, крышка?
Шабаш?
Это после боев, караулов
Ночью, стужей трескучей,
С винчестерами, вшестером? ..
Перед ними бежал

И подошвы лизал
Переулок.
Рядом сад холодел,
Шелестя ледяным серебром.

Но пора и собираться.
Смеркается.
Крепнет осада.
В обручах канонады
Саран, как кольца, горят.
Как воронье гнездо,
Под деревья горящего сада
Сносит крышу со склада,
Кружась,
Бесноватый снаряд.

Понесло дураков!
Это надо ведь выдумать:
В баню!
Переждать бы смекнули.
Добро, коли баня цела.
Сунься за дверь — содом.
Небо гонится с визгом кабаньим
За сдуревшей землей.
Топот, ад, голошенье котла.

В свете зарева
Наспех
У Прохорова на кухне
Двое бороды бреют.
Но делу бритьем не помочь.
Точно мыло под кистью,

Пожар
Наплывает и пухнет.
Как от искры,
Пылает
От имени Минова ночь.

Всё забилося в подвалы.
Крепиться нет сил.
По заводам
Темный ропот растет.
Белый флаг набивают на жердь.
Кто ж пойдет к кровопийце?
Известно кому, — коноводам!
Топот, взвизги кабаньи, —
На улице верная смерть.

Ад дымит позади.
Пуль не слышно.
Лишь вьюги порханье
Бороздит тишину.
Даже жутко без зарев и пуль.
Но дымится шоссе,
И из вихря —
Казачьи верхами.
Стой!
Расспросы и обыск,
И вдаль улетает патруль.

Было утро.
Простор
Открывался бежавшим героям.
Пресня стлалась пластом,

И, как смятый грозой березняк,
Роем бабьих платков
Мыла
Выступы конного строя
И сдавала
Смирителям
Браунинги на простынях.

Июль 1925 — февраль 1926

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Поля и даль распластывались эллипсом.
Шелка зонтов дышали жаждой грома.
Палящий день бездонным небом целился
В трибуны скакового ипподрома.

Народ потел, как хлебный квас на леднике,
Привороженный таяньем дистанций.
Крутясь в смерче копыт и наголенников,
Как масло били лошади пространство.

А позади размерно бьющим веяньем
Какого-то подземного начала
Военный год взвивался за жокеями
И лошадьми, и спицами качалок.

О чем бы ни шептались, что бы не пили,
Он рос кругом и полз по переходам,
И вмешивался в разговор, и пепельной
Щепоткою примешивался к водам.

Всё кончилось. Настала ночь. По Киеву
Пронесся мрак, швыряя ставень в ставень.
И хлынул дождь. И, как во дни Батыевы,
Ушедший день стал странно стародавен.

2

«Я вам писать осмеливаюсь. Надо ли
Напоминать? Я тот моряк на дерби.
Вы мне тогда одну загадку задали.
А впрочем, после, после. Время терпит.

Когда я увидел вас... Но до этого
Я как-то жил и вдруг забыл об этом,
И разом начал взглядом вас преследовать,
И потерял в толпе за турникетом.

Когда прошел столбняк моей бестактности,
Я спохватился, что не знаю, кто вы.
Дальнейшее известно. Трудно стакнуться,
Чтоб встретиться столь баснословно снова.

Вы вдумались ли только в то, какое здесь
Раздолье вере! — Оскорбиться взглядом,
Пропасть в толпе, случиться ночью в поезде,
Одернуть зонт и очутиться рядом!»

3

Над морем бурный рубчик
Рубиновой зари.
А утро так пустынно,
Что в тишине, граничащей

С утратой смысла, слышно,
Как, что-то силясь вытащить,
Гремит багром пучина
И шарит солнце по́ дну,
И щупает багром.

И вот в клоаке водной
Отыскан диск всевидящий.
А Севастополь спит еще,
И утро так пустынно,
Кругом такая тишь,
Что на вопрос пучины,
Откуда этот гром, —
В ответ пустые пристани:
От плеска волн по диску,
От пихт, от их неистовства,
От стука сонных лиственниц
О черепицу крыш.

Известно ли, как влюбчиво
Бездомное пространство?
Какое море ревности
К тому, кто одинок!
Как, по извечной странности
Родимый дух почувствовав,
Летит в окошко пустошь,
Как гость на огонек.

Известно ль, как навязчива
Доверчивость деревьев.
Как, в жажде настоящего,

Ночная тишина,
Порвавши с ветром с вечера,
Порывом одиночества
Влетает, как налетчица,
К не знающему сна?
За неимением лучшего
Он ей в герои прочится.
Известно ли, как влюбчива
Тоска земного дна?

Заре, корягам якорным,
Волнам и расстояньям
Кого-то надо выделить,
Спасти и отстоять.
По счастью, утром ранним
В одноэтажном флигеле
Не спит за перепиской
Таинственный моряк.

Всю ночь он пишет глупости,
Вздремнет — и скок с дивана.
Бежит в воде похлопаться
И снова на диван.
Потоки света рушатся,
Урчат ночные ванны,
Найдет волна кликушества —
Он сизнова под кран.

«Давайте, посчитаемся.
Едва сюда я прибыл,
Я всё со дня приезда

Вношу для вас в реестр,
И вам всю душу выболтал
Без страха, как на таинстве,
Но в этом мало лестного,
И тут великий риск.

Опасность увеличится
С течением дней дождливых.
Моя словоохотливость
Заметно возрастет.
Боюсь, не отпугнет ли вас
Тогда моя болтливость?
Вы отмолчитесь, скрытчица,
Я ж выболтаюсь вдрызг.

.
Вы скажете — ребячество.
Но близятся события.
А ну, как в их разгаре
Я скроюсь с ваших глаз?
Едва ль они насытятся
Одной живою тварью:
Ваш образ тоже спрячется,
Мне будет не до вас.
Я оглушусь их грохотом
И вряд ли уцелею.
Я прокачусь их эхом,
А эхо длится миг.
И вот я с просьбой крохотной:
Ввиду моей затей
Нам с вами надо б съехаться
До них и ради них».

Октябрь. Кольцо забастовок.
 О ветер! О ада исчадьё!
 И моря, и грузов, и кладь
 Летящие пряди.
 О буря брошюр и листовок!
 О слякоть! О темень! О зовы
 Сирен, и замки и засовы
 В начале шестого.

От тюрем — к брошюрам и бурям,
 О ночи! О вольные речи!!
 И залпам навстречу — увечья
 Отвесные свечи!

О кладбище в день погребенья!
 И в лад лейтенантовой клятве
 Заплаканных взглядов и платьев
 Кивки и объятья!
 О лестницы в крепе! О пенье!
 И хором в ответ незнакомцу
 Сотысячной бронзой о бронзу:
 «Клянитесь!» — «Клянемся!»

О вихрь, обрывающий фразы,
 Как клены и вязы! О ветер,
 Щадящий из связей на свете
 Одни междометья!
 Ты носишь бушующей гладью:
 «Потомства и памяти ради
 Ни пяди обратно! Клянитесь!»
 — «Клянемся. Ни пяди!»

Пойдите! Куда вы? Читать? Не дотолчетесь!
 Всё сперлось в беспорядке за фортами, и земля,
 Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
 Парит растрепой по ветру, как бог пошлет, крыля.
 Еще вчерашней ночью гуляющих заботил
 Ежевечерний очерк севастопольских валов.
 И воронье редутов из вереницы метел
 В полете превращалось в стаю песьих голов.

Теперь на подъездах расклеен оттиск
 Сырого манифеста. Ничего не боясь,
 Ни о чем не заботясь, обкладывает подпись
 Подклейстеренным пластырем следы недавних язв.
 «Даровать населению незыблемые основы
 Гражданской свободы. Установить, чтоб
 никакой...»

И, зыбким киселем заслякотив засовы,
 На подлинном собственной его величества рукой.

Хотя еще октябрь, за дряблой дрожью вётел
 Уже набрякли сумерки хандрою ноября.
 Виной ли манифест, иль дождик разохотил, —
 Саперы месяц слякоть, и гуляют егеря.
 Дан в Петергофе. Дата. Куда? Свои! Не бойтесь!
 В порту торговом давка. Солдаты, босяки.
 Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
 Висят замки в отеках картофельной муки.

Три градуса выше нуля.
 Продрогшая земля.
 Промозглое облако во сто голов
 Сечет крупной подошвы стволов,
 И, лоском олова берясь
 На градоносном бризе,
 Трепещет листьев неприязнь
 К прикосновенью слизи.

И голая ненависть листьев и лоз
 Краснеет до корней волос.
 Не надо. Наземь. Руки врозь!
 Готово. Началось.

Айва, антоновка, кизил,
 И море Черное вблизи:
 Рощенье гор, и поворот,
 И в уши, и за уши, изо рта в рот.

Ушаты холода. Куски
 Гребнистой, ослепленно скотской
 В волненьи глотающей волны, как клецки,
 Сквозной, ристалищной тоски.

Агония осени. Антагонизм
 Пехоты и морских дивизий
 И агитаторша-девица
 С жаргоном из аптек и больниц.

И каторжность миссии: переорать
 (Борьба, борьбы, борьбе, борьбою,

Пролетарьят, пролетарьят)
Иронию и соль прибоя,
Родящую мятеж в ушах
В семидесяти падежах.
И радость жертвовать собою,
И — случая слепой каприз.

Одышливость тысяч в бушлатах по-флотски,
Толпою в волненьи глотающих клецки
Немыслимых слов с окончаньем на *изм*,
Нерусских на слух и неслыханных в жизни.
(А разве слова на казенном карнизе
Казармы, а разве морские бои,
А признанные отчизной слои —
Свои?!)

И упоенье героини,
Летящей из времен над синей
Толпою — головою вниз,
По переменной атмосфере
Доверия и недоверья
В иронию соленых брызг.

О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клеток крадутся века,
По коллизею бродят звери,
И проповедника рука
Бесстрашно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя,
И вечно делается шаг

От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт.

7

Вдруг кто-то закричал: «Пехота!»
Настал волненья апогей.
Амуниционный шорох роты
Командой грохнулся: «К ноге!»
В ушах шатался шаг шоссеиный
И вздрагивал, и замирал.
По строю с капитаном Штейном
Прохаживался адмирал.

«Я б ждать не стал, чтоб чирей вызрел.
Я б гнал и шпарил по пятам.
Предлогов тьма. Случайный выстрел,
И — дело в шляпе, капитан».
— «Parlez plus bas, — заметил сухо
Другой. — Притом я не оглох.
Подумайте, какого слуха
Коснуться может диалог».

Шагах в восьми от адмирала,
Щетинясь гранями штыков,
Молодцевато замирала
Шеренга рослых моряков.
И вот, едва ушей отряда
Достиг шутливый разговор,
Как грянуло два длинных кряду
Нежданных выстрела в упор.

Всё заслонилося передрягой,
Изгладилося, как, побелев,
«Ты прав!» — вскричал матрос с «Варяга»,
Георгиевский кавалер.
Как, дважды приложась с колена, —
Шварк об землю ружье, и вмиг
Привстал, и, точно куртка тлела,
Стал рвать душивший воротник.
И слышал: одного смертельно,
И знал — другого наповал,
И рвал гайтан, и тискал тельник,
И ребер сдерживал обвал.

А уж перекликались с плацем
Дивизии. Уже копной
Ползли и начинали стлаться
Сигналы мачты позывной.
И вдруг зашевелилось море.
Взвились эскадры языки,
И дернулись в переговоре
Береговые маяки.

«Ведь ты — не разобрал, без злобы?
Ты стой на том и будешь цел».
— «Нет, вашество, белить не пробуй,
Я вздраве наводил прицел».
— «Тогда. . .» — И вдруг застряло слово —
Кругом, что мог окинуть глаз:
«Ты сам пропал и арестован», —
Восстанья присказка вилась.

«Вообрази, чем отвратительней
Действительность, тем письма глаже.
Я это проверил на «Трех Святителях»,
Где третий день содержусь под стражей.

Покамест мне бояться нечего,
Да и — неробкого десятка.
Прими нелепость происшедшего
Без горького осадка.

И так как держать меня ровно не за что,
То и покончим с этим делом.
Вот как спастись от мыслей, лезущих
Без отступа по суткам целым?

Припомнишь мать, и опять безоглядно
Жизнь пролетает в караване
Изголодавшихся и радужных
Надежд и разочарований.

Оглянешься — картина целостней.
Чем больше было с нею розни,
Чем чаще думалось: что делать с ней? —
Тем и ее ответ серьезней.

И снова я в морском училище.
О, прочь отсюда, на минуту
Вдохнувши мерзости бессилиющей!
Дивлюсь, как цел ушел оттуда.

Ведь это там, на дне военщины,
Навек ребенку в сердце вкован
Облитый мýкой облик женщины
В руках поклонников Баркова.

И вновь я болен ей, и ратую
Один, как перст, средь мракобесия,
Как мальчиком в восьмидесятые.
Ты помнишь эту глушь репрессий?

А помнишь, я приехал мичманом
К вам на лето, на перегибе
От перчитанного к личному, —
Еще мне предрекали гибель?

Тебе пришлось отца задабривать.
Ему, контр-адмиралу, чуден
Остался мой уход. . . на фабрику
Сельскохозяйственных орудий.

Взгляни ж теперь, порою выводов,
При свете сбывшихся иллюзий,
На невидаль того периода,
На брата в выпачканной блузе».

9

Окрестности и крепость,
Затянутые репсом,
Терялись в ливне обложном,
Как под дорожным кожаном.
Отеки водянки
Грязнили горизонт,

Суда на стоянке
И гарнизон.
С утра тянулись семьями
Мещане по шоссе
Различных ориентаций,
Со странностями всеми,
В ландо, на тарантасе,
В повальном бегстве все.

У города со вторника
Утроилось лицо:
Он стал гнездом затворников,
Вояк и беглецов.
Пред этим, в понедельник,
В обеденный гудок
Обезголосел эллинг
И обезлюдел док.
Развертывались порознь,
Сошлись невпроворот
За слесарно-сборочной,
У выходных ворот.
Солдатки и служанки
Исчезли с мостовых
В вихрях «Варшавянки»
И мастеровых.
Влились в тупик казармы
И — вон из тупика,
Клубясь от солидарности
Брестского полка.

Тогда, и тем решительней,
Чем шире рос поток,

Встревоженные жители
Пустились наутек.
Но железнодорожники
Часам уже к пяти
Заставили порожними
Составами пути.
Дорогой, огибавшей
Военный порт, с утра
Катились экипажи,
Мелькали кучера.
Безмолвствуя, потерянно
Струями вис рассвет,
Толстый, как материя,
Как бисерный кисет.

Деревья всех рисунков
Сгибались в три дуги
Под ранцами и сумками
Сумрака и мги.
Вуали паутиной
Топырились по ртам.
Столбы, скача под шины,
Несли ко всем чертям.
Майорши, офицерши
Запахивали плащ.
Вдогонку им, как шершень,
Свистел шоссейный хрящ.
Вставали кипарисы;
Кивали, подходя;
Росли, чтоб испариться
В кисее дождя.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Вырываясь с моря, из-за почты,
Ветер прет на ощупь, как слепой,
К повороту, несмотря на то что
Тотчас же сшибается с толпой.
Он приперт к стене ацетиленом,
Втопан в грязь, и, несмотря на то,
Трын-трава и — море по колено:
Дует дальше с той же прямоюй.
Вон он бьется, обваривши харю,
За косою рамой фонаря
И уходит, вынырнув на паре
Торопливых крыл нетопыря.

У матросов, несмотря на пору
И порывы ветра с пустыря,
На дворе казармы — шум и споры
Этой темной ночью ноября.
Их галдит за тысячу, и каждым,
Точно в бурю вешний буерак,
Разворочен, взрыт и взбудоражен
И буграми поднят этот мрак.
Пахнет волей, мокрою картошкой,
Пахнет почвой, норками кротов,
Пахнет штормом, несмотря на то что
Это шторм в открытом море ртов.
Тары-бары, шутки балагура,
Слухи, толки, шарканье подошв

Так и ходят вокруг одной фигуры,
Как распространившийся падёж.

Ходит слух, что он у депутатов,
Ходит слух, что едет в комитет,
Ходит слух, — и вот как раз тогда-то
Нарастает что-то в темноте,
И, глуша раскатами догадки
И сметая со всего двора
Караулки, будки и рогатки,
Катится и катится ура.

С первого же сказанного слова
Радость покидает берега.
Он дает улечься ей, и снова
Удесятерять ураган.
Долго с бурей борется оратор.
Обожанье рвется на простор.
Не словами — полной их утратой
Хочет жить и дышит их восторг.
Это объясненье исполинов.
Он и двор обходятся без слов.
Если с ними флаг, то он — малинов.
Если мрак за них, то он — лилов.
Всё же раз доносится: «Эскадра».
Это с тем, чтоб братья да с умом.
И потом другое слово: «Завтра».
Это, верно, о себе самом.

Дорожных сборов кавардак.
«Твоя» твердящая упрямо,
С каракулями на бортах,
Сырая сетка телеграммы.

«Мне тридцать восемь лет. Я сед.
Не обернешься, глядь — кондрашка». —
И с этим об пол хлоп портплед,
Продернув ремешки сквозь пряжки.

И на карачках под диван,
Потом от чемодана к шкапу...
Любовь, горячка, караван
Вещей, переселенных на пол.

Как вдруг звонок, и кабинет
В перекосившемся: «О боже!»
И рядом: «Папы дома нет».
И грохотанье ног в прихожей.

Но двери настезь, и в дверях:
«Я здесь. Я враг кровопролитья».
— «Тогда какой же вы моряк,
Какой же вы тогда политик?»

Вы революционер? В борьбу
Не вяжутся в перчатках дамских».
— «Я собираюсь в Петербург.
Не убеждайте. Я не сдамся».

Подросток-реалист,
Разняв драпри, исчез
С запиской в глубине
Отцова кабинета.
Пройдя в столовую
И уши наострив,
Матрос подумал:
«Хорошо у Шмидта».

Было это в ноябре,
Часу в четвертом.
Смеркалось.
Скромность комнат
Спорила с комфортом.
Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В уютной, как каюта,
Конуре.

Лишь по кутерьме
Пылинок в пятерне портьеры,
Несмело шмыгавших
По книгам, по кошме
И окнам запотелым,
Видно было:
Дело —
К зиме.
Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В глухой тиши, как вдруг

За плотными драпри
Проклятья раздались
Так явственно,
Как будто тут внутри:
«Чухнин! Чухнин?!
Погромщик бесноватый!
Виновник всей брехни!
Разоружать суда?
Нет, клеветник,
Палач,
Инсинуатор,
Я научу тебя, отродье ката, отличать
От правых виноватых!
Я Черноморский флот, холоп и раб,
Забью тебе, как кляп, как клепку,
в глотку».

И мигом ока двери комнаты вразлет.

Буфет, стаканы, скатерть. . .

«Катер?»

— «Лодка!» —

В ответ на брошенный вопрос — матрос,

И оба — вон, очаковец за Шмидтом,

Невпопад, не в ногу, из дневного понемногу

в ночь,

Наугад куда-то, вперехват закату,

По размытым рытвинам садовых гряд.

В наспех стянутых доспехах

Жарких полотняных лат,

В плотном, потном, зимнем платье

С головы до пят,

В облака, закат и эхо

По размытым, сбитым плитам
Променад.

Потом бегом. Сквозь поросли укропа,
Опрометью с оползня в песок,
И со всех ног, тропой наискосок
Кругом обрыва. Топот, топот, топот,
Топот, топот — поворот — другой —
И вдруг как вкопанные, стоп:
И вот он, вот он весь у ног,
Захлебывающийся Севастополь,
Весь вобранный, как воздух, грудью двух
Бездонных бухт,
И полукруг
Затопленного солнца за «Синопом».
С минуту оба переводят дух
И кубарем с последней кручи — бух
В сырую грудь рухнувшего бута.

4

В зимней призрачной красе
Дремлет рейд в рассветной мгле,
Сонно кутаясь в туман
Путаницей мачт
И купаясь, как в росе,
Оторопью рей
В серебре и перламутре
Полумертвых фонарей.
Еле-еле лебезит
Утренняя зыбь.
Каждый еле слышный шелест,

Чем он мельче и дряблей,
Отдается дрожью в теле
Кораблей.

Он спит, притворно занедужась,
Могильным сном, вогнав почти
Трехверстную округу в ужас.
Он спит, наружно вызвав штиль.
Он скрылся, как от колотушек,
В молочно-белой мгле. Он спит
За пеленою малодушья.
Но чем он с панталыку сбит?

С утра на суше — муравейник.
В тумане тащатся войска.
Всего заметней их роенье
Толпе у Павлова мыска.
Пехотный полк из Парлограда
С тринадцатою полевой
Артиллерийскою бригадой
И — проба потной мостовой.

Колеса, кони, пулеметы,
Зарядных ящиков разбег
И — грохот, грохот до ломоты
Во весь Нахимовский проспект.
На Историческом бульваре,
Куда на этих днях свезен
Военный лом былых аварий, —
Донцы и Крымский дивизион.

И любопытство, любопытство:
Трехверстный берег под тупой,

Пришедшей пить или топиться,
Тридцатитысячной толпой
Она покрыла крыши барок
Кишащей кашей черепах,
И ковш Приморского бульвара,
И спуска каменный черпак.
Он ею доверху унизан,
Как копотью несметных птиц,
Копящих силы по карнизам,
Чтоб вихрем гари в ночь нестись.

Когда сбежали испаренья
И солнце, колыхнувши флот,
Всплыло на водяной арене,
Как обалдевший кашалот,
В очистившейся панораме
Обрисовался в двух шагах
От шара — крейсер под парамн,
Как кочегар у очага.

5

Вдруг, как снег на голову, гул
Толпы, как залп, стегнул
Трехверстовой гранит
И откатился с плит.
Ура — ударом в борт, в штурвал,
В бушприт!
Ура навеки, наповал,
Навзрыд!

Над крейсером взвился сигнал:
КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. ШМИДТ.

Он вырвался, как вздох
Со дна души рядна,
И не его вина,
Что не предостерег
Своих, и их застиг врасплох,
И рвется, в поисках эпох,
В иные времена.

Он вскинут, как магнит
На нитке, и на миг
Щетинит целый лес вестей
В осиннике снастей.

Над крейсером взвился сигнал:
КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. ШМИДТ.

И мачты рейда как одна:
Он ими вынесен и смыт,
И перехвачен второпях
На двух — на трех — на четырех
Военных кораблях.

Но иссякает ток подков,
И облетает лес флажков,
И по веревке, как зверек,
Спускается кумач.
А зверь, ползущий на флагшток,
Ужасен, как немой толмач,
И флаг Андреевский — томящ,
Как рок.

Когда с остальными увидел и Шмидт,
 Что только медлительность мига хранит
 Бушприт и канаты
 От града и надо
 Немедля насытить его аппетит,
 Чтоб только на миг оттянуть канонаду,
 В нем точно проснулся дремавший Орфей.
 И что ж он задумал, другого первей?
 Объехать эскадру,
 Усовестить ядра,
 Растрогать стальные созданья верфей.

И на миноносце ушел он туда,
 Где, небо и гавань лоя в невода,
 В снастях, бездыханной
 Семейей богдыханов,
 Династией далее дымились суда.
 Их строй был поистине неисчислим.
 Грядой пристаней не граничился клин,
 Но, весь громоздясь Пелионом на Оссу,
 Под лад броненосцам
 Качался и несся
 Обрывистый город в шпалерах маслин.

Он тихо шел от пушки к пушке,
 А даль неслась.
 Он шел под взглядами опухших,
 Голодных глаз.

И вот, стругая воду, будто
Стальной терпуг,
Он видел не толпу над бухтой,
А Петербург.

Но что могло напомнить юность?
Неужто сброд,
Грязнивший слух, как сток гальюнный
Для нечистот?

С чужих бортов друзья по школе,
Тех лет друзья,
Ругались и встречали в колья,
Петлей грозя.

Назад! Зачем соваться под нос,
Под дождь помой?
Утратят ли боеспособность
«Синоп» с «Чесмой»?

8

Снова, на миг повернувшись круто,
Город от криков задрожал:
На миноносец брали с «Прута»
Освобожденных каторжан.
Снова, приветствуем экипажем,
На броненосцы всходил и глох,
И офицеров брал под стражу,
И вводил с собой в залог.

В смене отчаянья и отваги
Вновь, озираясь, мертвел, как холст:

Всюду суда тасовали флаги.
Стяг государства за красным полз.
По возвращеньи же на «Очаков»,
Искрой надежды еще согрет,
За волоса схватясь, заплакал,
Как на ладони увидев рейд.

«Эх, — простонал, — без ножа доконали!»
Натиском зарев рдела вода.
Дружно смеркалось. Рейд удлиняли
Тучи, косматясь, как в холода.
С суши, в порыве низкопоклонства,
Шибче, чем надо, как никогда,
Падали крыши складов и консульств,
Камни и тени, скалы и солнце
В воду и вечность, как невода.
Всё закружилось так, что в финале
Обморок сшиб его без труда.

9

Был выпретен, как сердце,
И тих закат, как вдруг
Метнула пушка с «Терца»
Икру.

Мгновенный взрыв котельной,
Далекий крик с байдар,
И — под воду. Смертельный
Удар!

От катера к шаландам
Пловцы, тела, балласт.
И радость: часть команды
Спаслась.

И началось. Пространства,
Клубясь, метнулись в бой,
Чтоб пасть и опростаться
Пальбой.

10

Внутри настала ночь. Снаружи
Зарделся движущийся хвост
Над войском всех родов оружия
И свойств.

Он лез, грабастая овраги,
И треском разгонял толпу,
И пламенел, и гладил флаги
По лбу.

Как сумерки, сгустились снасти.
В ревушей, хлещущей дряпне
Пошла валить, как снег в ненастье,
Шрапнель.

Она рвалась, в лету, на жнивьях,
В расцвете лет людских, в воде,
Рождая смерть, и визг, и вывих
Везде.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

«Всё отшумело. Вставши поодаль,
Чувствую всею силой чутья:
Жребий завиден. Я жил и отдал
Душу свою за други своя.

Высшего нет. Я сердцем — у цели
И по пути в пустыках не увяз.
Крут был подъем, и сегодня, в сочельник,
Ошеломляюсь, остановясь.

Но объясни. Полюбив даже вора,
Как не рвануться к нему в каземат
В дни, когда всюду только и спору,
Нынче его или завтра казнят?

Ты ж предпочла омрачить мне остаток
Дней. Прости мне эти слова.
Спор подогнал бы таянье святок,
Лучше задержим бег Рождества.

Где он, тот день, когда, вскрыв телеграмму,
Всё позабыв за твоим «навсегда»,
Жил я мечтой, как помчусь и нагряну?
Как же, ты скажешь, попал я сюда?

В вечер ее получения был митинг.
Я предрекал неуспех мятежа,

Но уж ничто не могло вразумить их.
Ехать в ту ночь означало бежать.

О, как рвался я к тебе! Было пыткой
Браться и знать, что народ не готов,
Жертвовать встречей и видеть в избытке
Доводы в пользу других городов.

Вера в разъезд по фабричным районам,
В новую стачку и новый подъем,
Может, сплеталась во мне с затаенным
Чувством, что ездить будем вдвоем.

Но повалила волна депутатий,
Дума, эсдеки, звонок за звонком.
Выехать было нельзя и пытаться.
Вот и кончаю бунтовщиком.

Кажется, всё. Я гораздо спокойней,
Чем ожидают. Что бишь еще?
Да, а насчет севастопольской бойни,
В старых газетах — полный отчет».

2

Послепогромной областью почтовый поезд
в Рóмны
Сквозь вопли вьюги доблестно прокладывает
путь.
Снаружи — вихря гарканье, огарков проблеск
темный,
Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет ртуть.

*

Огни и искры чиркают, и дым над изголовьем
Бежит за пассажиркою по лестницам витым.
В одиннадцать, не вынеся немолчного злословья,
Она встает и — к выходу на вызов клеветы.

И молит, в дверь просунувшись: «Прошу вас,
не шумите. . .

Нельзя же до полуночи!» И разом в лязг и дым
Уносит оба голоса и выдумку о Шмидте
И вьет и тащит по лесу, по лестницам витым.
Наверно, повод есть у ней, отворотясь

к простенку,
Рыдать, сложа ответственность в сырой комок
платка.

Вы догадались, кто она. — Его корреспондентка.
В купе кругом рассованы конверты моряка.

А в ту же ночь в Очакове в пурге и мыльной
пене

Полощет створки раковин песчаная коса.
Постройки есть на острове, острог и укрепление.
Он весь из камня острого, и — чайки на часах.
И неизвестно едущей, что эта крепость-тезка
(Очаков — крестный дедушка повстанца-корабля)
Таит по злой иронии звезду надежд матросских,
От взора постороннего прибоем отделя.

Но что пред забастовкою почтово-телеграфной
Все тренья и неловкости во встрече двух сердец!

Потом вдали из кучки пирамид
Привстал маяк поганкою мухортой.
«Мадам, вот остров, где томится Шмидт», —
И публика шагнула вправо к борту.
Когда пороховые погреба
Зашли за строй бараков карантинных,
Какой-то образ трупного гриба
Остался гнить от виденной картины.

Понурый, хмурый, черный островок
Несло водой, как шляпку мухомора.
Кружась в водовороте, как плевок,
Он затонул от полного измора.
Тем часом пирамиды из химер
Слагались в город, становились тверже
И вдруг, застав слезами глазомер,
Образовали крепостные горжи.

4

Однако как свежо Очаков дан у Данта!
Амбары, каланча, тачанки, облака. . .
Всё это так, но он дорогой к коменданту,
В отличие от нее, имел проводника.

Как ткнуться? Что сказать? Перебрала
оттенки.
«Я — confidentка Шмидта? Я — его дневник?
Я — крик его души из номеров Ткаченки,
Вот для него цветы и связка старых книг?»

Удобно ли тогда с корзиной гиацинтов,
Не значась в их глазах ни в браке, ни
в родстве?» —
Так думала она, и ветер рвал косынку
С земли, и даль неслась за крепостной
бруствер.

Но это всё затмил прием у генерала.
Индюшачий кадык спирал сухой коклюш.
Желтел натертый пол, по окнам темь ныряла,
И снег махоркой жег больные глотки луж.

5

Уездная глушь захолустья.
Распев петухов по утрам,
И холостящий устье
Весенний флюс Днепра.
Таким дрянным городишкой
Очаков во плоти
Встает, как смерть, притихши
У шмидтовцев на пути

Похоже, с лент матросских
Сошедши без следа,
Он стал землей в отместку
И местом для суда.
Две крепости, два погоста
Да горсточка халуп,
Свиней и галок вдосталь
И офицерский клуб.

Без преувеличенья
Ты слышишь в эту тишь,
Как хлопаются тени
С пригретых солнцем крыш.
И звякнет ли шпорами ротмистр,
Прослякотит ли солдат,
В следах их — соли подмесь.
Вся отмель — точно в сельдях.

О, суши воздух ковкий,
Земли горячий фарш!
«Караул, в винтовки!
Партия, шагом марш!»
И, вбок косясь на приезжих,
Особым скоком сорок
Сторонится побережье
На их пути в острог.

О, воздух после трюма
И высадки триумф!
Но в этот час угрюмый
Ничто нейдет на ум.
И горько, как на расстанках,
Качают головой
Заборы, арестанты,
И кони, и конвой.

Прошли, — и в двери с бранью
Костяшками бьет тишина...
Военного собранья
Фисташковая стена.

Из зал выносят мебель.
В них скоро ворвется гул.
Два писаря. Фельдфебель.
Казачий подъесаул.

6

Над Очаковым пронес
Ветер тучу слез и хмари
И свалился на базаре
Наковальнею в навоз.

И, на всех остервенясь,
Дождик, первенец творенья,
Горсть за горстью, к горсти горсть,
Хлынул шумным увереньем
В снег и грязь, в снег и грязь,
На зиму остервенясь.

А немного погода,
С треском расшатавши крючья,
Шлепнулся и всею тучей
Водяной бурдюк дождя.

Этот странный талисман,
С неба сорванный истомой,
Весь — туманного письма,
Рухнул вниз не по-пустому.
Каждым всхлипом он прилип
К разрывным побегам лип
Накладным листом пистона.

Хлопнуть в плоть, пропороть,
Выстрел, цвет, тепло и плоть.

Но зима не верит в близость,
В даль и смерть верит снег.
И седое небо, низясь,
Сыплет пригоршнями известь.
Это зимний катехизис
Шепчут хлопья в полусне.

И, шипя, кружит крупа
По небу и мертвой глине,
Но мгновенный вздох теплыни
Одевает черепа.

Пусть тоща, как щепя,
Вязь цветочного шипа,
Новолунию улыбаясь,
Как на шапке шалопая,
Сохнет краска голубая
На сырых концах серпа.

И, долбя и колулая
Льдины старого пласта,
Спит и ломом бьет по сини,
Рты колоколов разиня,
Размечтавшийся в уныньи
Звон великого поста.

Наблюдая тяжбу льда,
В этом звяканьи спросонья

Подоконниками тонет
Зал военного суда.

Всё живое беззаконье,
Вся душевная бурда
Из зачатий и агоний
В снеге, слякоти и звоне
Перед ним как на ладони,
Ныне так же, как тогда.

Чем же занято собрание?
Казнь звали в те года
Переправу к Березани.
Современность просит дани:
Высшей мере наказанья
Служат эти господа.

7

Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтение, чтение, чтение, несмотря
Головокружение, несмотря
На пары нашатыря и пряный,
Пьяный запах слез и валерьяны,
Чтение без пенья тропаря,
Рама, и жандармы-ветераны,
Шаровары и кушак царя,
И под люстрой зайчик восьмигранный.

Чтение, несмотря на то что рано
Или поздно сами, будет день,

Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседелых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,
Будут высшие соображенья
И капли вешней дребедень.
Будут схватки астмы. Будет чтение,
Чтение, чтение без конца и пауз.

Версты обвинительного акта,
Шапку в зубы, только не рыдать!
Недра шахт вдоль Нерчинского тракта.
Каторга, какая благодать!
Только что и думать о соблазне.
Шапку в зубы — да минуй озноб!
Мысль о казни — топи непролазней:
С лавки съедешь, с головой увязнешь,
Двинешься, чтоб вырваться, и — хлоп.
Тормошат, повертывают навзничь,
Отливают, волокут, как сноп.

В перерывах — таска на гауптвахту
Плотной кучей, в полузабытьи.
Ружья, лужи, вязкий шаг без такта,
Пики, гики, крики: «Осади!»
Утки — крикать, курицы — кудахтать,
Свист нагаек, взбрызги колен.
Это небо, пахнущее как-то
Так, как будто день, как масло, спехтан!
Эти лица, и в толпе — свои!
Эти бабы плачущие в плахтах!
Пики, гики, крики: «Осади!»

Кому-то стало дурно.
Казалось, жуть минуты:
Простерлась от Кинбурна
До хуторов и фольварков
За мысом Тарканхутом
Послышалось сморканье
Жандармов и охранников,
И жилы вздулись жолвями
На лбах у караульных.
Забывши об уставе,
Конвойные оставили
Полуживые ружья
И терли кулаками
Трясущиеся скулы.

При виде этой вольности
Кто-то безотчетно
Полез уж за револьвером,
Но так и замер в позе
Предчувствия чего-то,
Похожего на бурю,
С рукой на кобуре.
Волнение предгрозя
Окуталось удушьем,
Давно уже идущим
Откуда-то от Ольвии.

И вот он поднялся.

Слепой порыв безмолвия
Стянул гусиной кожей

Тазы и пояса
И, протащившись с дрожью,
Как зябкая оса,
По записям и папкам,
За пазухи и шапки
Заполз под волоса.

И, точно шла работа
По сборке эшафота,
Стал слышен частый стук
Полутора ста штук
Расколебавших сумрак
Пустых сердечных сумок.
Все были предупреждены,
Но это превзошло расчеты.
«Тише!» — крикнул кто-то,
Не вынесши тишины.

«Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

Как вы, я — часть великого
Перемещенья сроков,
И я приму ваш приговор
Без гнева и упрека.

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю,
И снисхожденья вашего
Не жду и не теряю.

В те дни, — а вы их видели,
И помните, в какие, —
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее,
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью».

9

Двум из осужденных, а всех их было четверо, —
Думалось еще — из четырех двоим.
Ветер гладил звезды горячо и жертвенно
Вечным чем-то, чем-то зиждущим своим.

Распростившись с ними, жизнь брела по дамбе,
Удаляясь к людям в спящий городок.
Неизвестность вздрагивала плавниками камбалы.
Тихо, миг за мигом рос ее приток.

Близился конец, и не спалось тюремщикам,
Быть в тот миг могло примерно два часа.
Зыбь переминалась, пожирая жемчуг.
Так, чем свет, в конюшнях дремлет хруст овса.

Остальных пьянила ширь весны и каторги.
Люки были настезь, и, точно у миног,
Округлясь, дышали рты иллюминаторов.
Транспорт колыхался, как сонный осьминог.

Вдруг по тьме мурашками пробежал прожектор.
«Прут» зевнул, втянув тысячеперстье лап.
Свет повел ноздрями, пробираясь к жертвам.
Заскрипели петли. Упал железный трап.

Это канонерка пристала к люку угольному.
Свет всадил с шипеньем внутрь свою иглу.
Клетку ослепило. Отпрянули испуганно.
Путаясь костями в цепях, забились вглубь.

Но затем, не в силах более крепиться,
Бросились к решетке, коясь о снап лучей,
И, крича: «Не мучьте! Кончайте, кровопийцы!» —
Потянулись с дрожью в руки палачей.

Счет пошел на миги. Крик: «Прощай,
товарищи!» —
Породил содом. Прожектор побежал,
Окунаясь в вопли, по люкам, лбам и наручням
И пропал, потушенный рыданьем каторжан.

Март 1926 — март 1927

СПЕКТОРСКИЙ

ВСТУПЛЕНИЕ

Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячество пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым
Я первую на нем заметил проседь.

Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.

Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Вылавливая их, как водолаз,
Я по журналам понырял немало.

Мандат предоставлял большой простор.
Пуская в дело разрезальный ножик,
Я каждый день форсировал Босфор
Малодоступных публике обложек,

То был двадцать четвертый год. Декабрь
Твердел, к окну витринному притертый,
И холодел, как оттиск медяка
На опухоли теплой и нетвердой.

Читальни департаментский покой
Не посещался шумом дальних улиц.
Лишь ближней, с перевязанной щекой,
Мелькал в дверях рабочий ридикюлец.

Обычно ей бывало не до ляс
С библиотечаршей Наркоминдела.
Набегавшись, она во всякий час
Неслась в снежинках за угол по делу.

Их колыхало, и сквозь флер невзгод,
Косясь на комья светло-серой грусти,
Знакомился я с новостями мод
И узнавал о Конраде и Прусте.

Вот в этих-то журналах, стороной,
И стал встречаться я как бы в тумане
Со славою Марии Ильиной,
Снискавшей нам всемирное вниманье.

Она была в чести и на виду,
Но указанья шли из страшной дали
И отсылали к старому труду,
Которого уже не обсуждали.

Скорей всего, то был большой убор
Тем более дремучей, чем скупее

Показанной читателю в упор,
Таинственной какой-то эпопеи,

Где, верно, всё, что было слез и снов
И до крови кроил наш век-закройщик,
Простерлось красотой без катастроф
И стало правдой сроков без отсрочки.

Все, как один, всяк за десятерых,
Хвалили стиль и новизну метафор,
И с островами спорил материк,
Английский ли она иль русский автор.

Но я не ведал, что проистечет
Из этих внеслужебных интересов.
На рождестве я получил расчет,
Пути к дальнейшим розыскам отрезав.

Тогда в освободившийся досуг
Я стал писать Спекторского, с отвычки
Занявшись человеком без заслуг,
Дружившим с упомянутой москвичкой.

На свете былей непочатый край,
Ничем не замечательных — тем боле.
Не лез бы я и с этой, не сыграй
Статьи о ней своей особой роли.

Они упали в прошлое снопом
И озарили часть его на диво.
Я стал писать Спекторского в слепом
Повиновеньи силе объектива.

Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал.
Но я писал про короб лучевой.
В котором он передо мной маячил.

Про мглу в мерцаньи плоски погребной,
Которой ошибают прозы дебри,
Когда нам ставит волосы копной
Известье о неведомом шедевре.

Про то, как ночью, от норы к норе,
Дрожа, протягиваются в далекость
Зонты косых московских фонарей
С тоской дождя, попавшею в их фокус.

Как носят капли вести о езде,
И всю-то ночь всё цокают да едут,
Стуча подковой об одном гвозде
То тут, то там, то в тот подъезд, то в этот.

Светает. Осень, серость, старость, муть.
Горшки и бритвы, щетки, папильотки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.

Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.
Железных крыш авторитетный тезис.
Но где ж тот дом, та дверь, то детство, где
Однажды мир прорезывался, грезясь?

Где сердце друга? — Хитрых глаз прищур.
Знавали ль вы такого-то? — Наслышкой.

Да, видно, жизнь проста... но чересчур.
И даже убедительна... но слишком.

Чужая даль. Чужой, чужой из труб
По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И, отчуждением обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник.

1

Весь день я спал, и, рушась от загона,
На всем ходу гася в колбасных свет,
Совсем еще по-зимнему вагоны
К пяти заставам заматали след.

Сегодня ж ночью, теплым ветром залит,
В трамвайных парках снег сошел дотла.
И не напрасно лампа с жаром пялит
Глаза в окно и рвется со стола.

Гашу ее. Темь. Я ни зги не вижу.
Светает в семь, а снег, как нáзло, рыж.
И любо ж, верно, крякать уткой в жиже
И падать в слякоть, под кропила крыши!

Жует губами грязь. Орут невежи.
По выбоинам стынет мутный квас.
Как едет в такую рань приезжей,
С самой посадки не смежавшей глаз?

Ей гололедица лепечет с дрожью,
Что время позже, чем бывает в пять.

Распутица цепляется за вожжи,
Торцы грозятся в луже искупать.

Какая рань! В часы утра такие,
Стихиям четверем открывши грудь,
Лихие игроки, фехтуя кием,
Кричат кому-нибудь: «Счастливый путь!»

Трактирный гам еще глушит тетерю,
Но вот, сорвав отдушину трескотню,
Порыв разгула открывает двери
Земле, воде, и ветру, и огню.

Как лешие, земля, вода и воля
Сквозь сутолоку вешалок и шуб
За голою русалкой алкоголя
Врываются, ища губами губ.

Давно ковры трясут и лампы тушат,
Не за горой заря, но и скорей
Их четвертует трескотня вертушек,
Кроит на части звон и лязг дверей.

И вот идет подвыпивший разиня.
Кабак как в половодье унесло.
По лбу его, как по галош резине,
Проволоклось раздолий помело.

Пространство спит, влюбленное
в пространство,
И город грезит, по уши в воде,
И море просьб, забывшихся и страстных,
Спросонья плещет неизвестно где.

Стоит и за сердце хватает бормот
Дворов, предместий, мокрой мостовой,
Калиток, капель. . . Чудный гул без формы,
Как обморок и разговор с собой.

В раскатах затихающего эха
Неистовствует прерванный досуг:
Нельзя без истерического смеха
Лететь, едва потребуют услуг.

«Ну и калоши. Точно с людоеда.
Так обменяться стыдно и в бреду.
Да ну их к ляду, и без них доеду,
А не найду извозчика — дойду».

В раскатах, затихающих к вокзалам,
Бушует мысль о собственной судьбе,
О сильной боли, о довольстве малым,
О синей воле, о самом себе.

Пока ломовики везут товары,
Остатки ночи предают суду,
Песком полощут горло тротуары
И клубы дыма борются на льду,

Покамест оглашаются открытья
На полном съезде капель и копыт,
Пока бульвар с простительною прытью
Скамью дождем растительным кропит,

Пока березы, метлы, голодранцы,
Афиши, кошки и столбы скользят
Виденьями влюбленного пространства,
Мы повесть на год отведем назад.

2

Трещал мороз, деревья вязли в кружке
Пунцовой стужи, пьяной, как крющон,
Скрипучий сумрак раскупал игрушки
И плыл в ветвях, от дола отрешен.

Посеребренных ног роскошный шорох
Пугал в полете сизых голубей,
Волокся в дыме и висел во взорах
Воздушным лесом елочных цепей.

И солнца диск, едва проспавшись, сразу
Бросался к жженке и, круша сервиз,
Растягивался тут же возле вазы,
Нарезавшись до положенья риз.

Причин средь этой сладкой лихорадки
Нашлось немало, чтобы к Рождеству
Любовь, с сердцами наигравшись в прятки,
Внезапно стала делом наяву.

Был день, Спекторский понял, что
не столько
Прекрасна жизнь, и Ольга, и зима,
Как подо льдом открылся ключ жестокий,
Которого исток — она сама.

И чем наплыв у проруби громадней,
И чем его растерянность видней,
И чем она милей и ненаглядней,
Тем ближе срок, и это дело дней.

Поселок дачный, срубленный в дуброве,
Блистал слюдой, переливался льдом,
И целым бором ели, свесив брови,
Брели на полузанесенный дом.

И, набредя, спохватывались: вот он,
Косою ниткой инея исшит,
Вчерашней бурей на живуху сметан,
Пустыню комнат бацлыком вершит.

Валясь от гула и людьми покинут,
Ночами бредя шумом полых вод,
Держался тем балкон, что вьюги минут,
Как позапрошлый и как прошлый год.

А там, от леса влево, где-то с тылу
Шатая ночь, как воспаленный зуб,
На полустанке лампочка коптила
И жили люди, не снимая шуб.

Забытый дом служил как бы резервом
Кружку людей, знакомых по Москве,
И потому Бухтеевым не первым
Подумалось о нем на Рождестве.

В самом кружке немало было выжиг,
Немало присоседилось извне.
Решили Новый год встречать на лыжах,
Неся расход со всеми наравне.

Их было много, ехавших на встречу.
Опустим планы, сборы, переезд.
О личностях не может быть и речи.
На них поставим лучше тут же крест.

Знаком ли вам сумбур таких компаний,
Благоприятный бурной тайне двух?
Кругом галдят, как бубенцы в тимпане,
От сердцевины отвлекая слух.

Счесть невозможно, сколько новогодних
Встреч было ими sprysнуто в пути.
Они нуждались в фонарях и сходнях,
Чтоб на разъезде с поезда сойти.

Он сплыл, и колесом вдоль чаш ушастых
По шпалам стал ходить, и прогудел
Чугунный мост, и взвыл лесной участок,
И разрыдался весь лесной удел.

Ночные тени к кассе стали красться.
Простор был ослепительно волнист.
Толпой ввалились в зал второго класса
Переобуться и нанять возниц.

Не торговались — спьяна люди щедры,
Не многих отрезвляла тишина.
Пожар несло к лесам попутным ветром,
Бренчаньем сбруи, бульканьем вина.

Был снег волнист, окольный путь — извилист,
И каждый шаг готовил им сюрприз.
На розвальнях до колики резвились,
И женский смех, как снег, был серебрист.

«Не слышу. Это тот, что за березой?
Но я ж не кошка, чтоб впотьмах...» Толчок,
Другой и третий — и конец обоза
Влетает в лес, как к рыбаку в сачок.

«Особенно же я вам благодарна
За этот такт; за то, что ни с одним...»
Ухаб, другой. «Ну, как?» — «А мы на парных.
А мы кульков своих не отдадим».

На вышке дуло, и, меняя скорость,
То замирали, то неслись часы.
Из сада к окнам стаскивали хворост
Четыре световые полосы.

Внизу смеялись. Лежа на диване,
Он под пол вниз перебирался весь,
Где праздник обгоняло одеванье.
Был третий день их пребывания здесь.

Дверь врезалась в сугроб на пол-аршина.
Год и на воле явно иссякал.

Рядок обледенелых порошинок
Упал куском с дверного косяка,

И обступила тьма. «А ну, как срежусь?» —
Мелькнула мысль, но, зажимая рот,
Ее сняла и опровергла свежесть
К самим перилам кравшихся широт.

В ту ночь еще ребенок годовалый
За полную неопытностью чувств,
Он содрогался. «В случае провала
Какой я новой шуткой отшучусь?»

Закрыв глаза, он ночь, как сок арбуза,
Впивал, и снег, вливаясь в душу, рдел.
Роптала тьма, что год и ей в обузу.
Всё порывалось за его предел.

Спустившись вниз, он разом стал в затылок
Пыланью ламп, опилок, подолов,
Лимонов, яблок, колпаков с бутылок
И снежной пыли, ползшей из углов.

Все были в сборе, и гудящей бортью
Бил в переборки радости прилив.
Смеялись, торт черт знает чем испортив,
И фыркали, салат пересолив.

Рассказывать ли, как столпились, сели,
Сидят, встают, — шумят, смеются, пьют?
За рубенсовской росписью веселья
Мы влюбимся, и тут-то нам капут:

Мы влюбимся, тогда конец работе,
И дни пойдут по гулкой мостовой
Скакать через колесные ободья
И колотиться обзёмь головой.

Висит и так на волоске поэма.
Да и забыться я не вижу средств:
Мы без суда осуждены и немы,
А обнесенный будет вечно трезв.

За что же пьют? За четырех хозяек.
За их глаза, за встречи в мясоед.
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.

В разгаре ужин. Вдруг, без перехода:
«Нет! Тише! Рано! Встаньте! Ваши врут!
Без двух!.. Без возражений!.. С Новым
годом!»
И гранных дюжин громовой салют.

«О мальчик мой, и ты, как все, забудешь
И, возмужавши, назовешь мечтой
Те дни, когда еще ты верил в чудищ?
О, помни их, без них любовь ничто.

О, если б мне на память их оставить!
Без них мы прах, без них равны нулю.
Но я люблю, как ты, и я сама ведь
Их нынешнею ночью утоплю.

Я дуновеньем наготы свалю их.
Всей женской подноготной растворю.
И тени детства схлынут в поцелуях.
Мы разойдемся по календарю.

Шепчу? — Нет, нет. — С ликером, и покрепче.
Шепчу не я, — вишневки чернота.
Карениной, — так той дорожный сцепщик
В бреду под чепчик что-то бормотал».

Идут часы. Поставлены шарады.
Сдвигают стулья. Как прибор, клубит
Не то оркестра шум, не то оршада,
Висячей лампой к скатерти прибит.

И год не нов. Другой новей обещан.
Весь вечер кто-то чистит апельсин.
Весь вечер вьюга, не щадя затрещин,
Врывается сквозь трещины тесин.

Но юбки вьются, и поток ступеней,
Сорвавшись вниз, отпрядывает вверх.
Ядро кадрили в полном исступленьи
Разбрызгивает весь свой фейерверк,

И всё стихает. Точно топот, рухнув
За кухню, попал в провал, в Мальстрем,
В века... Рассвет. Ни звука. Лампа тухнет,
И елка иглы осыпает в крем.

До лыж ли тут! Что сделалось с погодой?
Несутся тучи мимо деревень.
И штук пятнадцать солнечных заходов
Отметили в окно за этот день.

С утра назавтра с кровли, с можжевелин
Льет в три ручья. Бурда бурдой. С утра
Промозглый день теплом и ветром хмелен,
Точь-в-точь как сами лыжники вчера.

По талой каше шлепают калошки.
У поля всё смешалось в голове.
И облака, как крашенные ложки,
Крутятся, плывут в вареной синеве.

На пятый день, при всех, Спекторский, бойко.
Взглянув на Ольгу, говорит, что спектр
Разложен новогодней попойкой
И оттого-то пляшет барометр.

И так как шутка не совсем понятна
И вокруг нее стихает болтовня,
То, путаясь, он лезет на попятный
И, покраснев, смолкает на два дня.

3

«Для бодрости ты б малость подхлестнул.
Похоже, жаркий будет день, разведрясь».
Чихает цинк, ручьи сочат весну,
Шуруя снег, бушует левый подрез.

Струится грязь, ручьи на все лады,
Хваля весну, разворковались в голос,
И, выдирая полость из воды,
Стучит, скача по камню, правый полоз.

При въезде в переулок он на миг
Припомнит утро въезда к генеральше.
Приятно будет, показав язык
Своей норе, проехать фертом дальше.

Но что за притча! Пред его дверьми
Слезает с санок дама с чемоданом.
И эта дама — «Стой же, черт возьми!
Наташа, ты? . . . Негаданно, неожиданно? . . .

Вот радость! Здравствуй. Просто стыд
и срам.
Ну что б черкнуть? Как ехалось? Надолго?
Оставь, пустое, взволоку и сам.
Толкай смелей, она у нас заволгла.

Да, резонанс ужасный. Это в сад.
А хоть и спят? Ну что ж, давай потише.
Как не писать, писал дня три назад.
Признаться, и они не чаще пишут.

Вот мы и дома. Ставь хоть на рояль.
Чего ты смотришь?» — «Боже, сколько пыли!
Разгром! Что где! На всех вещах вуаль.
Скажи, тут, верно, год полов не мыли?»

Когда он в сумерки открыл глаза,
Не сразу он узнал свою берлогу.
Она была светлей, чем бирюза
По выкупе из долгого залога.

Но где ж сестра? Куда она ушла?
Откуда эта пара цинерарий?
Тележный гул колеблет гладь стекла,
И слышен каждый шаг на тротуаре.

Горит закат. На переплетах книг,
Как угли, тлеют переплеты окон.
К нему несут по лестнице сеник,
Внизу на кухне громынули блоком.

Не спите днем. Пластается в длину
Дыханье парового отопленья.
Очнувшись, вы очутитесь в плену
Гнетущей грусти и смертельной лени.

Несдобровать забывшемуся сном
При жизни солнца, до его захода.
Хоть этот день — хотя бы этим днем
Был вешний день тринадцатого года.

Не спите днем. Как временный трактат,
Скрепит ваш сон с минувшим мировую.
Но это перемирие прекратят!
И дернуло ж вас днем на боковую.

Вас упоил огонь кирпичных стен,
Свалила пренебрегнутая прелесть
В урочный час неоцененных сцен,
Вы на огне своих ошибок грелись.

Вам дико всё. Призвание, год, число.
Вы угорели. Вас качала жалость.
Вы поняли, что время бы не шло,
Когда б оно на нас не обижалось.

4

Стояло утро, летнего теплей,
И ознаменовалось первой крупной
Головомойкой в жизни тополей,
Которым сутки стукнуло невступно.

Прошедшей ночью свет увидел дерн.
Дорожки просыхали, как дерюга.
Клубясь бульварным рокотом валторн,
По ним мячом катился ветер с юга.

И той же ночью с часа за второй,
Вооружась «Громокипящим кубком»,
Последний сон проспори́л брат с сестрой.
Теперь они носились по покупкам.

Хвосты у касс, расчеты и чай
Влияли мало на Наташин норов,

И в шуме предотъездной толчеи
Не обошлось у них без разговоров.

Слова лились, внезапно становясь
Бессвязней сна. Когда ж еще вдобавок
Приказчик расстилал пред ними бязь,
Остаток связи спарывал прилавок.

От недосыпу брат молчал и кис,
Сестра ж трещала под дыханьем бриза,
Как языки опущенных маркиз
И сквозняки и лифты Мерилиза.

«Ты спрашиваешь, отчего я злюсь?
Садись удобней, дай и я подвинусь.
Вот видишь ли, ты — молод, это плюс,
А твой отрыв от поколенья — минус.

Ты вне исканий, к моему стыду.
В каком ты стане? Кстати, как неловко,
Что за отъездом я не попаду
С товарищами Паши на маевку.

Ты возразишь, что я неглубока?
По-твоему, ты мне простишь поспешность,
Я что-то вроде синего чулка
И только всех обманывает внешность?»

«Оставим спор, Наташа. Я не прав?
Ты праведница? Ну и на здоровье.

Я сыт молчаньем без твоих приправ.
Прости, я б мог отбрить еще суровей».

Таким-то родом оба провели
Последний день, случайно не повздорив.
Он начался, как сказано, в пыли,
Попал под дождь и к ночи стал лазорев.

На Земляном Валу из-за угла
Встает цветник, живой цветник из Фета.
Что и земля как клумба и кругла,
Поют судки вокзального буфета.

Бокалы. Карты кушаний и вин.
Пивные сетки. Пальмовые ветки.
Пары борща. Процессии корзин.
Свистки, звонки. Крахмальные салфетки.

Кондуктора. Ковши из серебра.
Литые бра. Людских роев метанье.
И гулкие удары в буфера
Тарелками со щавелем в сметане.

Стеклянные воздушные шары.
Наклонность сводов к лошадиным дозам.
Прибытие огнедышащей горы,
Несомой с громом потным паровозом.

Потом перрон и град шагов и фраз —
И чей-то крик: «Так, значит, завтра
в Нижнем?»»

И у окна: «Итак, в последний раз.
Ступай. Мы больше ничего не выжмем».

И вот, залившись тонкой фистулой,
Чугунный смерч уносится за Язуу
И осыпает просеки золой,
И пилит лес сипеньем вестингауза,

И почищает вырубки сплеча,
И, разлетаясь всё неизреченней,
Несет жену фабричного врача
В чехле из гари к месту назначенья.

С вокзала возвращаются с трудом,
Брезгливую улыбку пересилия.
О город, город, жалкий скопидом,
Что ты собрал на льне и керосине?

Что перенял ты от былых господ?
Большой ли капитал тобою нажит?
Бегущий к паровозу небосвод
Содержит всё, что сказано и скажут.

Ты каторгой купил себе уют
И путаешься в собственных расчетах,
А по предместьям это сознают
И в пригородах вечно ждут чего-то.

Догадки эти вовсе не кивок
В твой огород, ревнивый теоретик.
Предвестий политических тревог
Довольно мало в ожиданьях этих.

Но эти вещи в нравах слобожан,
Где кругозор свободнее гораздо,
И, городской рубеж перебежав,
Гуляет роц зеленая зараза.

Природа ж — ненадежный элемент.
Ее вовек оседло не поселишь.
Она всем телом алчет перемен
И вся цветет из дружной жажды зрелищ.

Всё это постигаешь у застав,
Где с фонарями в выкаченном чреве
За зданья задевают поезда
И рельсами беременны деревья;

Где нет мотивов и перипетий,
Но, аппетитно выпятив цилиндры,
Паровичок на стрелке кипит
Туман лугов, как молоко с селитрой.

Всё это постигаешь у застав,
Где вещи рыщут в растворенном виде.
В таком флюиде встретил их состав
И мой герой, из тьмы вокзальной выйдя.

Заря вела его на поводу
И, жаркой лайкой стягивая тело,
На деле подтверждала правоту
Его судьбы, сложенья и удела.

Он жмурился и чувствовал на лбу
Игру той самой замши и шагрени,

Которой небо кутало толпу
И сутолоку мостовой игреней.

Затянутый всё в тот же желтый жар
Горячей кожи, надушенной амброй,
Пылил и плыл заштатный тротуар,
Раздувши ставни, парные, как жабры.

Но по садам тягучий матерьял
Преображался, породнясь с листвою,
И одухотворялся, и терял
Всё, что на гулкой мостовой усвоил.

Где средь травы, тайком, наедине,
Дорожку к дому огненно наохрив,
Вечерний сплав смертельно леденел,
Как будто солнце ставили на погреб.

И мрак бросался в головы колонн,
Но, крупнолистый, жесткий и тверезый,
Пивным стеклом играл зеленый клен,
И ветер пену сбрасывал с березы.

5

Едва вагона выгнутая дверь
Захлопнулась за сестриной персоной,
Действительность, как выпавшийся зверь,
Потягиваясь, поднялась спросонок.

Она не выносила пустомель,
И только ей вернули старый навык —

Вдохнула вслух, как дышит карамель
В крахмальной тьме колониальных лавок.

Учуяв нюхом эту москатель,
Голодный город вышел из берлоги,
Мотнул хвостом, зевнул и раскатил
Тележный гул семи холмов отлогих.

Тоска убийств, насилий и бессудств
Ударила песком по рту фортуны
И сжала крик, теснившийся из уст
Красноречивой некогда вертуньи.

И так как ей ничто не шло в башку,
То не судьба, а первое пустое
Несчастье приготовилось к прыжку,
Запасишь склянкой с серной кислотой.

Вот тут с разбега он и налетел
На Сашку Бальца. Всею сквозной округой.
Всею тьмой. На полусон. На полутень.
На что-то вроде рока. Вроде друга.

Всею световой натугой — на портал,
Всею лайкою упругой — на деревья,
Где Бальц как перст перчаточный торчал.
А говорили — болен и в Женеве.

И точно нáзло он его стерег
Намеренно под тем дверным навесом,
Куда Сережу ждали на урок
К отчаянному одному балбесу.

Но выяснилось — им в один подъезд,
Где наверху в придачу к прошлым тещам
У Бальца оказался новый тесть,
Одной из жен пресимпатичный отчим.

Там помещался новый Бальцев штаб.
Но у порога кончилась морока,
И, пятясь из приятелевых лап,
Сергей поклялся забежать с урока.

Смешная частность. Сашка был мастак
По части записного словоблудья.
Он ждал гостей и о своих гостях
Таинственно заметил: «Будут люди».

Услышав сей внушительный посул,
Сергей представил некоторой Меккой
Эффектный дом, где каждый венский стул
Готов к пришествию сверхчеловека.

Смеясь в душе: «Приступим, — возгласил,
Входя, Сережа. — Как делишки, Миша?»
И, сдерживаясь из последних сил,
Уселся в кресло у оконной ниши.

«Не странно ли, что всё еще висит,
И дуется, и сесть не может солнце?»
Обдумывая будущий визит,
Не вслушивался он в слова питомца.

Из окон открывался чудный вид,
Обитый темно-золотистой кожей.
Диван был тоже кожей обит.
«Какая чушь!» — подумалось Сереже.

Он не любил семьи ученика.
Их здравый смысл был тяжелей увечья,
А путь прямой и проще тупика.
Читали «Кнут», выписывали «Вече».

Кобылкины старались корчить злюк,
Но даже голосов свирепый холод
Всегда сбивался на плаксивый звук,
Как если кто задет или уколот.

Особенно заметно у самой
Страдальчества растравленная рана
Изобличалась музыкой прямой
Богатого гаремного сопрано.

Не меньшею загадкой был и он,
Невежда с правоведческим дипломом,
Холоп с апломбом и хамелеон,
Но лучших дней оплеванный обломок.

В чаду мытарств угасшая душа,
Соединял он в духе дел тогдашних
Образованье с маской ингуша
И умудрялся рассуждать, как стражник.

Но в целом мире не было людей
Забитее при всей наружной спеси

И участи забытей и лютей,
Чем в этой цитадели мракобесья.

Урчали краны порчею аорт,
Ругалась, фартук подвернув, кухарка,
И весь в рассрочку созданный комфорт
Грозил сумой и кровью сердца харкал.

По вечерам висячие часы
Анализом докучных тем касались
И, как с цепей сорвавшиеся псы,
Клопы со стен на встречного бросались.

Урок кончался. Дом, как корифей,
Топтал деревьев ветхий муравейник
И кровли, к ночи ставшие кривей
И точно потерявшие равненье.

Сергей прощался. Что-то в нем росло,
Как у детей средь суесловья взрослых,
Как будто что-то плавно и без слов
Навстречу дому близилось на веслах.

Как будто это приближался вскрик,
С которым, позабыв о личной шкуре,
Снимают с ближних бремя их вериг,
Чтоб разбросать их по клавиатуре.

В таких мечтах: «Ты видишь, — возгласил,
Входя, Сергей, — я не обманщик, Сашка», —
И, сдерживаясь из последних сил,
Присел к столу и пододвинул чашку.

И осмотрелся. Симпатичный тесть
Отсутствовал, но жил нельзя шикарней.
Картины, бронзу — всё хотелось съесть,
Всё как бы в рот просилось, как в пекарне.

И вдруг в мозгу мелькнуло: «И съедят.
Не только дом, но раньше или позже
И эту ночь, и тех, что тут сидят.
Какая чушь!» — подумалось Сереже.

Но мысль осталась, завязав дуэт
С тоской, что гложет поедом поэтов,
И неизвестность, точно людоед,
Окинула глазами сцену эту.

И увидала: полукруглый стол,
Цветы и фрукты, и мужчин и женщин,
И обреченья общий ореол,
И девушку с прической á la Ченчи.

И абажур, что как бы клал запрет
Вовне, откуда робкий гимназистик
Смотрел, как прочь отставленный портрет,
На дружный круг живых характеристик.

На Сашку, на Сережу, иногда
На старшего уверенного брата,
Который сдуру взял его сюда,
Но, вероятно, уведет обратно.

Их назвали, но как-то невдомек,
Запало что-то вроде «мох» иль «лемех».

Переспросить Сережа их не мог,
Затем что тон был взят, как в близких
семьях.

Он наблюдал их, трогаясь игрой
Двух крайностей, но из того же теста.
Во младшем крылся будущий герой,
А старший был мятежник, то есть деспот.

6

Неделю проскучал он, книг не трогав,
Потом, торгуя что-то в зеленой,
Подумал, что томиться нет предлогов,
И повернул из лавки к Ильиной.

Он чуть не улизнул от них сначала,
Но на одном из бальцевских окон
Над пропастью сидела и молчала,
По внешности — насмешница, как он.

Она была без вызова глазаستا,
Носила траур и нельзя честней
Витала, чтобы не соврать, верст за сто.
Урвав момент, он вышел вместе с ней.

Дорогою бессонный говор веток
Был смутен и, как слух, тысячеуст.
А главное, не делалось разведок
По части пресловутых всяких чувств.

Таких вещей умели сторониться.
Предметы были громче их самих.
А по бульвару шмыгали зарницы
И подымали спящих босомыг.

И вот порой, как ветер без провесу
Взвивал песок, и свирепел, и креп,
Отец ее, узнал он, был профессор,
Весной она по нем надела креп,

И множество чего, — и эта лава
Подробностей росла атакой в лоб,
И приближалась, как гроза, по праву,
Дарованному от роду по гроб.

Затем прошла неделя, и сегодня,
Собравшись впервые к ней, он шел
Рассеянней, чем за город, свободней,
Чем с выпуска за школьный частокол.



Когда-то дом был ложею масонской.
Лет сто назад он перешел в казну.
Пустые классы шурились на солнце.
Ремонтный хлам располагал ко сну.

В творилах с известью торчали болтни.
Рогожа скупно пропускала свет.
И было пусто, как бывает в полдни,
Когда с лесов уходят на обед.

Он долго в дверь стучался без успеха,
А позади, как бабочка в плену,
Безвыходно и пыльно билось эхо.
Отбив кулак, он отошел к окну.

Тут горбились задворки института,
Катились градом балки, камни, пот,
И, всюду сея мусор, точно смуту,
Ходило море земляных работ.

Многолошадный, буйный, голоштаный,
Двууглекислый двор кипел ключом,
Разбрасывал лопатами фонтаны,
Тянул, как квас, полки под кирпичом.

Слонялся ветер, скважистый, как траур,
Рябил, робел и, спины заголя,
Завешивал рубахами брандмауэр
И каменщиков гнал за флигеля.

У них курились бороды и ломы,
Как фитили у первых пушкарей.
Тогда казалось — рядом жгут солому,
Как на торфах в несметной мошкаре.

Землистый залп сменялся белым хряском.
Обвал бледнел, чтоб опухолью спасть.
Показывались горловые связки.
Дыханье щебня разевало пасть.

Но вот он раз застал ее. Их встречи
Пошли частить. Вне дней. Когда не след.

Он стал ходить: в ненастье; чуть рассветши;
Во сне; в часы, которых в списках нет.

Отказов не предвиделось в приеме.
Свиданья назначались: в пеньи птиц;
В кистях дождя; в черемухе и в громе;
Везде, где жизнь и двум не разойтись.

«Ах, это вы? Зажмурьтесь и застыньте», —
Услышал он в тот первый раз и миг,
Когда, сторонний в этом лабиринте,
Он сосвежу и точно стал в тупик.

Их разделял и ей служил эгидой
Шкапных изнанок вытертый горбыль.
«Ну как? Поражены? Сейчас я выйду.
Ночей не сплю. Ведь тут что вещь, то быть.

Ну, здравствуйте. Я думала — подрядчик.
Они освобождают весь этаж,
Но нет ни сил, ни стимулов бодрящих
Поднять и вывезть этот ералаш.

А всех-то дел — двоих швейцаров, вас бы
Да три-четыре фуры — и на склад.
Притом пора. Мой заграничный паспорт
Давно зовет из этих анфилад».

Так было в первый раз. Он знал, что встретит
Глухую жизнь, породистую встарь,
Но он не знал, что во второй и в третий
Споткнется сам об этот инвентарь.

Уже помочь он ей не мог. Напротив.
Вконец подпав под власть галиматьи,
Он в этот склад обломков и лохмотьев
Стал из дому переносить свои.

А щебень плыл и, поводя гортанью,
Грозил и их когда-нибудь сглотнуть.
На стройке упрощались очертанья,
У них же хаос не редел отнюдь.

Свиданья учащались. С каждым новым
Они клялись, что примутся за ум,
И сложатся, и не проронят слова,
Пока не сплавят весь шурум-бурум.

Но забывались, и в пылу беседы
То громкое, что крепло с каждым днем,
Овладевало ими напоследок
И сделанное ставило вверх дном.

Оно распоряжалось с самодурством
Неразберихой из неразберих
И проливным и краткосрочным курсом
Чему-то переучивало их.

Холодный ветер, как струя муската,
Споласкивал дыханье. За спиной,
Затягиваясь ряскою раскатов,
Прудилось устье ночи водяной.

Вдыхали ветки. Заспанные прутья
Потягивались, стучались, текли,

Валились наземь в серых каплях ртути,
Приподнимались в серебре с земли.

Она ж дрожала и, забыв про старость,
Влетала в окна и вонзала киль,
Распластывая облако, как парус,
В миротворенья послужную быль.

Тут целовались наяву и вживе.
Тут — точно дым и ливень, мга и гам.
Улыбкою к улыбке, грива к гриве,
Жемчужинами льнули к жемчугам.

Тогда в развале открывалась прелесть.
Перебегая по краям зеркал,
Меж блюд и мисок молнии вертелись,
А следом гром откормленный скакал.

И, завершая их игру с приданым,
Не стоившим лишений и утрат,
Ключами ударял по чемоданам
Саврасый, частый, жадный летний град.

Их распускали. Кипятили кофе.
Загромождали чашками буфет.
Почти всегда при этой катастрофе
Унылой тенью вырастал рассвет.

И с тем же неизменным постоянством
Сползались с полу на ночной пикник
Ковры в тюках, озера из фаянса
И горы пыльных, беспросветных книг.

Ломбардный хлам смотрел еще серее,
Последних молний вздрагивала гроздь,
И оба уносились в эмпирию,
Взаимоокрылившись, то есть врозь.

Теперь меж ними пропасти зияли.
Их что-то порознь запускало в цель.
Едва касаясь пальцами рояля,
Он плел своих экспромтов канитель.

Сырое утро ежилось и дрыхло,
Бросался ветер комьями в окно,
И воздух падал сбивчиво и рыхло
В Маринин новый отрывной блокнот.

Среди ее стихов осталась запись
Об этих днях, где почерк был иглист,
Как тернии, и ненависть, как ляпис,
Фонтаном клякс избородила лист.

«Окно в лесах, и — две карикатуры,
Чтобы избегнуть даровых смотрин,
Мы занавесимся от штукатуров,
Но не уйдем из показных витрин.

Мы рано, может статья, углубимся
В неисследимый смысл добра и зла.
Но суть не в том. У жизни есть любимцы.
Мне кажется, мы не из их числа.

Теперь у нас пора импровизаций.
Когда же мы заговорим всерьез?

Когда, иссякнув, станем подвизаться
На поприще похороненных грез?

Исхода нет. Чем я зрелей, тем боле
В мой обиход врывается земля
И гонит волю, и берет безволье
Под кладбища, овраги и поля.

Р. С. Всё это требует проверки.
Не верю мыслям, — семь погод на дню.
В тот день, как вещи будут у Шиперки,
Я, вероятно, их переменю».

7

Конец пришел нечаянней и раньше,
Чем думалось. Что этот человек
Никак не Дон-Жуан и не обманщик,
Сама Мария знала лучше всех.

Но было б легче от прямых уколов,
Чем от предполаганья наугад:
Несчастия, участки, протоколы?
Нет, нет, увольте. Жаль, что он не фат.

Бесило, что его домашний адрес
Ей неизвестен. Оставалось жить,
Рядиться в гнев и врать себе, не зазрясь,
Чтоб скрыть страданье в горделивой лжи.

И вот, лишь к горлу подступали клубья,
Она спешила утопить их груз
В оледенелом вопле самолюбья
И яростью перешибала грусть.

Три дня тоска, как призрак криволиный,
Уставясь вдаль, блуждала средь тюков.
Сергей Спекторский точно провалился.
Пошел в читальню, да и был таков.

А дело в том, что из библиотеки
На радостях он забежал к себе.
День был на редкость, шел он для потехи,
И что ж нашел он на дверной скобе?

Игра теней прохладной филигранью
Качала пачку писем. Адресат
Растерянно метнулся к телеграмме,
Врученной десять дней тому назад.

Он вытер пот. По смыслу этих литер,
Он — сирота, быть может. Он связал
Текущее и этот вызов в Питер
И вне себя помчался на вокзал.

Когда он уличил себя под Тверью
В заботах о Марии, то постиг,
Что значит мать, и в детском суеверьи
Шарахнулся от этих чувств простых.

Так он и не дал знать ей, потому что
С пути не смел, на месте ж — потому,
Что мать спасли, и он не видел нужды
Двух суток ради прибегать к письму.

Мать поправлялась. Через две недели,
Очухавшись в свистках, в дыму, в листве,
Он тер глаза. Кругом в плащах сидели.
Почтовый поезд подходил к Москве.

Многолошадный, буйный, голоштаный...
Скорей, скорей навстречу толкотне!
Скорей, скорее к двери долгожданной!
И кажется — да, да! Она в окне!

Скорей, скорей! Его приезд в секрете.
А вдруг, а вдруг? . . О, что он натворил!
Тем и скорей через ступень на третью
По лестнице без видимых перил.

Клозеты, стружки, взрывы перебранки,
Рубанки, сурик, сальная пенька.
Пора б уж вон из войлока и дранки.
Но где же дверь? Назад из тупика!

Да полно, всё ль еще он в коридоре?
Да нет, тут кухня! Печь, водопровод.
Ведь он у ней, и всюду пыль и море
Снесенных стен и брошенных работ!

Прошли года. Прошли дожди событий,
Прошли, мрача Юпитера чело.
Пойдешь сводить концы за чаепитьем, —
Их точно сто. Но только шесть прошло.

Прошло шесть лет, и, дрему поборовши,
Задвигались деревья, побурев.
Закопошились дворики в пороше.
Смел прусаков с сиденья табурет.

Сейчас мы руки углем замараем,
Вмуруем в камень самоварный дым
И, в рукопашной с медным самураем,
С кипящим солнцем в комнаты влетим.

Но самурай закован в серый панцирь.
К пустым сараям не протоптан след.
Пролеты комнат канули в пространство.
Зари не будет, в лавках чаю нет.

Тогда скорей на крышу дома слазим,
И вновь в роях недвижимых верениц
Москва с размаху кувыркнется наземь,
Как ящик из-под киевских яиц.

Испакощенный тес ее растащен.
Взамен оград какой-то чародей
Огородил дощатый шорох чащи
Живой стеной ночных очередей.

Кругом фураж, не дожранный морозом.
Застряв в бурана бледных челюстях,
Чернеют крупы палых паровозов
И лошадей, шарахнутых врасстяг.

Пещерный век на пустырях щербатых
Понурыми фигурами проныр
Напоминает города в Карпатах:
Москва — войны прощальный сувенир.

Дырявя даль, и тут летали ядра,
Затем что воздух родины заклят,
И половина края — люди кадра,
А погибать без торгу — их уклад.

Затем что небо гневно вечерами,
Что распорядок штатский позабыт,
И должен рдеть хотя б в военной раме
Военной формы не носивший быт.

Теперь и тут некстати блещет скатерть
Зимы; и тут в разрушенный очаг,
Как наблюдатель на аэростате,
Косое солнце смотрит натошак.



Поэзия, не поступайся ширью.
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся точками в пункте
И зерен в мере хлеба не считай!

Недоумением медн орудийной
Стесни дыханье и спроси чтеца:
Неужто, жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?

И, значит, место мне укажет, где бы,
Как манекен, не трогаясь никем,
Не стыло бы в те дни немое небо
В потоках крови и шато д'икем?

Оно не льнуло ни к каким Спекторским,
Не жаждало ничьих метаморфоз,
Куда бы их по рубрикам конторским
Позднейший бард и цензор ни отнес.

Оно росло стеклянную заставой
И с обреченных не спускало глаз
По вдохновенью, а не по уставу,
Что единицу побеждает класс.

Бывают дни: черно-лиловой шишкой
Над потасовкой вскочит небосвод,
И воздух тих по слишком буйной вспышке,
И сани трутся об его испод.

И в печках жгут скопившиеся письма,
И тучи хмуры и не ждут любви.
И всё б сошло за сказку, не проснись мы
И оторопи мира не прерви.

Случается: отпыхав в признаньях,
Исходит снегом время в ноябре

И день скользит украдкой, как изгнанник,
И этот день — пробел в календаре.

И в киновари ренского солнца
Дымится иней, как вино и хлеб,
И это дни побочного потомства
В жару и правде не прямых судеб.

Куда-то пряча эти предпочтения,
Не знает век, на чем он спит, лентяй.
Садятся солнца, удлиняют тени,
Чем старше дни, тем больше этих тайн.

Вдруг крик какой-то девочки в чулане.
Дверь вдребезги, движенье, слезы, звон,
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.

И та, что в фартук зарывала, мучась,
Дремучий стыд, теперь, осатанев,
Летит в пролом открытых преимуществ
На гребне бесконечных степеней.

Дни, миги, дни, и вдруг единым сдвигом
Событие исчезает за стеной
И кажется тебе оттуда игом
И ложью в мертвой корке ледяной.

Попутно выясняется — на свете
Ни праха нет без пятнышка родства:
Совместно с жизнью прижитые дети —
Дворы и бабы, галки и дрова.

И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака.

За ней ныряет шиворот сыновний.
Ему тут оставаться не барыш.
И небосклон уходит всем становьем
Облитых снежной сывороткой крыш.

Ты одинок. И вновь беда стучится.
Ушедшими оставлен протокол,
Что ты и жизнь — старинные вещицы,
А одинокость — это рококо.

Тогда ты в крик. Я вам не шут! Насилье!
Я жил, как вы. Но отзыв предрешен:
История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.

Не плакалась, а пела вьюга. Чуть не
Как благовест к заутрене средь мги,
Раскатывались снеговые крутни,
И пели басом путников шаги.

Угольный дом скользил за дом угольный,
Откуда руки в поле простирал.
Там мучили, там сбрасывали в штольни,
Там измывался шахтами Урал.

Там ели хлеб, там гибли за бесценок,
Там белкою кидался в пихту кедр.
Там был зимы естественный застенок,
Валютный фонд обледенелых недр.

Там по юрам кустились перелески,
Пристреливались, брали, жгли дотла
И подбегали к женщине в черкеске,
Оглядывавшей эту ширь с седла.

Пред ней, за ней, обходом в тыл
и с флангов,
Курысь ползла гражданская война,
И ты б узнал в наезднице беглянку,
Что бросилась из твоего окна.

По всей земле осипшим морем грусти,
Дымясь, гремел и стлался слух о ней,
Марусе тихих русских захолуствий,
Поколебавшей землю в десять дней.

Не плакались, а пели снега крутни,
И жулики ныряли внутрь пурги,
И укрывали ужасы, и плутни,
И утопавших путников шаги.

Как кратеры, дымились кольца вьюги,
И к каждому подкрадывался вихрь,
И переулки лопались с натуги,
И вьюга вновь заклепывала их.

Безвольные, по всей первопрестольной
Сугробами, с сугроба на сугроб,
Раскачивая в торбах колокольни,
Тащились цепи пешеходных троп.

9

В дни голода, когда вам слали на дом
Повестки и никто вас не щадил,
По старым сыромятниковским складам
С утра бродило несколько чудил.

То были литераторы. Союзу
Писателей доверили разбор
Обобществленной мебели и грузов
В сараях бывших транспортных контор.

Предвидя от кофейников до сабель
Все разности домашнего старья,
Определяла именная табель,
Какую вещь в какой комиссариат.

Их из необходимости пустили
К завалам Ступина и прочих фирм,
И не ошиблись: честным простофилям
Служил мерилom римский децемвир.

Они гордились данным полномочьем.
Меж тем смеркалось. Между тем шел снег.
Предметы обихода шли рабочим,
А ценности и провиант — казне.

В те дни у сыромятничьих окраин
Был полудеревенский аромат,
Пластался снег и, галками ограян,
Был только этим карканьем примят.

И, раменье убрав огнем осенним
И пламенем — брусы оконных рам,
Закат бросался к полкам и храненьям
И как бы убывал по номерам.

В румяный дух реберчатого теса
Врывался визг отверток и клещей,
И люди были тверды, как утесы,
И лица были мертвы, как клише.

И лысы голоса. И близко-близко
Над ухом, а казалось — вдалеке,
Все спорили, как быть со штукой плиса
И серебро ли ковш иль аплике.

Срезали пломбы на ушках шпагата
И, мусора взрывая облака,
Прикатывали кладь по дубликату,
Кладовщика зовя издадека.

Отрыжкой отдуваясь от отмычек,
Под крышками вздувался старый хлам,
И давность потревоженных привычек
Морозом пробегала по телам.

Но даты на квитанциях стояли,
И лиц, из странствий не подавших весть,

От срока сдачи скарба отделяли
Год-два и редко-редко пять и шесть.

Дух путешествия казался старше,
Чем понимали старость до сих пор.
Дрожала кофт заржавленная саржа,
И гнулся лифов колкий коленкор.

Амбар, где шла разборка гардеробов,
Плыл наугад, куда глаза глядят.
Как волны в море, тропы и сугробы
Тянули к рвоте, притупляя взгляд.

Но было что-то в свойствах околотка,
Что обращалось к мысли, и хотя
Держало к ней, как высланная лодка,
Но гибло, до нее не доходя.

Недоставало, может быть, секунды,
Чтоб вытянуться и поймать буюк,
Но вновь и вновь, захлестнутая тундрой,
Душа тонула в темноте таёг.

Как вдруг Спекторский обомлел и ахнул:
В глазах, уставших от чужих перин,
Блеснуло что-то яркое, как яхонт,
Он увидал Мариин лабиринт.

«А ну-ка, — быстро молвил он, — коллега,
Вот список. Жарьте по инвентарю.
А я... а я равнодушен к снегу:
Пробегаюсь чуть-чуть и покурю».

Был воздух тих, но если б веткой хрустнуть,
Он снежным вихрем бросился б в галоп.
Как эскимос, нависшей тучей сплюснут,
Был небосвод лиловый низколоб.

Был воздух тих, как в лодке китолова,
Затерянной в гисках плавучих гор.
Но если б хрустнуть веткою еловой,
Всё б сдвинулось и понеслось в опор.

Он думал: «Где она — сейчас, сегодня?»
И слышал рядом: «Шелк. Чулки. Портвейн».
«Счастливей моего ли и свободней
Или порабощенней и мертвей?»

Со склада доносилось: «Дальше. Дальше.
Под опись. В фонд. Под опись. В фонд.
В подвал».
И монотонный голос, как гадалщик,
Всё что-то клал и что-то называл.

Настала ночь. Сверхштатные ликурги
Закрыли склад. Гаданья голос стих.
Поднялся вихрь. Серезины окурки
Пошли кружиться на манер шутих.

Ему какие-то совали снимки.
Событья дня не шли из головы.
Он что-то отвечал и слышал в дымке:
«Да вы взгляните только. Это вы?»

Нескромность? Обронили из альбома.
Опомнитесь, кому из нас на дню
Не строил рок подобного ж: любому
Подсунул не знакомых, так родню».

Мело, мело. Метель костры лизала,
Пигмеев сбив гигантски у огня.
Я жил тогда у Курского вокзала
И тут-то наконец его нагнал.

Я соблазнил его коробкой «Иры»
И затащил к себе, причем — курьез:
Он знал не хуже моего квартиру,
Где кто-то под его присмотром рос.

Он тут же мне назвал былых хозяев,
Которых я тогда же и забыл.
У нас был чад отчаянный. Оттаяв,
Всё морщилось, размокши до стропил.

При самом входе, порох зря потратив,
Он сразу облегчил свой патронташ
И рассказал про двух каких-то братьев,
Припутав к братьям наш шестой этаж.

То были дни как раз таких коллизий.
Один был учредиловец, другой —
Красногвардеец первых тех дивизий,
Что бились под Сарептой и Уфой.

Он был погублен чьею-то услугой.
Тут чей-то замешался произвол,
И кто-то вроде рока, вроде друга
Его под пулю чешскую подвел. . .

В квартиру нашу были, как в компотник,
Набуханы продукты разных сфер:
Швея, студент, ответственный работник,
Певица и смирившийся эсер.

Я знал, что эта женщина к партийцу.
Партиец приходился ей родней.
Узнав, что он не скоро возвратится,
Она уселась с книжкой в проходной.

Она читала, заслонив коптилку,
Ложась на нас наплывом круглых плеч.
Полпотолка срезала тень затылка.
Нам надо было залу пересечь.

Мы шли, как вдруг: «Спекторский,
мы знакомы», —
Высокомерно раздалось нам вслед,
И, не готовый ни к чему такому,
Я затесался третьим в tête à tête.¹

Бухтеева мой шеф по всей проформе,
О чем тогда я не мечтал ничуть.
Перескажу, что помню, попроворней,
Тем более что понял только суть.

¹ Разговор с глазу на глаз (франц.). — *Ред.*

Я помню ночь, и помню друга в краске,
И помню плоски утлый фитилек.
Он изгибался, точно ход развязки
Его по глади масла ветром влек.

Мне бросилось в глаза, с какой фриволью,
Невольный вздрог улыбкой погася,
Она шутя обдернула револьвер
И в этом жесте выразилась вся.

Как явственней, чем полный вздох двурядки,
Вздыхнул у локтя кожаный рукав,
А взгляд, косой, лукавый взгляд бурятки,
Сказал без слов: «Мой друг, как ты плюгав!»

Присутствие мое их не смутило.
Я заперся, но мой дверной засов
Лишь удесятерил слепую силу
Друг друга обгонявших голосов.

Был разговор о свинстве мнимых сфинксов,
О принципах и принцах, но весóm
Был только темный призыв материнства
В презреньи, в ласке, в жалости, во всем.

«Вы вспомнили рождественских застольцев? . . . —
Исламываясь радугой стыда,
Гремел вопрос. — Я дочь народовольцев.
Вы этого не поняли тогда?»

Он отвечал. . . «Но чтоб не быть уродкой, —
Рвалось в ответ, — ведь надо ж чем-то быть?»

И вслед за тем: «Я родом — патриотка.
Каким другим оружием вас добить? ..»

Уже мне начинало что-то сниться
(Я, видно, спал), как зазвенел звонок.
Я выбежал, дрожа, открыть партийцу
И бросился назад что было ног.

Но я прозяб, согреться было нечем,
Постельное тепло я упустил.
И тут лишь вспомнил я о происшедшем.
Пока я спал, обоих след простыл.

1925—1931

ПРИМЕЧАНИЯ

В первый раздел настоящего сборника входят стихотворения из книг, во второй — четыре поэмы.

Каждая книга, как правило, представлена избранными стихотворениями, но с соблюдением составляющих книгу разделов и циклов, равно как и последовательности самих стихотворений, которая почти не менялась от издания к изданию. Пастернак каждое отдельное стихотворение рассматривал как часть большого поэтического цикла, даже в тех случаях, когда этот замысел оставался не до конца воплощенным. Циклы и книги поэта вне этой последовательности теряют цельность и не дают полного представления о его творческой эволюции. Краткие сведения о книгах даны в начале примечаний к каждой из них.

У Пастернака девять книг стихов и четыре поэмы. Некоторые из них подвергались кардинальной переработке. Так, две первые книги «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров» были переработаны в 1928 г. и составляли в последующих изданиях разделы «Начальная пора» и «Поверх барьеров».

При подготовке в 1957 г. неосуществленного издания «Избранных стихотворений и поэм» (в дальнейшем сокращенно — Верстка (1957) были переработаны некоторые произведения из книг «Начальная пора», «Сестра моя — жизнь», «Второе рождение». Не входившие в циклы и книги про-

изведения составляли в сборниках поэта (1929, 1933, 1935 и др.) разделы, называвшиеся то «Стихи разных лет», то «Смешанные стихотворения». Рубрика «Стихи разных лет» имеется и в настоящем издании.

В основу настоящего издания положены тексты «Стихотворений и поэм» Большой серии «Библиотеки поэта» (М.—Л., 1965), где они печатаются в последних авторских редакциях. При наличии двух редакций произведения под текстом воспроизводятся даты обеих редакций. Большая часть дат в тексте — авторские. Отсутствие дат под некоторыми стихотворениями восполняется общей датировкой всего цикла или книги. В циклах, включенных в настоящее издание не полностью (это обстоятельство специально не оговаривается), авторская нумерация стихотворений не сохраняется.

В примечаниях к отдельным произведениям даются краткие сведения историко-литературного характера и объяснения редко встречающихся слов и реалий.

СТИХОТВОРЕНИЯ

НАЧАЛЬНАЯ ПОРА

1912—1914

Под этим названием впервые в сборнике «Поверх барьеров» (1929) выделена книга стихотворений, написанных в 1912—1914 гг. и вошедших в сборник «Близнец в тучах», сильно переработан-

ных в 1928 г., после чего книга значительной переработке не подвергалась. В сборнике «Поверх барьеров» (1929, 1931) «Начальная пора» посвящена Н. Асееву.

«Я рос. Меня, как Ганимеда...» *Ганимед* (греч. миф.) — любимец Зевса. Превратившись в орла, Зевс унес его на Олимп.

В о к з а л. В предисловии к Верстке (1957) Б. Пастернак рассказал, как создавалась первая книга: «Я старался избегать романтического пафоса, посторонней интересности... моя постоянная забота обращена была на содержание, моя постоянная мечта, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красными строками своей черной, бескрасочной печати. Например, я писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял передо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался весь в облаках и дымах железнодорожный прощальный горизонт, за которым скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и после них. Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории искусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Вене-

цию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский, вокзал». *Гарнии* (греч. миф.) — богини вихря, представлялись в виде крылатых чудовищ.

Венеция. См. предыдущее примеч. Почти во всех изданиях печаталось с опущенной в 1957 г. предпоследней строфой:

Туда, голодные, противясь,
Шли волны, шлендая с тоски,
И гóндолы рубили привязь,
Точа о пристань тесаки.

К слову «гóндолы» имелось авторское примечание: «В отступление от обычая восстанавливаю итальянское ударение». *Трезубец Скорпиона*. Скорпион — одно из созвездий Зодиака; условно обозначается трезубцем.

Зима. «*Море волнуется*» — детская игра. *Стаканчики с купоросом* ставили между рамами, чтобы не потели стекла.

ИЗ КНИГИ «ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ»

1914—1916

Книга под таким названием и с подзаголовком «Вторая книга стихов» вышла впервые в 1917 г., с эпиграфом из Суинберна:

To the soul in my soul that rejoices
For the song that is over my song.

(«Душе моей души, для которой радостна песнь, что выше моей песни». — *Ред.*). Об обстоятельствах создания этой книги, определивших, по словам автора, «ее неромантическую поэтику», — см. «Охранную грамоту», ч. 3, гл. 11. Сборники «Поверх барьеров», изданные в 1929 и 1931 гг., несколько отличались друг от друга по составу. На одном из экземпляров сборника сохранилась надпись автора: «С течением лет самое, так сказать, понятие «Поверх барьеров» у меня изменялось. Из названия книги оно стало названием периода или манеры, и под этим заголовком я впоследствии объединял вещи, позднее написанные, если они по характеру подходили к этой первой книге, т. е. если в них преобладали объективный тематизм и мгновенная, рисующая движение живописность. 9 декабря 1946 г.».

Д в о р. *Градирня* — приспособление для выпаривания соли. *Лопари* — прежнее название народности саами. *Баскак* — во времена татарского ига чиновник, поставленный для сбора налогов. *Ханские указы* писались на воощеных таблицах. *Трехгорное* — сорт пива.

Десятилетье Пресни (Отрывок). *Пресня* — район Москвы, где в 1905 г. были особенно мощные выступления рабочих. *Макбетовы ведьмы* — персонажи трагедии Шекспира «Макбет», появляются в грозу и пророчат о будущем. *Канатчикова дача* — психиатрическая лечебница в Мо-

скве, стала нарицательным названием сумасшедшего дома.

П е т е р б у р г. В некоторых изданиях стихотворения цикла печатались порознь. *Гайдук* — выездной лакей. *Пищаль* — старинное ружье. *Кнастер* — сорт трубочного табака. *Нарвская* — застава в Петербурге. *Охта* — район в Петербурге. *Прапор* — знамя.

«Оттепелями из магазинов...» *Фирн* — крупнозернистый снег в горных ледниках.

Д у ш а. *Княжна Тараканова* — авантюристка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы; была заключена в Петропавловскую крепость, где, по легенде, умерла в 1775 г. во время наводнения.

М е т е л ь. 1. *Замоскворечье* — район в Москве. 2. *Все в крестиках двери, как в Варфоломееву Ночь*. Во время Варфоломеевой ночи в Париже (12 августа 1572 г.) — кровавой резни, которую устроили католики, перебившие в ту ночь несколько тысяч гугенотов, — заговорщики отмечали меловыми крестами двери своих жертв. Одним из первых был убит вождь гугенотов адмирал *Колиньи* (1519—1572).

У р а л. в п е р в ы е. *Камка* — шелковая узорчатая ткань. *Сусаль* — металл в тончайших листках для сусальной позолоты.

«Я понял жизни цель и чту...» *Берковец* — старинная мера веса, 10 пудов.

Весна. 1. *Брыжжи* — сборчатый воротник у рубашки, то же, что и жабо. *Фижмы* — юбка на каркасе из китового уса. 3. *Китеж* — легендарный город, во время татарского нашествия скрылся под землю, и на его месте образовалось озеро.

Ивака. *Ивака* — деревня на Урале. *Паросль* — молодой лес, выросший на вырубке.

Импровизация. В издании «Избранное» (М., 1948) напечатан другой вариант стихотворения под названием «Импровизация на рояле».

Баллада. *Герольд* — в средние века вестник, глашатай; сообщал распоряжения правителей, объявления о войне и мире; распорядитель на рыцарских турнирах. *Кайяфа* — иудейский первосвященник, гонитель Христа. *Кивер* — военный головной убор. *Дукат, цехин* — старинные золотые венецианские монеты. *Ярыга* — низший служитель полиции в деревне. *Послух* — здесь: неверные слухи.

Мельницы. *Постав* — мельничный стап, в котором вращаются жернова и куда засыпают зерно. *Кулеш* — жидкая каша.

Из поэмы (Два отрывка). Возможно, что это отрывки из двух потерянных поэм, о которых автор упоминает в автобиографии. *Стожары* — на-

родное название разных созвездий, чаще всего Большой и Малой Медведицы. *Арак* — разновидность водки. *Атроспин* — лекарство, служащее, в частности, для расширения зрачка; добывается из растения белладонны.

Марбург. *Марбург* — университетский город в Германии, где в 1912 г. Пастернак слушал курс философии и пережил личную драму, о которой рассказал в своих стихах. Пережитое в Марбурге имело глубокие последствия. Слова «вторично родившийся», «второе рождение», имеющие биографическую расшифровку, стали названием книги стихов («Второе рождение», 1932). Четверостишие «В тот день всю тебя. . .» В. Маяковский в одной из статей назвал гениальным. *Арника* — лекарственная трава. *Мартин Лютер* (1483—1546) — виднейший деятель немецкой религиозной реформации. *Братья Гримм* — Якоб (1785—1863) и Вильгельм (1786—1859) — крупнейшие немецкие филологи, составители знаменитого сборника сказок.

ИЗ КНИГИ «СЕСТРА МОЯ — ЖИЗНЬ»

Лето 1917 года

Книга была впервые издана в 1922 г. в Москве издательством З. И. Гржебина и переиздана в 1923 г. тем же издательством в Берлине. «Сестра моя — жизнь» в большей степени, чем другие сборники Пастернака, представляет собой единую

лирическую книгу, своеобразный лирический роман, состоящий из отдельных и скомпонованных в циклы стихотворений. В отличие от других книг «Сестра моя — жизнь» в дальнейшем не подвергалась правке вплоть до подготовки неосуществленного издания в 1957 г. «Стихотворения» (1933) и «Стихотворения» (1935) открывались этой книгой вопреки хронологии. Подзаголовок «Лето 1917 года» — это именно подзаголовок, а не датировка; нельзя с уверенностью утверждать, что все стихотворения книги написаны в 1917 г. Но книга целиком родилась в это время, и автор сам говорит об этом. Времени и обстоятельствам создания книги он посвятил три главы в «Охранной грамоте» (ч. 3, гл. 11—13). Книга «Сестра моя — жизнь» посвящена автором Лермонтову. В одном из своих писем он объясняет это посвящение: «Я посвятил «Сестру мою — жизнь» не памяти Лермонтова, а самому поэту, как если бы он еще жил среди нас, — его духу, до сих пор оказывающему глубокое влияние на нашу литературу. Вы спросите, чем он был для меня летом 1917 года? Олицетворением творческого поиска и откровения, двигателем повседневного творческого постижения жизни». С посвящением книги связано открывающее его стихотворение «Памяти Демона», единственное, стоящее вне циклов, где присутствуют темы и мотивы лермонтовской поэмы.

Памяти Демона. *Зурна* — народный музыкальный струнный инструмент. *Бурнус* — род плаща у бедуинов.

Не время ль птицам петь

Про эти стихи. *Байрон* (1788—1824) — английский поэт. *По Эдгар* (1809—1849) — американский писатель. *Цейхгауз* — военная кладовая для оружия или амуниции. *Арсенал* — учреждение для изготовления или для хранения вооружения и военного снаряжения. *Дарьял* — Дарьяльское ущелье на Кавказе.

«Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...» *Камышинская ветка* — ветка железной дороги, идущая в Камышин, город в Волгоградской области. *Фата-моргана* — мираж, призрак.

Зеркало. *Коллодий* — химический раствор в виде быстро застывающего прозрачного густого сиропа. *Месмеризм* — учение о животном магнетизме, разработано австрийским врачом Месмером.

Девочка. *Эпиграф* — из стихотворения Лермонтова «Утес». *Рюмить* — здесь: застилать следами.

Дождь. *Всклянь* — вровень с краями; здесь: полностью. *Осанна* — молитвенный возглас, словословие. *Сен-Готард* — перевал и тоннель в Альпах.

Книга степи

Из суеверья. *Померанец* — субтропическое вечнозеленое дерево с оранжево-красными горьковатыми плодами.

Б а л а ш о в. *Балашов* — город в Саратовской губернии. *Молокане* — русская христианская секта.

Образец. *Ночная красавица* — народное название ночной фиалки. *Кобза* — старинный украинский музыкальный инструмент, род гитары.

Развлечения любимой

«Душистою веткою машучи...» *Таволга* — луговой кустарник.

Сложавесла. *Геракл* (греч. миф.) — могучий герой, совершивший двенадцать подвигов. *Славка* — певчая птица из семейства воробьиных.

Уроки английского. *Дездемона* — героиня трагедии Шекспира «Отелло», перед смертью поет песню про иву. *Офелия* — героиня трагедии Шекспира «Гамлет», утонула, держа в руках ветки и цветы.

Занятие философией

Определение поэзии. *Фигаро* — опера Моцарта «Женитьба Фигаро».

Болезни земли. *Иматра* — водопад в Карелии. *Титаны* (греч. миф.) — родственные богам исполины, олицетворяющие разные стихии: море, небо, свет и т. д.

Определение творчества. *Тристан и Изольда* — знаменитые любовники, герои средневековых легенд.

Наша гроза. *Стрекало* — жало. *Осьмина* — тетрадь в $\frac{1}{8}$ листа.

Заместительница. *Ракочи* — здесь: «Ракочи-марш» Ф. Листа. *Мюрид* — мусульманский послушник.

Песни в письмах, чтобы не скучала

Воробьевы горы. *Воробьевы горы* (ныне — Ленинские горы) — район Москвы. *Троицын день* — один из праздников у христиан в честь троицы — триединого божества (бог-отец, бог-сын, бог-дух святой).

Mein Liebchen, was willst du noch mehr? В заглавие взят рефрен стихотворения Г. Гейне «Du hast Diamanten und Perlen...» из «Buch der Lieder». *Пасма* — прядь нитей.

Романовка

Романовка — деревня Балашовского уезда Саратовской губернии.

Степь. *Марина* — здесь: море. *Волчец* — колючая сорная трава, репей. *Муслин* — тонкая и легкая ткань.

Попытка душу разлучить

Мучка п. *Мучкап* — село Балашовского уезда Саратовской губернии. *Корвет* — старинное трехмачтовое судно.

Мухи мучкапской чайной. *Пащенок* — молокосос, щенок. *Финифть* — эмаль по металлу. *Крученный паньч* — растение.

«Попытка душу разлучить...» *Ржакса* — село Балашовского уезда Саратовской губернии.

Возвращение

«Как усыпительна жизнь...» *Кессон* — непроницаемая для воды камера. *Апокалипсис* — одна из книг Нового Завета, пророчащая о Страшном суде. *Эспри* — перо на дамской шляпе. *Спирея* — растение. «*Мой сорт*» — марка папирос. *Менадо* — сорт кофе. *Квизисана* — распространенное в 20-е годы название кафе. *Валандала* — от глагола «валандать».

У себя дома. *На семи холмах* расположена Москва.

Елене

Елене. В Верстке (1957) на полях авторское замечание к этому стихотворению: «В этих старых стихах останавливает часто речевая двусмыс-

ленность, потому что они писались неосторожно, спустя рукава. Например, тут — «Пусть судьба *положит*» сказано в смысле пусть судьба рас судит, решит, в качестве кого — матери или ма чехи, а понять можно в соседстве с другими стро ками положит в смысле класть». *Арум* — болотное растение. *Царица Спарты* — Елена Прекрасная, из за которой началась война греков с Троей.

Как у них. *Бочаг* — омут. *Княженика* — ягода.

Послесловье

«Любимая — жуты! Когда любит поэт...» Антуан *Ватто* (1684—1721) — француз ский художник. *Анды* — горная цепь в Южной Америке. *Ризница* — помещение в церкви для хра нения ризы, церковной утвари и драгоценностей; здесь — в смысле множества, собрания.

«Давай ронять слова...» *Марена* — ра стение, из корней которого получают красную краску. *Экклезиаст* — одна из книг Ветхого Завета, по преданию написана царем Соломоном. *Да лия* — цветок. *Ягайло* и *Ядвига* — великий князь литовский и польская королева, брак которых по ложил начало польско-литовской унии под вла стью Ягеллонов (1386—1572).

«Любить — идти, — не смолкнул гром...» *Маргарита*, *корчмарша*, *валькирии* —

музыкальные образы из опер «Фауст» Ш. Гуно, «Борис Годунов» М. Мусоргского и «Гибель богов» Р. Вагнера. *Рига* — крытый сарай для молотьбы зерна. *Баклага* — фляжка.

Послесловье. *Кошениль* — то же, что *червец*, — насекомые, из которых добывают красную краску. *Карбункул* — драгоценный камень темно-красного цвета, — то же, что гранат.

ИЗ КНИГИ «ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ»

1916—1922

Эту книгу составляют стихи 1916—1922 гг.; она писалась в период работы над «Сестрой моей — жизнью» и была издана в январе 1923 г., вслед за «Сестрой моей — жизнью» (1922). Эти книги дважды выходили совместным изданием: «Две книги» (1929 и 1930).

(Четыре повести)

Встреча. *Вретище* — убогое платье, рубище, дерюга. *Ботвинья* — похлебка из кваса, зелени, рыбы. *Багет* — фигурная планка для изготовления рамок.

Маргарита. *Силок* — петля для ловли птиц.

Мефистофель. *Мефистофель* — дух зла, дьявол, один из главных героев средневековой

народной легенды о докторе Фаусте, который продал дьяволу свою душу ради земного счастья и знания.

Шекспир. *Тауэр* — в прошлом лондонская тюрьма для государственных преступников. *Вестминстер* — Вестминстерское аббатство в Лондоне. *Эль* — крепкое пиво. *Кнастер* — сорт трубочного табака. *Гильдия* — в средневековье корпорация купцов или ремесленников. *Билль* — парламентский законопроект. *Малага* — сорт винограда. *Пинта* — мера жидкости.

Тема с вариациями

Эпиграф — из стихотворения Ап. Григорьева «Героям нашего времени» (1845).

Тема. *Хамиты* — группа народностей Северной Африки. *Псамметих* — имя нескольких египетских фараонов.

Вариации

1. **Оригинальная.** *Трапезунд* (Трабзон) — турецкий порт на Черном море. *Пильзен* (Пльзень) — чешский город, славящийся своим пивом. *Бетель* — кустарник, листья которого употребляются для жевания как тонизирующее средство. *Кафры* — устаревшее название юго-восточных африканских народов; имеется в виду происхождение предка Пушкина — арапа Ганнибала. *Царскосельский лицей* — школа, где учился Пушкин.

2. Подражательная. «На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн» — первые строки «Медного всадника»; там это относится к Петру I, здесь — к самому Пушкину. *Кафр* — см. предыдущее примеч. *Чашник*, или чашница, — растение.

3. «Мчались звезды. В море мылись мысы...» «Пророк» — стихотворение Пушкина. *Самум* — песчаная буря.

4. «Облако. Звезды. И сбоку...» *Алеко*, *Земфира* — персонажи поэмы Пушкина «Цыгане». *Халдея* — древняя страна в устье рек Тигра и Евфрата.

5. «Цыганских красок достигал...» *Шабо* — город в Одесской губернии. *Кагул* — озеро и река в Молдавии. *Очаков* — порт на Черном море.

6. «В степи охладевал закат...» *Спрохвалá* — исподволь, между делом.

Болезнь

1. «Больной следит. Шесть дней подряд...» *Иван* — колокольня Ивана Великого в Московском Кремле.

2. «С полу, звездами облитого...» *Кассиопея* — созвездие. *Лавра Киева* — Киево-Печерская лавра. *Эдда* — скандинавский эпос.

4. Кремль в буран конца 1918 года. *Визьонер* — человек, у которого бывают *дивинации*, т. е. откровения, предвидения.

Разрыв

4. «Помешай мне, попробуй...» Э. Торичелли (1608—1647) — итальянский физик, изобретший ртутный барометр.

5. «Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей...» Аталанта, Актей — герои античного мифа о Калидонской охоте.

6. «Разочаровалась? Ты думала — в мире нам...» Себастьян. Имеется в виду великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах (1735—1782).

7. «Мой друг, мой нежный...» Берген — норвежский порт. Труп затертого до самых труб норвежца. Имеется в виду полярная экспедиция Р. Амундсена, корабль которого замерз во льдах.

9. «Рояль дрожащий пену с губ облизжет...» Вертер. Имеется в виду роман Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

Я их мог позабыть

1. Клеветникам. Абориген — коренной житель страны. Регент — дирижер хора. Хиромант — гадатель по руке. Дункан — легендарный шотландский король; о нем говорится в «Макбете» Шекспира.

2. «Я их мог позабыть? Про родню...» *Ордалия* — так называемый «божий суд», пытка, которую обвиняемый должен был вытерпеть, чтобы доказать свою невиновность.

Нескучный сад

1. Нескучный. *Нескучный сад* — парк в Москве.

2. «Достатком, а там и пирами...» *Смарагд* — старинное название изумруда.

3. Орешник. *Гичка* — узкое и длинное гребное судно с распашными веслами.

5. Спасское. *Спасское* — дачное место под Москвой, ныне станция Зеленоградская Ярославской железной дороги.

8. Весна.

«Закрой глаза. В наиглушайшем органе...» *Орденский капитул* — собрание членов какого-либо рыцарского ордена.

9. Сон в летнюю ночь.

«Пианисту понятно шнырянье ве-
тошниц...» *Крошня* — плетеная корзина.

«Я вишу на пере у творца...» *Сотка* — мера; бутылка водки в одну сотую часть ведра. *Кегельбан* — помещение для игры в кегли.

«Пей и пиши, непрерывным патрулем...» *Пикули* — маринованные овощи. *Шпанка* — шпанская вишня. *Мазурские озера, горнисты Самсонова*. Армия генерала А. В. Самсонова погибла в августе 1914 года в Восточной Пруссии, у Мазурских озер. *Мораторий* — здесь: отсрочка.

10. Поэзия. *Ямские* — название нескольких московских улиц, в то время — окраинных. *Шевардино* — Шевардинский редут — передовое укрепление русской армии в Бородинском сражении. *Акростих* — стихотворение, начальные буквы каждой строчки которого составляют слово.

12. Осень.

«Весна была просто тобой...» *На махан* — на мясо. *Яспис* — яшма с красными прожилками.

«СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ»

1916—1943

Белые стихи. Эпиграф — из стихотворения А. Блока «О смерти» (цикл «Вольные мысли»). *Ганская Эвелина*. В 1833 г. начался продолжительный роман Бальзака с Эвелиной Ганской, богатой аристократкой. После поездки в Петербург (1843) и двух приездов на Украину, где находились ее поместья, тяжелобольной Бальзак за несколько месяцев до смерти стал мужем Эвелины Ганской. *Мумия* — здесь: красная краска, сурик. *Сангина* — рыже-коричневая краска. *Зымза* — карниз.

Брюсову. Стихотворение написано к пятидесятилетию В. Я. Брюсова, отмечавшемуся в октябре 1924 г. Брюсов, в свою очередь, высоко ценил поэзию Пастернака и не раз писал о ней (см. вступ. статью, с. 21).

Двадцать стрóf с предисловием. Относится к началу работы над «Спекторским» (см. примеч. на с. 614). *Десть* — мера писчей бумаги, 24 листа. *Крупповская сталь*. Имеются в виду немецкие фабриканты оружия и стальные короли Круппы.

Памяти Рейснер. Лариса Михайловна *Рейснер* (1895—1926) — писательница, автор одной из первых книг о гражданской войне («Фронт», 1924).

К Октябрьской годовщине. *Бризантный* — фугасный. *Противный стереотип*. Имеется в виду свергнутая власть царского правительства. *Оборонцы*. Часть партии меньшевиков стояла за продолжение империалистической войны.

Приближенье грозы. Яков Захарович *Черняк* (1898—1955) — литературовед.

«Когда смертельный треск сосны скрипучей...» *Лампцион* — фонарик из цветной бумаги.

«Рослый стрелок, осторожный охотник...» *Мочажина* — заболоченное место.

Анне Ахматовой. *Эклога* — пасторальное стихотворение. *Он мне внушен не тем столбом из соли, Которым вы пять лет тому назад Испуг оглядки к рифме прикололи.* Имеется в виду стихотворение А. Ахматовой «Лотова жена», написанное в 1923 г. Впоследствии Ахматова посвятила Пастернаку стихотворение, где используются образы пастернаковской поэзии; оно кончается строками:

Он награжден каким-то вечным детством,
Той зоркостью и щедростью светил.
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

Мейерхольдам. Стихотворение обращено к знаменитому режиссеру В. Э. Мейерхольду (1874—1940) и его жене, актрисе З. Н. Райх (1894—1939).

Другу. В рукописи ИМЛИ первоначально было озаглавлено «Борису Пильняку».

«Все наклоненья и залогии...» Это стихотворение — отклик поэта на выход в Праге в 1935 г. тома его стихотворений в переводах Иозефа Горы. *Капричьо* — быстрая музыкальная пьеса свободной формы. *Данте* (1265—1321) — великий итальянский поэт. *Торквато Тассо* (1544—1595) — итальянский поэт. *Гордень* — снасть или веревка, пропущенные через блок, служат для подборки парусов.

Памяти Марины Цветаевой. М. И. Цветаева (1892—1941) — русская поэтесса, с 1922 по 1939 г. находившаяся в эмиграции. Пастернак много лет переписывался с нею и посвятил ей ряд стихотворений и поэму «Лейтенант Шмидт». М. Цветаева очень высоко ценила поэзию Пастернака, посвятила ему несколько стихотворных циклов и написала о нем две большие статьи «Световой ливень» (1922) и «Эпос и лирика современной России» (1932). Цветаева покончила с собой в эвакуации, в Елабуге на Каме. В автобиографии «Люди и положения» Пастернак писал о Цветаевой: «Весной 1922 года, когда она была уже за границей, я в Москве купил маленькую книжечку ее «Верст». Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей, без отрыва ритма, целые последовательности строф развитием своих периодов».

ИЗ КНИГИ «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ»

1930—1931

I

Волны. *Кобулеты* — курорт в Аджарской АССР. *Поти, Батум* (Батуми) — города на берегу Черного моря. *Казан* — котел. *Шли дни, шли тучи, били зорю*. Эта и следующие строфы посвя-

щены завоеванию Кавказа русскими войсками. *Дарьял* — Дарьяльское ущелье на Кавказе. *Ларс*, *Млеты* — станции на Военно-Грузинской дороге. *Девдорах* — ледник на Казбеке. *Женщины в Путивле зегзицами не плачут впредь*. Имеется в виду плач Ярославны из «Слова о полку Игореве» («Полечу, рече, зегзицею по Дунаеве»). *Зегзица* — кукушка. *Курзал* — помещение для собраний и концертов на курорте.

II

Баллада. Посвящена гастролям в Киеве известного советского пианиста Г. Г. Нейгауза. *Подол* — прилегающий к Днепру низинный район Киева. *Маттиола* — цветок, пахнущий только вечером и ночью. *Араукария* — тропическое растение. *Икар* — мифологический герой, вместе со своим отцом Дедалом сделал из перьев и воска крылья и полетел, но слишком приблизился к солнцу, лучи которого растопили воск, и Икар утонул в море. *Подзол* — почва из-под выжженного леса. *Кара* — река в Забайкалье; золотоносные прииски на Каре были местом политической ссылки.

Вторая баллада. Посвящена жене поэта З. Н. Пастернак. *Комлот* — заговор. *Плашкот* — плоскодонная беспалубная лодка.

Лето. *Ирпень* — дачное место под Киевом. *Китайка* — сорт ситцевой ткани желтого цвета.

Панева — род домотканой полосатой юбки. *«Пир»* — философский диалог Платона; одна из героинь его — *Диотима*. *Мэри* — персонаж «Пира во время чумы» Пушкина.

Смерть поэта. Стихотворение написано на смерть В. Маяковского. *Красивый, двадцатидвухлетний, как предсказал твой тетраптих*. Имеются в виду строки из поэмы Маяковского «Облако в штанах» (авторский подзаголовок — «тетраптих», т. е. «четырёхчастное»): «Мир огромив мощью голоса, иду красивый, двадцатидвухлетний». *Этна* — гора и вулкан в Сицилии.

III

«Годами когда-нибудь в зале концертной...» *И. Брамс* (1833—1897) — немецкий композитор. *«Басма»* — марка дешевых папирос. *Сезам* — в сказке «Аладдин и волшебная лампа» — заклинание, открывающее двери. *Интермеццо* — маленькая музыкальная пьеса, часто помещается между пьесами, написанными в более обширной форме и более серьезного характера.

«Всё снег да снег, — терпи и точка...» *Зубровка* — сорт водки. *Вокабулы* — иностранные слова, выписываемые с переводом для заучивания. *Илья Пророк* — христианский святой; по народному поверью, гром бывает от его колесницы.

«Мертвецкая мгла...» *Ямское поле* — улица в Москве, где жил поэт.

«Любимая, — молвы слащавой...» *Леха* — гряды, борозды.

«Красавица моя, вся статья...» *Поликлет* — греческий скульптор V века до нашей эры.

IV

«Опять Шопен не ищет выгод...» *Рейтарская* — улица в Киеве. *Фермата* — нотный знак, указывающий на произвольно долгую длительность паузы или ноты. *Мальпост* — почтовая карета.

V

«Вечерело. Повсюду ретиво...» *Ногайцы* — кавказская народность. *Прометей* (греч. миф.) — титан-богоборец, защитник людей, научивший их пользоваться огнем. В наказание за это был прикован к скале в Кавказских горах, и каждое утро орел клевал его печень. *Чернь на эфесе*. Эфесы сабель украшались черненым узором. *Химера* — мифологическое чудовище с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона, изрыгавшее из пасти огонь. *Тамерлан* (Тимур, 1336—1405) —

среднеазиатский тиран и завоеватель, совершил поход в Закавказье.

«Пока мы по Кавказу лазаем...» *Арагва* — река на Кавказе.

VI

«О, знал бы я, что так бывает...» Разводить *турусы на колесах* — вести пустую болтовню.

«Стихи мои, бегом, бегом...» *Синяя Борода* — герой сказки Ш. Перро, многоженец, убивавший всех своих жен. *Вий* — фантастический персонаж повести Н. Гоголя.

VII

«Весеннюю порою льда...» *Ной* — библейский герой, праведник, спасшийся от всемирного потопа.

ИЗ КНИГИ «НА РАНИХ ПОЕЗДАХ»

1936—1944

Стихотворения этого раздела входили в сборники «На ранних поездах» (1943) и «Земной простор» (1945).

Художник

2. «Скромный дом, но рюмка рому...» *Голоудье* — поголовный сбор дани в Древней Руси.

3. «Он встает. Века, Гелаты...» *Гелаты* — Гелатский монастырь в Грузии, рядом с Кутаиси. *Балакирь* (балакарь) — говорун; здесь: сказитель.

Путевые записки

Цикл написан в результате поездки в Грузию летом 1936 г.

3. «Дымились, встав от сна...» *Навтуги* — железнодорожная станция недалеко от Тбилиси. *Дорога на Беслан* — Военно-Грузинская дорога. *Мытня* — застава для сбора мыта (пошлины).

4. «За прошлого порог...» *Паоло* — Паоло Яшвили (1894—1937) — известный грузинский поэт, друг Пастернака.

5. «Я видел, чем Тифлис...» *Фронтипис* — книжная иллюстрация перед текстом. *Гора Давида* — гора близ Тбилиси, названа в честь грузинского царя Давида (1073—1125).

6. «Меня б не тронул рай...» *Прясло* — звено изгороди.

7. «Немолчный плеск солей...» *Шандал* — подсвечник.

8. «Еловый бурелом...» *Тициан Табидзе* (1895—1937) — известный грузинский поэт, друг Пастернака. Пастернак писал о своих «друзьях в Тифлисе»: «Если Яшвили весь был во внешнем центробежном проявлении, Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждую свою строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души. Главное в его поэзии — чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, застенчивой, целиком направленной к добру, способной к ясновидению и самопожертвованию». *Роден изобразил Бальзака*. Имеется в виду памятник Бальзаку французского скульптора О. Родена.

Переделкино

В 1936 г. Пастернак поселился в подмосковном поселке Переделкино. Стихотворения этого цикла написаны в 1941 г. (в книге «На ранних поездах» этот цикл имел подзаголовок: «Начало 1941 года»), за исключением стихотворений «Зазимки» и «Вальс с чертовщиной», написанных позже и включенных в этот цикл в Верстке (1957).

Вальс с чертовщиной. *Сепия* — коричневая краска. *Нуга* — мармелад из сладкой ореховой массы. *Цукат* — засахаренные корки плодов. *Баилык* — шапка с длинными ушами.

Вальс со слезой. *Фольга* — медный или оловянный лист в толщину бумажки, золоченый или покрытый цветным лаком. *Финифть* — эмаль на металле. *Бонбоньерка* — коробочка для сладостей. *Малага* — сорт виноградного вина.

Стихи о войне

Старый парк. Ю. Ф. *Самарин* (1819—1876) — литератор, славянофил. Имеется в виду бывшее его имение — парк и дом в Переделкине. *Монтекристо* — марка духового ружья.

Смерть сапера. *Зуша* — приток Оки. *Са-рапуль* — местность в окрестности Камы. *Шкив* — колесо для приводного ремня.

О ж и в ш а я ф р е с к а. *Архистратиг* — Михаил-архангел, предводитель небесного воинства. *Сиял над змеем лик Георгия*. Святой Георгий-победоносец изображается на русских иконах воином на белом коне, копьем поражающим дракона.

В е с н а. *Василий Блаженный* — церковь в Москве на Красной площади.

ИЗ КНИГИ «КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ»

1956—1959

Эпиграф взят из книги Марселя Пруста «Обретенное время», последнего тома романа «В поисках утраченного времени».

«Во всем мне хочется дойти...»
Фольварк — небольшая усадьба.

Т р а в а и к а м н и. Стихотворение написано в связи с праздновавшимся в 1956 г. юбилеем Адама Мицкевича (1798—1855). *Базилика* — церковь определенной архитектурной конструкции.

В е т е р. Пастернак не раз писал о Блоке, в частности, в автобиографии «Люди и положения»: «С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников... У Блока было все, что создает великого поэта, — огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого,

все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба». *Не спускался с Синая*. По библейской легенде, с горы Синай сошел к народу Моисей, неся каменные скрижали с текстом заповедей, полученных от бога. *Дед-якобинец* — А. Н. Бекетов (1825—1902), дед Блока с материнской стороны, видный ботаник и либеральный общественный деятель, ректор Петербургского университета. *Поэзия третьего тома*. Имеются в виду стихотворения третьей книги из «Собрания стихотворений» А. Блока в 3-х томах (М., 1911—1912).

Музыка. *С заповедями скрижалей* — см. предыдущее примеч. *Полет валькирий* — пьеса Р. Вагнера из оперы «Гибель богов». «*Паоло и Франческа*» — музыкальная фантазия П. Чайковского на тему, взятую из «Божественной комедии» Данте.

Ваханалия. Стихотворение навеяно премьерой «Марии Стюарт» Шиллера в переводе Пастернака во МХАТе (1958). *У Бориса и Глеба*. Имеется в виду церковь святых Бориса и Глеба. *Шушун* — старомодная верхняя женская одежда. *Королева шотландцев* — Мария Стюарт (1542—1587), шотландская королева, стремилась свергнуть английскую королеву Елизавету и объединить под своей властью Англию и Шотландию. После раскрытия заговора против Елизаветы Мария Стюарт была предана суду и казнена. *Ронсар*

(1524—1585) — французский поэт, учитель Марии Стюарт, которая и сама писала стихи. Пастернак перевел три трагедии о Марии Стюарт — Ал. Сунберна, Ф. Шиллера и Ю. Словацкого.

ПОЭМЫ

Высокая болезнь. *Троянский эпос*. Имеется в виду «Илиада» Гомера, посвященная осаде Трои. *Девятый Всероссийский съезд Советов* — состоялся в декабре 1921 г. в Большом театре; отчетный доклад делал В. И. Ленин. *Вопрос карельский* — об отражении финской интервенции и установлении Советской власти в Карелии. *Сказка про Конвент*. Имеются в виду события Великой французской революции. *В зияющей японской бреши*. Речь идет о гигантском землетрясении в Японии в сентябре 1923 г., когда в одном Токио погибло около 250 тысяч человек. Советское правительство послало соболезнование рабочему классу Японии. *Помпеи* — город, погибший при извержении Везувия. *Мста, Ладога, Шексна, Ловать* — реки и озера в Новгородской губернии. *Актальный зал* — в Смольном, где Ленин провозгласил Советскую власть. *По Псковской области кружа*. Царский поезд, после отречения Николая II в ставке, направлялся к Царскому Селу, проезжая по Псковской области. *Тосно* — станция в Ленинградской области. *Дно* — станция на железной дороге в Псковской области, где Николай II отрекся от престола. *Чем мне закончить*

мой отрывок. Пастернак описывает свое впечатление от выступления Ленина на IX съезде Советов.

Девятьсот пятый год. Пастернак называл эту поэму «хроникой 1905 года в стихотворной форме». Он писал в одной из своих заметок 1927 г.: «Больше года я работаю над книгой «1905 год», которая будет состоять из отдельных эпических отрывков... Я считаю, что эпос внушен временем, и потому в книге «1905 год» я перехожу от лирического мышления к эпике, хотя это очень трудно». Поэма печаталась по главам в различных журналах и альманахах, четырежды издавалась отдельной книгой, входила в большинство сборников избранных произведений Пастернака. *Жанна д'Арк* (ок. 1412—1431) — национальная героиня французов, возглавила борьбу французского народа с английскими завоевателями. *Василиск* — сказочное чудовище, взгляд которого убивал человека.

Отцы. *Савва* — имя нескольких русских промышленников (Мамонтов, Морозов), активно действовавших в конце XIX в. *После реформ.* Имеются в виду реформы 60-х годов XIX века. *Первое марта* — 1 марта 1881 г. был убит народовольцами Александр II; одним из виднейших деятелей «Народной воли» была *Перовская Софья Львовна* (1853—1881); казнена по делу первомартовцев. *Стюарты* — шотландская и английская королевская династия, правила с перерывами с XIV по XVIII в. *Тут бывал Достоевский.* Достоевский

вместе с другими петрашевцами был арестован 23 апреля 1849 г. и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. *Нечаев* Сергей Геннадьевич (1847—1882) — русский революционер-заговорщик; умер в Петропавловской крепости. *Халтурин* Степан Николаевич (1856—1882) — русский революционер, в последние годы жизни — народоволец; в 1880 г. организовал в Зимнем дворце взрыв — покушение на Александра II. *Порт-Артур* — город и порт на Желтом море, во время русско-японской войны принадлежал России; после осады был сдан японцам. *Лаокоон* — позднеантичная скульптурная группа, изображающая борьбу троянского жреца Лаокоона и двух его сыновей с удушающими их змеями.

Д е т с т в о. *Вхутемас* — Высшая художественная школа в Москве, где преподавал отец поэта и жила семья; после революции преобразована во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские). Помещалась на Мясницкой (ул. Кирова), напротив главного почтамта. У *Флора и Лавра* — церковь, построенная в середине XVII в., пятиглавая, с шатровой колокольней, находилась рядом с домом, где жил Пастернак (на Мясницкой). Александр Николаевич *Скрябин* (1871—1915) — русский композитор. *Гапон* Георгий Аполлонович (1870—1906) — священник-provokator, вел в Петербурге работу по созданию рабочих организаций монархического толка; в Нарвском отделе гапоновской организации было принято решение об обращении к царю с петицией; результатом шествия к Зимнему дворцу был расстрел 9 января

1905 г. *Куманика* — ягода морошка. *Хоругвь* — знамя. *Каменноостровский проспект* и *Троицкий мост* — в Петербурге. *Поварская* — улица в Москве, ныне — Воровского. *Грузины* — район в Москве, один из центров баррикадных боев в 1905 г. *Сергей Александрович* (1857—1905) — великий князь, московский генерал-губернатор и попечитель Училища живописи, ваяния и зодчества; был убит эсером И. П. Каляевым.

Мужики и *фабричные*. *Копыл* — стояк, надолба, торцом вставленная во что-то деревяшка. *Лодзь*. В июне 1905 г. в Лодзи, в результате расстрела рабочих демонстраций, состоялось крупное восстание рабочих.

Морской мятеж. *Тендра* — остров на севере Черного моря, около которого находился в момент восстания броненосец «Потемкин». «*Потемкин*» — броненосец Черноморского флота, на котором 15 июня 1905 года произошло восстание рабочих. *Спардек* — верхняя палуба. *Камбуз* — корабельная кухня. *Ют* — кормовая надстройка на судне. *Кнехт* — тумба на палубе для крепления тросов. *Ласт* — обшивка корабля. *Бизань* — разновидность паруса. *Шканцы* — часть верхней палубы на военном корабле. Афанасий Николаевич *Матюшенко* (1879—1907) — один из руководителей восстания на «Потемкине».

Студенты. Николай Эрнестович *Бауман* (1873—1905) — революционер, деятель большевистской партии, был убит черносотенцем; похороны его вылились в грандиозную демонстрацию. *Моховая* и *Охотный ряд* — улицы в Москве. *Ва-*

ганьково — здесь: Ваганьковское кладбище в Москве. *Манеж* — здание на Моховой улице.

Москва в декабре. *Пресня* — центр Декабрьского вооруженного восстания в Москве в 1905 г. *Трехгорная* (Прохоровская) мануфактура была базой боевых дружин. *Грааль* (Грааль) — здесь: символ святыни (по средневековому сказанию о «Чаше Грааля»). *Аквариум* — сад в Москве, где был разогнан рабочий митинг. *Фидлерцы* — в училище Фидлера укрепились дружинники, оно было разгромлено артиллерией, в результате чего начались баррикадные бои. *Бутырки* — район Бутырской тюрьмы был одним из центров восстания. *Мин* — командир Семеновского полка, присланного из Петербурга для подавления восстания. *Риман* — офицер, прославившийся своей жестокостью. *Прохоров* — владелец Трехгорной мануфактуры.

Лейтенант Шмидт. Поэма посвящена вооруженному восстанию в Севастополе в ноябре 1905 г. и одному из его героев — Петру Петровичу Шмидту (1867—1906). Пастернак использовал в поэме документы, в том числе речь Шмидта на суде и его письма — в частности одной женщине, случайная встреча с которой на ипподроме, а потом в вагоне повлекла оживленную переписку и встречи в каземате Очаковской крепости. *Октябрь. Кольцо забастовок*. Забастовки в Севастополе начались в октябре 1905 г. *О кладбище в день погребенья*. Шмидт выступал на митинге во время похорон расстрелянных демонстрантов 20 октяб-

ря, эта речь получила название «Клятвы Шмидта». *Оттиск сырого манифеста*. Имеется в виду царский манифест 17 октября. *С капитаном Штейном прохаживался адмирал*. Матрос К. Петров ранил штабс-капитана Штейна и контрадмирала Писаревского. *«Варяг»* — крейсер Черноморского флота. *Гайтан* — шнурок, на котором носят пательный крест. *На «Трех Святителях», где третий день Содержусь под стражей*. В октябре Шмидт в результате выступлений на митингах и выборов его в Совет был арестован и содержался на броненосце «Три Святителя», но был вскоре выпущен. *Барков Иван Семенович (1732—1768)* — поэт, автор непристойных стихотворений. *Элинг* — строение для сооружения судна. *Брестский полк* принимал участие в восстании. *Шершень* — крупная оса. *Долго с бурей борется оратор*. 13 ноября Шмидт выступал на митинге, приветствуя «русскую социалистическую революцию». *Чухнин* — вице-адмирал, командующий Черноморским флотом, приказал разоружить броненосцы и окружить мятежные казармы артиллерией. *Кат* — палач. *Бушприт* — передняя мачта на судне. *«Командую флотом. Шмидт»* — сигнал, который поднял вместе с красным флагом Шмидт на крейсере «Очаков». *Андреевский флаг* — военно-морской флаг царской России — косою крест голубого цвета на белом поле. *Орфей* — мифический певец, усмирявший своим пением диких зверей. *Объехать эскадру*. Шмидт объехал эскадру на миноносце. Часть кораблей приветствовала его, часть отнеслась к нему враждебно. *Пелион, Осса* — горы в Греции. По ле-

генде, гиганты в борьбе с Зевсом пытались громоздить гору на гору, чтобы взобраться на небо; отсюда пословица: «громоздить Пелион на Оссу». *Терпуг* — напильник. *Брали с «Прута» освобожденных каторжан*. Восставшие матросы освободили с учебного судна «Прут» находившихся там под арестом моряков с броненосца «Потемкин». *Всюду суда тасовали флаги*. В руках восставших было 12 кораблей, в правительственной эскадре — 22. *Дряння* — снег с дождем. *Отдал душу свою за други своя* — перефразировка слов Христа из Евангелия по Иоанну. *Крепость Очаков* — в каземате этой крепости содержался до суда Шмидт. *Мухортый* — гнедой с желтоватыми подпалинами (о лошади); хилый, слабый, невзрачный (о человеке). *Горжа* — вход из крепости в бастион. *Однако как свежо Очаков дан у Данта!* Имеется в виду сравнение Очакова с адом в поэме Данте, который в своем путешествии по нему «имел проводника» — Вергилия. *Конфидент* — человек, облеченный доверием. *Номера Ткаченко* — гостиница в Очакове. *Прием у генерала*. Имеется в виду генерал Григорьев, комендант Очакова. *Катезихис* — здесь: популярно и кратко изложенные основы какой-либо науки. *Зал военного суда*. Шмидт был судим военно-морским судом. *Березань* — остров, где был расстрелян Шмидт. *Тропарь* — церковная песнь в честь какого-либо святого. *Шаровары и кушак царя, И под люстрой зайчик восьмигранный*. В каждом зале суда непременно должен был находиться портрет царя в рост и зеркало-призма

с государственными указами на гранях. *Пасма* — космы, пряди. *Нерчинск* — место каторги. *Плахта* — вид женской юбки. *Кинбурн* — Кинбурнская коса на Черном море. *Фольварк* — небольшая усадьба, поместье. *Тарканхут* — мыс на западе Крыма. *Ольвия* — древнегреческое поселение между Одессой и Николаевом. *Голгофа* — гора в Иерусалиме, где был распят Христос. *А всех их было четверо*. Кроме Шмидта по приговору суда были расстреляны еще трое: А. Гладков, Н. Антоненко, С. Частник.

Спекторский. Со «Спекторским» тесно связаны два произведения Пастернака: «Двадцать строф с предисловием» (1929) и прозаическая «Повесть» (1934). Пастернак так объяснял соотношение романа и «Повести»: «Часть фабулы в романе, приходящуюся на военные годы и революцию, я отдал прозе, потому что характеристики и формулировки, в этой части всего более обязательные и разумеющиеся, стиху не под силу. С этой целью я недавно засел за повесть, которую пишу с таким расчетом, чтобы, являясь прямым продолжением всех до сих пор печатавшихся частей «Спекторского» и подготовительным звеном к стихотворному его заключению, она могла бы войти в сборник прозы, — куда по всему своему духу и относится, — а не в роман, часть которого составляет по своему содержанию. Иными словами, я придаю ей вид самостоятельного рассказа. Когда я ее кончу, можно будет приняться за заключительную главу «Спекторского». «Повесть»

начинается с упоминания романа: «В начале 1916 года Сережа приехал к сестре в Соликамск. Вот уже девять лет передо мною посятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать. Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то он запутается в том, кому из лиц какая, в окончательном розыгрыше, досталась доля. Часть их я переименовал, что же касается самих судеб, то, как я пашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет: это — одна жизнь». Джозеф Конрад (1857—1924) — английский писатель. Марсель Пруст (1871—1922) — французский писатель. Мельник пушкинский — один из героев драмы Пушкина «Русалка». Торец — здесь: шестигранный деревянный брусок для мощения улиц. Крюшон — смесь из белого вина с ромом или коньяком, готовится со свежими фруктами. Тимпан — бубен. Борть — колода для пчелиного роя. Питер-Пауль Рубенс (1577—1640) — фламандский художник, творчество которого отличается жизнерадостностью. Мясоед — период между Рождеством и масленицей. Карениной, — так той дорожный сцепщик В бреду под чепчик что-то бормотал. Имеется в виду эпизод из «Анны Карениной» Л. Н. Толстого. Оршад — прохладительный напиток. Мальстрем — морской водоворот у берегов Норвегии. Подрез — железная оковка санного полоза. Цинерария — декоративное растение с яркими раз-

личной окраски цветами. *Невступно* — неполностью. *«Громокипящий кубок»* — сборник стихов Игоря Северянина (1913). *Маркиза* — наружный навес у окна, обычно из бумажной материи, для защиты от солнца. *Мерилиз* — магазин Мюра и Мерилиза в Москве, ныне — ЦУМ. *Земляной Вал* — улица в Москве. *Нижний* — Нижний Новгород, ныне г. Горький. *Яуза* — речка в Москве. *Вестингауз* — паровозный тормоз, названный по имени изобретателя. *Шагрень* — мягкая шероховатая кожа с рисунком. *Игрений* — конская масть: рыжая со светлой гривой и хвостом. *Колониальные лавки* — лавки с так называемыми колониальными товарами — с пряностями, кофе и т. п. *Москатель* — химические средства, краска и т. п. *Семь холмов* — Москва стоит на семи холмах. *Мекка* — святой город у мусульман, где находится гроб пророка. *«Кнут»*, *«Вече»* — журналы реакционного направления. *Ингуши* — кавказская народность; из ингушей набирались полицейские стражники. *Корифей* — здесь: ведущий танцовщик кордебалета. *Ченчи* Беатриче (1577—1599) — знаменитая римская красавица. *Босоыга* — нищий, оборванец. *Креп* — шелковая ткань для траурных платьев. *Болтень* — лопатка для перемешивания извести в твориле. *Эгида* — здесь: защита. *Шурум-бурум* — выкрик татарина — скупщика тряпья. *Мга* — то же, что мгла, — сырой, холодный туман. *Шиперка* — ломбард в Москве. *Филигрань* — ювелирное изделие из серебряной витой проволоки. *Юпитер* (римск. миф.) — верховный бог-громовержец. *Шато д'икем* — сорт красного вина. *Ренское* (рейн-

ское) — сорт вина. *Рококо* — стиль XVIII в., отличающийся причудливостью форм. *Крутни* — вьюжные вихри. *Сыромятниковские склады* — товарные склады Курской железной дороги в Сыромятниках. *Ступин* — владелец транспортной конторы. *Децемвир* — блюститель закона в Древнем Риме. *Раменье* — опушка смешанного леса. *Плис* — бумажный бархат. *Аплике* — изделие из накладного серебра. *Ликург* — законодатель в Древней Греции; здесь: блюститель закона. *Шутиха* — трубка с горючей смесью для фейерверка. «*Ира*» — марка папирос. *Учредиловец* — сторонник Учредительного собрания. *Под Сарептой и Уфой*. В 1918 г. здесь были бои Красной Армии с белогвардейцами и колчаковцами. *Застольцы* — сидящие за одним столом, сотрапезники.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

- Близнец в тучах, М., книгоизд-во «Лирика», 1914.
Поверх барьеров, М., «Центрифуга», 1917.
Сестра моя — жизнь, М., изд-во Гржебина, 1922.
Темы и вариации. 4-я книга стихов, Берлин —
Москва, «Геликон», 1923.
Избранные стихи, М., «Узел», 1926.
Девятьсот пятый год, М.—Л., ГИЗ, 1927.
Поверх барьеров. Стихи разных лет, М.—Л., ГИЗ,
1929.
Второе рождение, М., «Федерация», 1932.
Поэмы, М., «Советская литература», 1933.
Стихотворения в одном томе, Л., Изд-во писате-
лей в Ленинграде, 1933.
На ранних поездах. Новые стихотворения, М.,
«Советский писатель», 1943.
Избранные стихи и поэмы, М., Гослитиздат, 1945.
Земной простор. Стихи, М., «Советский писатель»,
1945.
Стихотворения и поэмы, Большая серия «Библио-
теки поэта», М.—Л., 1965.

СОДЕРЖАНИЕ¹

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Поэзия Бориса Пастернака. <i>Вступительная статья Льва Озерова</i> | 5 |
|------------------------------------------------------------------------------|---|

Стихотворения

НАЧАЛЬНАЯ ПОРА

1912—1914

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| «Февраль. Достать чернил и плакаты!..» | 77 |
| «Как бронзовой золой жаровень...» . . . | 78 |
| Сон | 78 |
| «Я рос. Меня, как Ганимеда...» | 79 553 |
| «Все наденут сегодня пальто...» | 80 |
| Вокзал | 80 553 |
| Венеция | 81 554 |
| Зима | 82 554 |
| Пиры | 83 |
| Зимняя ночь | 84 |

¹ Первая цифра обозначает страницу текста, вторая цифра (курсивом) — страницу примечаний.

ИЗ КНИГИ
«ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ»
1914—1916

| | | |
|-------------------------------------------------|-----|-----|
| Двор | 86 | 555 |
| Десятилетье Пресни (<i>Отрывок</i>) | 88 | 555 |
| Петербург | 90 | 556 |
| «Оттепелями из магазинов...» | 94 | 556 |
| Душа | 95 | 556 |
| «Не как люди, не еженедельно...» | 95 | |
| Раскованный голос | 96 | |
| Метель | 96 | 556 |
| Урал впервые | 98 | 556 |
| Ледоход | 99 | |
| «Я понял жизни цель и чту...» | 100 | 557 |
| Весна | 101 | 557 |
| Ивака | 103 | 557 |
| Стрижи | 104 | |
| Счастье | 105 | |
| Три варианта | 106 | |
| Июльская гроза | 107 | |
| После дождя | 108 | |
| Импровизация | 109 | 557 |
| Баллада | 110 | 557 |
| Мельницы | 115 | 557 |
| На пароходе | 118 | |
| Из поэмы (<i>Два отрывка</i>) | 119 | 557 |
| Марбург | 123 | 558 |

ИЗ КНИГИ
«СЕСТРА МОЯ — ЖИЗНЬ»

Лето 1917 года

| | | |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Памяти Демона | 126 | 559 |
| Не время ль птицам петь | | |
| Про эти стихи | 127 | 560 |
| «Сестра моя — жизнь и сегодня в раз- ливе...» | 128 | 560 |
| Плачущий сад | 129 | |
| Зеркало | 130 | 560 |
| Девочка | 132 | 560 |
| «Ты в ветре, веткой пробуящем...» | 133 | |
| Дождь (<i>Надпись на «Книге степи»</i>) | 134 | 560 |
| Книга степи | | |
| До всего этого была зима | 135 | |
| Из суеверья | 136 | 560 |
| Не трогать | 137 | |
| «Ты так играла эту роль!..» | 138 | |
| Балашов | 138 | 561 |
| Подражатели | 139 | |
| Образец | 140 | 561 |
| Развлечения любимой | | |
| «Душистою веткою машучи...» | 142 | 561 |
| Сложив весла | 143 | 561 |
| Звезды летом | 143 | |
| Уроки английского | 144 | 561 |
| Занятия философией | | |
| Определение поэзии | 145 | 561 |
| Определение души | 146 | |
| Болезни земли | 147 | 561 |
| Определение творчества | 147 | 562 |

| | | |
|------------------------------------------------------|-----|-----|
| Наша гроза | 148 | 562 |
| Заместительница | 150 | 562 |
| Песни в письмах, чтобы не скучала | | |
| Воробьевы горы | 152 | 562 |
| Mein Liebchen, was willst du noch mehr? | 153 | 562 |
| Романовка | | |
| Степь | 154 | 562 |
| Душная ночь | 156 | |
| Еще более душный рассвет | 157 | |
| Попытка душу разлучить | | |
| Мучкап | 159 | 563 |
| Мухи мучкапской чайной | 159 | 563 |
| «Дик прием был, дик приход...» | 161 | |
| «Попытка душу разлучить...» | 162 | 563 |
| Возвращение | | |
| «Как усыпительна жизнь!..» | 163 | 563 |
| У себя дома | 168 | 563 |
| Елене | | |
| Елене | 169 | 563 |
| Как у них | 171 | 564 |
| Лето | 172 | |
| Гроза моментальная навек | 173 | |
| Послесловье | | |
| «Любимая — жуть! Когда любит поэт...» | 174 | 564 |
| «Давай ронять слова...» | 175 | 564 |
| Имелось | 177 | |
| «Любить — идти, — не смолкнул гром...» | 178 | 564 |
| Послесловье | 180 | 565 |
| Конец | 181 | |

ИЗ КНИГИ
«ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ»
1916—1922

(Четыре повести)

| | |
|-----------------------|---------|
| Встреча | 183 565 |
| Маргарита | 185 565 |
| Мефистофель | 185 565 |
| Шекспир | 187 566 |

Тема с вариациями

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Тема | 189 566 |
| Вариации | |
| 1. Оригинальная | 190 566 |
| 2. Подражательная | 191 567 |
| 3. «Мчались звезды. В море мы- лись мысы...» | 194 567 |
| 4. «Облако. Звезды. И сбоку...» | 194 567 |
| 5. «Цыганских красок достигал...» | 195 567 |
| 6. «В степи охладевал закат...» | 196 567 |

Болезнь

| | |
|------------------------------------------------------------|---------|
| 1. «Больной следит. Шесть дней под- ряд...» | 197 567 |
| 2. «С полу, звездами облитого...» | 198 567 |
| 3. Фуфайка больного | 199 |
| 4. Кремль в буран конца 1918 года | 200 567 |
| 5. Январь 1919 года | 201 |
| 6. «Мне в сумерки ты все — пансио- неркою...» | 202 |

Разрыв

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 1. «О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б...» | 203 |
|-------------------------------------------------------------|-----|

2. «О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем...» 204
 3. «От тебя все мысли отвлеку...» . 204
 4. «Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить...» 205 568
 5. «Заплети этот ливень, как волны, холодных локтей...» 205 568
 6. «Разочаровалась? Ты думала — в мире нам...» 206 568
 7. «Мой друг, мой нежный, о, точь-в-точь как ночью...» 207 568
 8. «Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею...» 207
 9. «Рояль дрожащий пену с губ оближет...» 208 568
- Я их мог позабыть
1. Клеветникам 209 568
 2. «Я их мог позабыть? Про родню...» 210 569
 3. «Так начинают. Года в два...» . 211
 4. «Нас мало. Нас, может быть, трое...» 212
 5. «Косых картин, летящих ливмя...» 213
- Нескучный сад
1. Нескучный 213 569
 2. «Достатком, а там и пирами...» 214 569
 3. Орешник 215 569
 4. В лесу 215
 5. Спасское 217 569
 6. Да будет 218
 7. Зимнее утро (Пять стихотворений) 219
 8. Весна (Пять стихотворений) . . 223 569

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 9. Сон в летнюю ночь (<i>Пять стихотворений</i>) | 226 | 569 |
| 10. Поэзия | 230 | 570 |
| 11. Два письма | 231 | |
| 12. Осень (<i>Пять стихотворений</i>) | 233 | 570 |

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
1916—1943

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Город | 237 | |
| Белые стихи | 241 | 570 |
| Отплытие | 246 | |
| Брюсову | 247 | 571 |
| Двадцать стрóf с предисловием (Зачаток романа «Спекторский») | 249 | 571 |
| Памяти Рейснер | 252 | 571 |
| К Октябрьской годовщине | 253 | 571 |
| Приближенье грозы | 258 | 571 |
| «Когда смертельный треск сосны скрипучей...» | 259 | 571 |
| «Рослый стрелок, осторожный охотник...» | 260 | 571 |
| Анне Ахматовой | 261 | 572 |
| Мейерхольдам | 262 | 572 |
| Другу | 264 | 572 |
| «Все наклоненья и залогии...» | 264 | 572 |
| Памяти Марины Цветаевой | 267 | 573 |

ИЗ КНИГИ
«ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ»
1930—1931

I

| | | |
|-----------------|-----|-----|
| Волны | 270 | 573 |
|-----------------|-----|-----|

II

| | | |
|--------------------------|-----|-----|
| Баллада | 281 | 574 |
| Вторая баллада | 283 | 574 |
| Лето | 285 | 574 |
| Смерть поэта | 286 | 575 |

III

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|
| «Годами когда-нибудь в зале концерт- ной...» | 288 | 575 |
| «Не волнуйся, не плачь, не труди...» | 289 | |
| «Любить иных — тяжелый крест...» | 290 | |
| «Всё снег да снег, — терпи и точка...» | 291 | 575 |
| «Мертвецкая мгла...» | 292 | 576 |
| «Любимая, — молвы слащавой...» | 293 | 576 |
| «Красавица моя, вся стать...» | 294 | 576 |

IV

| | | |
|------------------------------------------|-----|-----|
| «Кругом семенящейся ватой...» | 295 | |
| «Никого не будет в доме...» | 297 | |
| «Опять Шопен не ищет выгод...» | 298 | 576 |

V

| | | |
|------------------------------------------|-----|-----|
| «Вечерело Повсюду ретиво...» | 300 | 576 |
| «Пока мы по Кавказу лазаем...» | 302 | 577 |

VI

| | | |
|---------------------------------------------|-----|-----|
| «О, знал бы я, что так бывает...» | 303 | 577 |
| «Стихи мои, бегом, бегом...» | 304 | 577 |

VII

| | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| «Весеннею порою льда...» | 306 | 577 |
|------------------------------------|-----|-----|

ИЗ КНИГИ
«НА РАННИХ ПОЕЗДАХ»
1936—1944

Х у д о ж н и к

1. «Мне по душе строптивый норов...» 310
2. «Скромный дом, но рюмка рому...» 311 578
3. «Он встает. Века, Гелаты...» . . 312 578

П у т е в ы е з а п и с к и

1. «Не чувствую красот...» 314
2. «Как кочегар, на бак...» 314
3. «Дымились, встав от сна...» . . . 315 578
4. «За прошлого порог...» 316 578
5. «Я видел, чем Тифлис...» 317 578
6. «Меня б не тронул рай...» 317 579
7. «Немолчный плеск солей...» 318 579
8. «Еловый бурелом...» 319 579
9. «На Грузии не счесть...» 320
10. «Дивясь, как высь жутка...» . . . 321

П е р е д е л к и н о

- Летний день 321
- Сосны 322
- Ложная тревога 324
- Зазимки 325
- Иней 326
- Город 328
- Вальс с чертовщиной 329 580
- Вальс со слезой 331 580
- На ранних поездах 332
- Опять весна 334
- Дрозды 335

Стихи о войне

| | |
|-----------------------------|---------|
| Бобыль | 337 |
| Смелость | 338 |
| Старый парк | 340 580 |
| Зима приближается | 342 |
| Смерть сапера | 343 580 |
| Неоглядность | 347 |
| Ожившая фреска | 348 581 |
| В низовьях | 350 |
| Победитель | 351 |
| Весна | 352 581 |

ИЗ КНИГИ

«КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ»

1956—1959

| | |
|------------------------------------------|---------|
| «Во всем мне хочется дойти...» | 354 581 |
| «Быть знаменитым некрасиво...» | 356 |
| Ева | 357 |
| Без названия | 358 |
| Весна в лесу | 359 |
| Июль | 360 |
| По грибы | 361 |
| Тишина | 362 |
| Стога | 364 |
| Липовая аллея | 365 |
| Когда разгуляется | 366 |
| Хлеб | 367 |
| Осенний лес | 368 |
| Заморозки | 369 |
| Ночной ветер | 370 |
| Золотая осень | 371 |

| | | |
|--------------------------------------------|-----|-----|
| Ненастье | 372 | |
| Трава и камни | 373 | 581 |
| Ночь | 374 | |
| Ветер (Четыре отрывка о Блоке) | 376 | 581 |
| Дорога | 379 | |
| В больнице | 380 | |
| Музыка | 383 | 582 |
| После перерыва | 384 | |
| Первый снег | 385 | |
| Снег идет | 386 | |
| Следы на снегу | 387 | |
| После вьюги | 388 | |
| Вакханалия | 389 | 582 |
| За поворотом | 398 | |
| Всё сбылось | 399 | |
| Пахота | 401 | |
| Женщины в детстве | 401 | |
| Зимние праздники | 403 | |
| «Тени вечера волоса тоньше. . .» | 404 | |
| Единственные дни | 405 | |

Поэмы

| | | |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Высокая болезнь | 409 | 583 |
| Девятьсот пятый год | 420 | 584 |
| Лейтенант Шмидт | 454 | 587 |
| Спекторский | 497 | 590 |
| Примечания | 549 | |
| Основные издания стихотворений Бориса Пастернака | 594 | |

Борис Леонидович Пастернак

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1977,
608 стр. План выпуска 1976 г. № 374

Редактор *Л. А. Николаева*

Художник *Л. С. Хижинский*

Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*

Техн. редактор *В. Г. Комм*

Корректор *Ф. Н. Аврунина*

Сдано в набор 5/IV 1976 г. Подписано к печати 18/X 1977 г. М 11698. Формат 84×108¹/₆₄. Бумага типогр. № 1. Печ. л. 9¹/₂+1 вкл. Усл. печ. л. 16,01. Уч.-изд. л. 20,56. Тираж 32 000 экз. Заказ № 1033. Цена 2 р. 20 к. Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ

**БОЛЬШАЯ СЕРИЯ
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ**

А. Н. МАЙКОВ

Избранные произведения
АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

Стихотворения и поэмы

САМЕД ВУРГУН

Стихотворения и поэмы

**МАЛАЯ СЕРИЯ
ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ**

ПОЭТЫ КАЗАХСТАНА

ПОЭТЫ УЗБЕКИСТАНА
